ЖУКОВСКИЙ

I



В. А. Жуковский (1818).



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ М. ГОРЬКОГО

ЛЕНИНГРАД • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1939

В. А. ЖУКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТОМ I

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ,
РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Ц. ВОЛЬПЕ

ЛЕНИНГРАД • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1939

В. А. ЖУКОВСКИЙ

1

Василий Андреевич Жуковский родился 29 января 1783 г. в селе Мишенском, Белевского уезда, Тульской губернии. Он был побочным сыном помещика А. И. Бунина и отданной Бунину в крепостные пленной турчанки Сальхи, захваченной в 1770 г. при взятии русскими войсками турецкой крепости Бендеры. Мальчика, по приказанию Бунина, усыновил бунинский приживальщик дворянин А. Г. Жуковский. Рос и воспитывался В. А. Жуковский в семье Бунина. Называла его дворня «турчонком», и двусмысленность своего общественного положения он начал чувствовать очень рано. В своем дневнике в 1805 г. Жуковский записал: «Как прошла моя молодость? Я был в совершенном бездействии. Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привыкал отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия, и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостию».[1] Когда мальчик немного подрос, Бунины переехали в Тулу и отдали его учиться в частный пансион. В 1791 г. А. И. Бунин умер, и мальчика взяла к себе дочь Бунина В. А. Юшкова, жившая в Туле. Пансион вскоре закрылся, и Жуковский поступил в народное училище. Из училища он был исключен за неуспешность. В 1797 г. его отвезли в Москву и отдали в Московский университетский благородный пансион. Это было учебное заведение, дух которого вполне отражал господствующую общественную реакцию. Директором пансиона был И. П. Тургенев (1752—1807) — московский розенкрейцер, в 1792 году, в связи с делом московских мартинистов, сосланный в свое имение и возвращенный из ссылки Павлом I, который назначил его ректором московского университета и директором пансиона.

В организации пансиона принимал участие ряд видных масонов: Херасков, Мелиссино, Лопухин. В педагогической практике пансиона нашли осуществление масонские педагогические идеи: философия нравственного самоусовершенствования, рационалистическая мистика, близкая деизму, и идеалы филантропии.

В конце 90-х гг. русское масонство не имело уже ничего общего с оппозиционным движением 60—70-х гг. Французская революция 1789 г. напугала не только русское правительство, но и русское дворянство. Пансионская педагогическая система должна была вкоренить в воспитанниках благомыслие, верноподданность, враждебность духу революции.

---

[1] Дневники В. А. Жуковского, под ред. И. А. Бычкова, СПб., 1903, стр. 27.

В этом же смысле действовали и масонские влияния в пансионе. И сам И. П. Тургенев, несмотря на свою недавнюю ссылку, был теперь уже человеком, вполне помирившимся с существующим режимом. От идейных устремлений молодости у него сохранилась только европейская широта культурных и литературных интересов, переданная им и своим детям.

Жуковский в пансионе сблизился с семьей И. П. Тургенева, с его сыновьями Андреем и Александром.

Семейство Тургенева, как я отмечал, отличалось живым интересом к передовой европейской культуре. Здесь особенно хорошо знали и высоко ценили новую немецкую литературу. Андрей Тургенев был первым переводчиком в России «Вертера» Гете; настроения раннего русского вертеризма возникли именно в Тургеневском кружке. Андрей Тургенев побудил Жуковского обратиться к изучению немецкой литературы (Гете, Шиллер, Шписс, Коцебу и т. д.). По окончании пансиона (1800) Жуковский с Андреем Тургеневым и группой товарищей по пансиону (Мерзляков, Кайсаровы и др.) организуют «Дружеское литературное общество» (1801—1802), которое можно охарактеризовать как организацию промежуточного типа между масонскими обществами и Арзамасом. Тургеневский кружок и «Дружеское литературное общество» выполнили ту задачу, которую не в состоянии была выполнить громоздкая и неоправдавшая себя система образования, принятая в пансионе. Не в пансионе, а в культурной среде Тургеневского кружка Жуковский заложил начала своей образованности. Самую пансионскую систему обучения он впоследствии охарактеризовал резко отрицательно: «Я не привык к размышлению, — пишет он в своей неопубликованной предсмертной исповеди, — с самого ребячества к этому не было никакого побуждения. Это заключается и в моей ленивой натуре. Воспитание ей не противодействовало. Напротив, оно подавило мою естественную гениальность: воля не была утверждена привычкою. Никакого умственного развития, никаких побуждений для мысли. Потом самое учение в совершенной ничтожности, без всякого плана, без всякой логики, — не произошло никакой любви к труду».[1]

Параллельно с изучением немецкой литературы Жуковский обратился и к новой английской элегической поэзии, подготовившей романтическое движение (Томсон, Грей и др.). «Времена года» Томсона, «Элегия, написанная на сельском кладбище» Грея, «Ночные размышления» Юнга — его меланхолические сетования над могилой любимой жены, «Песни Оссиана», легендарного народного барда Шотландии (переработанные Макферсоном старые шотландские легенды), с его миром облачных призраков-теней, реющих над полями сражений, поэзия французских поэтов-элегиков (Парни, Мильвуа и др.), наконец, волшебно-сказочные, рыцарские и сентиментальные романы, — вот те литературные явления, которые воспитывали вкус Жуковского. Можно сказать, что литературные вкусы и интересы Жуковского в начале XIX в. формируются под влиянием того сложного и противоречивого комплекса литературных явлений европейской литературы второй половины XVIII в., который обозначают общим понятием преромантизма. Рядом с этим

[1] Цитирую по рукописи ГПБ. См. Отчет ИПБ за 1884 г. Описание И. А. Бычкова № 60, л. 16.

идет влияние масонской мистической литературы от поздних масонских журналов и до читавшихся воспитанниками пансиона книг Штурма и Додслея. Что касается русских литературных симпатий, то в эти годы авторитетами для членов «Дружеского литературного общества» являются Державин и Ломоносов. Отношение к Карамзину было критическое и даже, пожалуй, враждебное. В своей речи в «Дружеском литературном обществе» Андрей Тургенев говорил о Карамзине: «Скажу откровенно! он более вреден, нежели полезен в нашей литературе».[1] В этом смысле «Дружеское литературное общество» отражало отношение к Карамзину масонов, которые не могли простить Карамзину его ловкого и умелого отхода от масонства в годы, когда на масонов обрушились правительственные репрессии.

И только в 1802 г., когда Жуковский, приходившийся Карамзину свойственником, провел у него в имении Свирлово два месяца, он сблизился с Карамзиным и с этого времени сделался его другом и почитателем на всю жизнь.[2]

Карамзин же выступил и первым покровителем начинающего поэта. В 1802 г. он напечатал у себя в журнале элегию Жуковского «Сельское кладбище» (перевод элегии Грея). С этого времени Жуковский входит в литературу.

2

Изучение источников творчества Жуковского показывает, что за отдельными исключениями все его произведения — это либо переводы, либо переработки определенных оригиналов. Отличительной особенностью творчества Жуковского была та черта, которую Катенин называл у него «отсутствием изобретения».[3] Сам Жуковский также писал о характере своего дарования в письме к Гоголю от 6 февраля 1848 г.: «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум, — как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти всё или чужое или по поводу чужого — и всё, однако, мое».[4] Юнг, Шписс, Флориан, Шиллер, Гете, Саути, Бюргер, Вальтер Скотт, Байрон, братья Гримм, Уланд, Ламот Фуке, Парни, Мильвуа, Ленау, Фабр д'Эглантин и т. д. и т. д. — всех этих писателей пересказал русскими стихами, а многих из них и впервые открыл для русской литературы Жуковский. Это его бесспорная заслуга. Пушкин писал о нем 25 февраля 1825 г.: «Переводный слог его останется всегда образцовым». В статье «О басне и баснях Крылова» Жуковский изложил свое понимание особенностей поэта-переводчика. «Мы позволяем себе утверждать, — писал он, — что подражатель-стихотворец может быть автором о р и г и н а л ь н ы м, хотя бы он не написал и ничего собственного. Переводчик в п р о з е есть раб; переводчик в стихах — соперник... Поэт оригинальный воспламеняется идеалом, который находит у с е б я в в о о б р а ж е н и и; поэт-подражатель в такой же степени воспламеняется

---

[1] „Русский Библиофил", 1912, № 1, стр. 29.
[2] См. подробнее в прим. к посланию Жуковского И. И. Дмитриеву.
[3] Ср. в прим. к „Вечеру" о работе Жуковского над стихотворением „Весна".
[4] Отчет ИПБ за 1887 г., СПб., стр. 54.

образцом своим, который заступает для него тогда место идеала собственного: следственно переводчик, уступая образцу своему пальму изобретательности, должен необходимо иметь почти одинакое с ним воображение, одинакое искусство слога, одинакую силу в уме и чувствах. Скажу более: подражатель, не будучи изобретателем в целом, должен им быть непременно по частям; прекрасное редко переходит из одного языка в другой, не утратив нисколько своего совершенства: что же обязан делать переводчик? Находить у себя в воображении такие красоты, которые бы могли служить заменою, следовательно производить собственное, равно и превосходное: не значит ли это быть творцом?» Все эти, относящиеся к Крылову, суждения могут быть целиком отнесены и к самому Жуковскому. И, однако, Жуковский не был только поэтом-переводчиком.

Говоря о своих произведениях, он подчеркивал, что у него все чужое и, однако, все его собственное. И это действительно так. Через все переводы и подражания Жуковского проходит общая для всей его поэзии элегическая тема — тема мечтательной, меланхолической, несчастной любви.

Уже в «Сельском кладбище» Грея Жуковский нашел ряд мотивов (и в том числе прежде всего мотив о безвременной смерти юноши-поэта), которые надолго входят в его элегическую лирику. В соответствии с формулами и настроениями элегической поэзии лейтмотивами его лирики становятся размышления о смерти, предчувствие собственной гибели, «мысли на кладбище». В июле 1803 г. умирает его друг Андрей Тургенев, и оплакивание смерти друга укрепляет это настроение печали и сетования на жизнь, настроение, внушенное литературными веяниями эпохи.[1] Вскоре новым источником, питающим элегический характер лирики Жуковского, становится его чувство к его племяннице Маше Протасовой, дочери его единокровной сестры Е. А. Протасовой. Он просил у Е. А. Протасовой руки ее дочери, но та ответила категорическим отказом. Формальным поводом для отказа послужило близкое родство, согласно установлениям православной церкви препятствующее вступлению в брак. Реальным мотивом для отказа было, видимо, отношение Е. А. Протасовой к Жуковскому, основанное на его полукрепостном происхождении. После нескольких лет, посвященных тщетным попыткам переубедить сестру, Жуковский покорился. 14 января 1817 г. М. А. Протасова вышла замуж за И. Ф. Мойера — хирурга и профессора Дерптского университета. «Неразрешенная любовь» и является основной темой элегической лирики Жуковского. Эта же тема проходит и в его балладах.

Так, в балладе «Алина и Альсим» читаем с первых же стихов:

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть вы им сказали...
Всему конец!

После того как Жуковский говорил с Е. А. Протасовой и получил от нее отказ, она взяла с него обещание сохранить разговор втайне от Маши и не обнаруживать перед Машей своего чувства. Необходимость для Жуковского скрывать от окружающих автобио-

[1] См. прим. к „Вечеру" и „Сельскому кладбищу".

графические черты своей поэзии сказалась и в его работе над стихами. В черновом тексте обычно отношение лирического героя к любимой девушке имеет гораздо больше сходства с характером отношений Жуковского с М. А. Протасовой, чем в беловом.

Из сопоставления переводов Жуковского с иностранными оригиналами видно, что он выбирал для перевода именно те стихотворения, которые выражали его лирическую тему. Но, переводя, он обычно опускает те стихи оригинала, которые прямо соответствуют характеру его отношений с М. А. Протасовой. Так, в цитированном «Алине и Альсиме» первые два стиха у Монкрифа читаются:

Pourquoi rompre leur mariage,
Méchants parents!

(т. е.: зачем вы разорвали этот брак, злые родители!). Жуковский передал оригинал в безличной форме, опустив «злых родителей».

Примеры можно легко умножить. Можно сказать, что вся лирика Жуковского до 1823 г. (т. е. до смерти М. А. Протасовой) объединена одной темой — меланхолической, несчастной, неосуществившейся любви. П. А. Вяземский писал о характере лирики Жуковского: «Главный его ⟨Жуковского⟩ недостаток есть однообразие выкроек, форм, оборотов, а главное достоинство — выкапывать сокровеннейшие пружины сердца и двигать их. C'est le poète de la passion, т. е. страдания. Он бренчит на распятии: лавровый венец его — венец терновый, и читателя своего не привязывает он к себе, а точно прибивает гвоздями, вколачивающимися в душу. Сохрани боже, ему быть счастливым: с счастием лопнет прекраснейшая струна его лиры. Жуковский счастливый — то же, что изображение на кресте спасителя с румянцем во всю щеку, с трипогибельным подбородком и с куском кулебяки во рту».[1]

История любви Жуковского к М. А. Протасовой окрашивает его меланхолическую романтико-эротическую лирику, объединяя ее в замкнутый цикл с одной темой и составляя ее психологическое содержание. Понятно, что ее социально-идеологическое содержание выходит далеко за пределы этой личной темы.

3

Начав с разработки элегических мотивов, характерных для европейской поэзии второй половины XVIII в., Жуковский создает русскую элегическую поэзию. Всю первую половину 1800 гг. Жуковский посвятил работе над жанром элегий, и его тетради полны планами, как он их обозначал — «сюжетов для элегий».

В его руках так называемая медитативная элегия с характерными для нее переходящими настроениями-формулами, кочующими из одного стихотворения в другое, с определенным кругом мотивов: размышлений о смерти и утлости человеческой жизни и стремлений, меланхолического и трогательного любовного томления, описательных пейзажно-пасторальных пассажей — прочно

---

[1] Остафьевский Архив, I, стр. 227. Письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 1 мая 1819 г.

завоевывает господство в русской поэзии. Жуковский разрабатывает принципы «музыкальной» композиции строф и стиховых периодов, систему сменяющихся вопросительно-восклицательных интонаций, лирико-психологических описаний, передающих движение элегического сюжета, и тем самым создает целую систему изобразительных средств языка психологической лирики.[1]

Но, начав с разработки элегических жанров, характерных для европейской поэзии второй половины XVIII в., Жуковский быстро попадает в русло тех идей и настроений, которые характеризуют поэзию, непосредственно подготовившую европейское романтическое движение, поэзию так называемого преромантизма. Интерес к английской и французской элегической поэзии уступает в его творчестве место интересу к народной фантастике, к народным лирико-повествовательным песням, к балладам. Говоря о себе впоследствии как о «родителе на Руси немецкого романтизма», Жуковский назвал себя «поэтическим дядькой чертей и ведьм немецких и английских»,[2] то есть прежде всего вспомнил при этом о своих страшных балладах, в которых действуют таинственные силы загробного мира. И действительно, для понимания смысла поэтической работы Жуковского необходимо прежде всего обратиться к его балладам. В его поэзии они занимают едва ли не самое важное место. Не случайно от своих друзей Жуковский получил кличку «балладник». Ибо представления о нем как о поэте тесно связаны с тем романтическим образом поэта, который встает из его балладных произведений. Этот образ романтического Жуковского мы находим и в его портрете, написанном Кипренским. Жуковский стоит на фоне того таинственного пейзажа, который он столько раз изображал в своих балладах: видны башни и бойницы замка, ров, холмы, уходящие вниз, в туманные лощины. Жуковский стоит задумавшись, мечтательно устремив глаза ввысь, волосы его треплет и развевает ветер.[3]

Привидения, мертвецы, оживающие в гробах, мертвый жених, приезжающий в полночь на коне за невестой, сатана, приходящий получить душу грешника, злодей-преступник, продавший дьяволу своего первого ребенка, кладбища и могилы, зловещая луна, ворон, карканьем пророчествующий несчастье, духи и скелеты, мчащиеся в призрачном ночном тумане, — вот мотивы большей части баллад Жуковского, вот тот своеобразный мир представлений, который поразил воображение его современников. Белинский впоследствии писал: «Это было время, когда «Людмила» Жуковского доставляла какое-то сладостно-страшное удовольствие, и чем больше ужасала, с тем большею страстью читали ее».[4]

«Современники юности Жуковского, — говорит он же в другой статье, — смотрели на него преимущественно как на автора баллад. Под балладою тогда разумели короткий рассказ о любви, большею частью несчастной; могилу, привидение, ночь, луну, а иногда домовых и ведьм считали принадлежностью этого вида поэзии, — больше же ничего не подозревали. Но в балладах Жуковского заключается более глубокий смысл, нежели могли тогда

---

[1] Очень характерна при этом самая система пунктуации. См. о ней на стр. 350.

[2] „Одесский Вестник“, 1885, № 1—3, стр. 71.

[3] Ср. также портрет Жуковского, нарисованный Воейковым в сатире „Дом сумасшедших“ (см. прим. к посланию Воейкову во II томе).

[4] В. Г. Белинский, Сочинения, т. 2, СПб., 1919, стр. 106.

думать».[1] Что же это за «более глубокий смысл», о котором говорит Белинский?

Самый термин «баллада» имеет большую историческую судьбу. Восходит он к средневековой провансальской поэзии и обозначает там небольшое стихотворение с танцовальным ритмом. От провансальских поэтов термин этот был заимствован старой французской поэзией и служил обозначением для особой строфической формы, имеющей определенную систему рифмовки. Этот жанр культивировали старофранцузские поэты, как Маро или Машо. Уже Вольтер и Буало отзывались о балладе как о форме, явно устаревшей.

Балладами называли также английские и шотландские народные исторические песни. Появление этого термина, по мнению английских историков литературы, восходит ко временам Вильгельма-Завоевателя, вместе с войсками которого, видимо, этот термин проник из Франции в Англию. Английские баллады — это жанр лирико-повествовательных народных песен англичан и шотландцев, — никакого, конечно, отношения к строфической французской балладе не имеющий. Тот же термин оказался применен для обозначения явлений совершенно иного характера.

Во второй половине XVIII в. под влиянием пробуждения широкого интереса к народному творчеству возник огромный интерес и к собиранию народных баллад. Первые сборники английских и шотландских баллад имели успех во всех европейских государствах и побудили ученых и писателей разных стран обратиться к изучению и собиранию подобных произведений и у себя на родине. И если понимать балладу именно как жанр лирико-повествовательных произведений с героическим или фантастическим содержанием, то этот жанр можно найти, конечно, у всех народов, и не только у современных европейских народов, но и у древних греков или римлян (например, Ἐμβατέρια Тиртея и др.), и на Востоке (скажем, моаллакаты — эти «верблюжьи баллады» «ожерелья» старых арабских поэтов) и т. п. Обращение к народному творчеству должно было вызвать в каждой национальной литературе собирание своих лирикоповествовательных песен (баллад).

Во второй половине XVIII в. немецкий поэт Бюргер переработал одну из таких народных песен-баллад, назвав свою переработку «Ленора». Бюргер воспользовался народной песней о мертвом женихе, приезжающем за невестой в полночь. Бюргеровская баллада значительно отличается от своего народного образца. «Ленора» Бюргера — литературная баллада, тесно связанная с его литературными воззрениями, близкими эстетике немецкого дидактического сентиментализма. Бюргер переосмыслил содержание народной песни, придав ему морализирующий смысл, которого в народной песне нет.

Так возник в европейской поэзии особый вид произведений, написанных в подражание народным балладам, черпающих из них свое содержание, но представляющих собой чисто литературное явление, продукт литературной культуры конца XVIII в. Этот третий вид явлений, также обозначаемых термином «баллада», имеет самостоятельные жанровые признаки, и о нем именно и нужно говорить, выясняя балладную поэтику Жуковского.

---

[1] В. Г. Белинский, Сочинения, т. 3, СПб., 1919, стр. 160.

«Ленора» Бюргера имела разительный успех. Ее переводили на многие языки, заучивали наизусть, писали ей подражания. Знали ее и в России. В «Записной книжке» Вяземского читаем: «Зайдя ко мне, Карамзин застал меня читающим Бюргерову «Ленору».[1] Первою балладою Жуковского был перевод именно «Леноры» Бюргера («Людмила»).

Самый жанр таких литературных баллад, стихотворений, в которых народное или историческое содержание дает автору возможность выразить лирическое отношение к теме, сразу сделался весьма популярным у поэтов зародившегося тогда романтического движения, — движения, выражавшего новое, индивидуалистическое понимание жизни.

Все баллады Жуковского и являются либо переводом, либо переработкой этих произведений европейских поэтов, непосредственных предшественников европейского романтизма (а позже и представителей романтической поэзии). Та баллада, которую Жуковский пересаживал на русскую почву, представляла собой лиро-эпическое произведение с устойчивым сюжетом, с содержанием, основанным на немецких и английских народных фантастических легендах.

И, однако, все эти, даже самые первые переводы и переработки баллад несут на себе отчетливый отпечаток индивидуальности Жуковского. В них нетрудно обнаружить характерную для его ранней поэзии лирическую элегическую тему, то же чувство, говоря формулой англичан, «Joy of grief» (наслаждения печалью), которым полны его элегии, романсы и песни. Только теперь эта «Joy of grief» получает выражение в формулах «кошмарно-ужасной поэтики». Именно потому и из страшных баллад Жуковский выбирает для перевода только те, которые отвечают его меланхолическим настроениям.

В балладах Жуковского мы находим изображение развития оттенков чувств влюбленной души — от грустного томления («Sehnsucht» романтиков) и молитвенного поклонения любимой — и до отчаяния и призываний смерти, — то есть тот же, внесенный Жуковским в русскую поэзию, язык психологистического миросозерцания. В этом смысле особенно характерна работа Жуковского над балладами, написанными на античные сюжеты. Даже богов и древнегреческих героев Жуковский наделил сложными и тонкими чувствами, превратив богиню земледелия Цереру в трогательно тоскующую мать, оплакивающую свое единственное дитя, а греческих военачальников, отплывающих на родину после разрушения Трои, — в лирических философов, размышляющих о непрочности земного счастия.

Для изображения сложного мира переживаний человеческой души Жуковский почти не имел образцов в русской поэзии. В силу отсталости крепостнической России личность у нас не получила такого развития, как в буржуазной Европе. И для того, чтобы создать в русской поэзии язык психологических переживаний, Жуковский должен был использовать опыт европейской поэзии.

Для выражения нового содержания Жуковскому пришлось создать собственный язык поэзии. Слово в поэзии Жуковского утрачивает ту логическую конкретность, которая характеризует поэтическое слово у представителей классицизма, и становится орудием для выражения настроения. Слово становится вследствие этого не

[1] П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. 7, СПб., 1883, стр. 148.

столько понятием, сколько символом — способом подсказать читателю душевное состояние:

Ко мне подсела с лаской,
Мне руку подала,
И что-то ей хотелось
Сказать... но не могла!

Благодаря отсутствию всякой реторической и декламационной задачи слово утрачивает свою конкретность и определенность, приобретает черты импрессионистического содержания. Эта психологизация синтаксиса и лексики становится всё более отчетливой в поэзии Жуковского по мере его развития. Она уводит Жуковского с годами всё дальше и дальше от классицизма. Но на первых порах психологическое использование слова соединено еще у Жуковского с ощущением рационального смысла слова (как и в классицизме), то есть в ранней лирике Жуковского наряду с психологическим использованием слова мы находим отвлеченно-рационалистический характер поэтической речи.

Потому, что Жуковский создал в русской поэзии язык психологической лирики, что он открыл для русской поэзии внутренний мир человека, научил изображать оттенки душевных движений, то есть внес в русскую литературу индивидуалистическое миропонимание европейских романтиков, — критика и охарактеризовала его как родоначальника романтизма на Руси. И действительно, историко-литературное значение Жуковского как раз в том и заключается, что он принес в русскую литературу мировоззрение индивидуализма, что в его творчестве личность и внутренний мир человека становятся центральным содержанием истории. Это обстоятельство резко отличает мировоззрение Жуковского и от «объективной метафизики» мировоззрения XVIII в. и от взглядов Карамзина и русских сентименталистов, которые соединяют философию чувства с общим представлением о мире, основанном на том же мировоззрении XVIII в. Потому, что поэзия Жуковского качественно отлична от мировоззрения русского сентиментализма, современники и ощущали ее как начало нового периода в развитии русской литературы, считая именно Жуковского первым русским романтиком Так, например, Кениг в своей книге «Literarische Bilder aus Russland» (книге, инспирированной московским «любомудром» Н. А. Мельгуновым) справедливо писал: «Та школа и тот период, главою которого считается Жуковский, непосредственно следуют за периодом Карамзинским. Жуковский продолжал новейшее направление в языке и вкусе; но он следовал другим образцам, внес в литературу другие элементы. Подражая главным образом поэтам немецким и английским, он относится к Карамзину не только как поэт к прозаику, но как романтик к классику на французский манер».[1] Еще более отчетливо эту же точку зрения высказал Белинский: «Жуковский, — писал он, — этот литературный Коломб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии, повидимому, действовал, как продолжатель Карамзина, как его сподвижник, тогда как в самом-то деле он создал свой период литературы, который не имел ничего общего с Карамзинским... Жуковский внес романтический элемент

[1] H. Koenig, Literarische Bilder aus Russland, 1837, стр. 115.

в русскую поэзию: вот его великое дело, его великий подвиг, который так несправедливо нашими аристархами был приписываем Пушкину».[1]

Я уже говорил, что этот «романтический элемент» Жуковский нашел на Западе. Именно потому, что переводы Жуковского помогали решать задачу развития национальной литературы, они и были (в первые годы его работы) восприняты как оригинальные произведения русской поэзии. Вот почему, несмотря на то, что он работал как поэт-переводчик, своими переводами он сыграл такую крупную и самостоятельную роль в истории развития русской литературы.

Итак, значение Жуковского в развитии русской поэзии заключается именно в том, что творчество его, вырастая из поэзии русского классицизма XVIII в. и из карамзинизма, знаменует уже эпоху, качественно отличную и от русской литературы XVIII в. и от сентиментализма. Это особенно важно подчеркнуть потому, что в последний период своей литературной работы Жуковский сам осудил свои ранние романтические позиции, считая, что он «должен загладить свой грех» насаждения в России романтизма и «чертей и ведьм немецких и английских». Это важно также подчеркнуть потому, что дооктябрьская монархическая историколитературная традиция всячески стремилась подчеркнуть близость Жуковского к Карамзину. И эта линия реакционной идеализации образа Жуковского была настолько сильна, что ее влияния не сумели избежать даже такие замечательные исследования, как работа Н. С. Тихонравова об эстетике Жуковского (написанная как рецензия на книгу Л. Загарина-Поливанова о Жуковском)[2] и работа А. Н. Веселовского, посвященная психологической биографии поэта. Подчеркнув неясность и многосмысленность понятия «романтизм», А. Н. Веселовский рассмотрел поэзию Жуковского в ее отношении к карамзинизму и определил ее как своеобразное развитие карамзинизма, как «поэзию чувства и сердечного воображения».

Таким образом, оценка современников, наиболее отчетливо высказанная Белинским, была отброшена. Благодаря этому противоречия поэзии Жуковского, реальный смысл его литературной позиции, самое наличие в его работе поэтического движения, развития, — все это было оставлено вне внимания исследователей, и задача изучения была сведена к созиданию статического портрета, неисторического и выражающего те или иные оттенки официозной идеализации. Благодаря этому Веселовскому не удалось поставить проблему историколитературного смысла творческой работы Жуковского, и исследование Веселовского свелось к собиранию «материалов для биографии». Осталось неясным, почему Жуковский, по своим политическим воззрениям прямой, открытый монархист и выразитель идеологии Священного союза, сыграл огромную прогрессивную роль в развитии русской литературы, почему от него не отказались ни его политические противники — декабристы, ни современный Жуковскому представитель передовой демократической литературы Белинский, который на всем протяжении своего развития положительно оценивал историко-литературный смысл творческой работы Жуковского.

---

[1] В. Г. Белинский, Сочинения, т. 2, СПб., 1919, стр. 544. См. также повторение этой мысли и в статье 1835 г. „Литературное объяснение“ — там же, т. 3, стр. 319.

[2] См. Н. С. Тихонравов, Сочинения, СПб., 1887, т. 3, ч. 1.

Без понимания того обстоятельства, что Жуковский своим творчеством подготовил русскую литературу к восприятию мировоззрения романтического индивидуализма, без понимания того, что Жуковский, говоря словами Белинского, «дал возможность содержания для русской поэзии»,[1] не может быть поставлен вопрос о верной историко-литературной оценке его литературного наследия. Кроме того, что Жуковский был близок к политическим и эстетическим взглядам Карамзина (об эстетических взглядах Жуковского см. в следующей главе), он был прежде всего начинателем всего нового предпушкинского периода русской поэзии.

Именно потому, что концепция А. Н. Веселовского заменяла вопросы анализа стиля вопросами о биографических источниках поэзии Жуковского, именно потому, что, показывая важность отношений Жуковского и М. А. Протасовой, эта концепция не решала вопроса о литературном смысле этих отношений и о смысле литературной работы Жуковского, исследования, написанные после книги А. Н. Веселовского, снова должны были возвратиться к разработке отдельных проблем связей Жуковского с романтизмом. Кроме ценной статьи Н. Лыжина, «Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы»,[2] написанной еще в 50-х гг. прошлого века и почему-то совершенно выпавшей из поля зрения А. Н. Веселовского, нужно назвать такие работы, как исследование С. Шестакова «Заметки к переводам Жуковского из английских и немецких поэтов» (Казань, 1903), Ив. П. Галюна «К вопросу о литературных влияниях в поэзии Жуковского» (Киев, 1916), которые целиком посвящены выяснению связей Жуковского с европейской романтической поэзией и которые показывают, что связи Жуковского с немецким романтизмом гораздо органичнее, чем это казалось А. Н. Веселовскому и его предшественникам.

Для того, чтобы уяснить реальное значение связей поэзии Жуковского с европейским (главным образом с немецким) романтизмом, необходимо представить себе его эстетические воззрения и их значение для его творческой практики.

4

Н. С. Тихонравов показал, что эстетические взгляды Жуковского очень близки к воззрениям классиков. Еще в пансионе Жуковский тщательно изучал под руководством Баккаревича риторику и пиитику классицизма и систематически работал над изучением руководств по теории словесности. Лагарп, Буало, Батте и, наконец, ученые теоретики классицизма в Германии: Энгель, Сульцер, Эшенбург — вот авторы, которых Жуковский изучает, конспектирует и переводит.

И Сульцер, и Энгель, и Эшенбург были последователями философско-психологической школы Баумгартена, опиравшейся в своих построениях на рационалистическую философию Вольфа. Цель и задачи эстетического, по их воззрениям, — нравственное усовершенствование человека.

[1] В. Г. Белинский, Сочинения, т. 2, Спб., 1919, стр. 153.

[2] „Летопись русской литературы и древностей“, кн. 2, 1859, стр. 59.

Таким образом, в области эстетики Жуковский следовал дидактической и нормативной эстетике классицизма в ее немецком варианте.

Философским основанием эстетики классицизма XVIII в. было господствовавшее в основных философских системах XVIII в. мировоззрение метафизического рационализма. Для эстетики классицизма было характерно метафизическое восприятие объекта, то есть восприятие его вне развития (статически), и убеждение, что основой истины служат логические нормы мироустройства. Подражание идеальному объекту — вот задача эстетического познания. Нормы идеального — вот дидактическая роль поэзии. Отсюда — искусство как «соединение благого с истинным». «Поэзия есть добродетель!» — таков лейтмотив творческих деклараций Жуковского.[1]

Говоря об эстетике классицизма и об эстетических взглядах молодого Жуковского, следует сделать общее необходимое замечание. Самая классическая эстетика также, конечно, не существовала данной абсолютно. Она осуществлялась в разнонациональных литературах соответственно их характеру, да кроме того, с размыванием рационалистической философии новым, сенсуалистическим мировоззрением, в ней самой начали обнаруживаться противоречия и различные тенденции развития. Буало — это, конечно, не то же, что Лагарп или Сульцер и т. д.

Вопрос о теоретическом содержании классицизма очень сложен и требует для каждой национальной литературы и для каждого исторического периода специального рассмотрения, выходящего, конечно, за пределы настоящей статьи. Так, в Англии, например, классицизм оказался вынужден уступить свои прогрессивные позиции сентиментализму, с его культом индивидуального, частного, с его программным гуманизмом и сенсуалистической философией чувств. И по-другому протекал этот же процесс во Франции, где классицизм оказался достаточно сильным для того, чтобы принять на себя функции буржуазно-революционной идеологии (достаточно вспомнить театр Тальма, живопись Давида, драматургию Вольтера и т. д.). В России то новое направление, которое выросло из карамзинизма, шло по линиям развития скорее немецкого искусства, то есть по линиям своеобразного сочетания дидактики классицизма с чувствительностью сентиментализма.

И в этом плане Жуковский может быть назван именно русским Шиллером.

Выступая в печати с жанром романтических баллад и стремясь создать произведения, отмеченные народностью стиля, Жуковский во многом приспосабливает переводимые образцы к своим эстетическим представлениям. Так, стремясь создать на русской почве аналогичные западным русские народные баллады, самую народность он воспринимает в свете представлений, характерных для того крыла литературы XVIII в., которое изображало народный быт, с одной стороны, как быт идиллических пастушков, сельских «милых поселян», Дафнисов и Хлой, а с другой — как мир волшебно-сказочных и мифологических представлений, восходивших к сказочной литературе XVIII в. («Мифологический лексикон» Чулкова, «Русские сказки» Левшина). Обращение к народности, таким образом, оказывалось

---

[1] См. переведенную им для „Вестника Европы" (1809 г., февраль) статью Энгеля „О нравственной пользе поэзии".



М. А. Протасова (1818).

обращением к русской мифологии и к материалу народных суеверий. Этим объясняется, что в романтической балладе «Светлана» народность выражается в привнесении в балладу элементов поэтики идиллии (осложненных мотивом отъезда возлюбленного на войну) и элементов сказочно-фантастической литературы (гадания и т. п.). Построение жанра оказалось возможным осуществить только в пародийном плане, ибо такое понимание народности уже было анахронизмом. Поэтому «Светлана» подчинена принципам пародийного отношения к поэтике страшной баллады — в ней дано шутливое разрешение темы, в котором получило выражение противоречие между эстетическими взглядами и романтическим жанром.

После «Светланы», совершенно в духе пережиточных представлений героической эстетики XVIII в., главным образом под влиянием Карамзина, Жуковский стремится создать национальную эпопею «Владимир», замысел которой он не оставляет до 1816 г. Однако вскоре его эстетические представления существенно изменяются, и советы его друзей, мыслящих в пределах эстетики классицизма, утрачивают для него значение. Жуковский оставляет замысел «Владимира» невыполненным.

Что же это за изменение его эстетических представлений?

Рационалистическую эстетику классицизма к началу XIX в. сменяет кантианство, — с его учением об эстетическом как о чистом созерцании, как об особом способе познания, — расчистившее дорогу для философии искусства романтического идеализма.

Ощущая несоответствие своих теоретических представлений своей романтической практике, Жуковский обратился к изучению новейших течений в немецкой эстетике.

А. И. Тургенев рекомендовал ему познакомиться с новым курсом эстетики немецкого философа-кантианца Бутервека, лекции которого сам Тургенев слушал в Геттингене и от которых он был «в совершенном восторге». Тургенев собирался послать книгу Бутервека Жуковскому. Заинтересованный Жуковский достал книгу и уже в феврале 1807 г. писал А. И. Тургеневу: «Бутервека эстетика у меня есть; ты можешь свой экземпляр у себя оставить».[1] Эта книга, оказавшая огромное влияние на развитие русской эстетической мысли (она оказала определяющее влияние и на известный «Словарь» Остолопова), имела большое значение и для развития взглядов Жуковского.

В области эстетики Бутервек пытался применить кантианское понимание эстетического как чистого созерцания к категориям старой эстетики. Получилась эклектическая система взглядов, в которой эстетическая метафизика классицизма соединена с новой философией конца века, то есть с кантианством и ранней романтической философией. В своей «Истории новой философии» Гегель говорит о мировоззрении Бутервека как о «последней форме субъективности», у Бутервека «трезвой и прозаичной», благодаря чему оказались «снова вытащенными из кладовой старая логика и метафизика».

Но кроме этого знакомства с кантианством через Бутервека, Жуковский знакомился с эстетикой Канта и через кантианские

---

[1] „Письма В. А. Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу“, изд. „Русского Архива“, М., 1895. См. также Печатный каталог библиотеки Томского университета, № 5623: Bouterwek, Fr. „Aesthetik“, Leipzig, 1806.

статьи Шиллера. Так, статья Жуковского «О достоинстве древних и новых писателей» написана под несомненным влиянием статьи Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии». [1]

Для Жуковского и эстетика Бутервека, который рассматривает поэтическое как способность увлекать в сферу возвышенного и философского созерцания (Кант), и кантианские статьи Шиллера были путем к пониманию романтической философии искусства.

Итак, в то время, как русский сентиментализм (карамзинизм) остается все еще в пределах метафизического мировоззрения XVIII в., Жуковский уже к 10-м гг. с этим мировоззрением порывает. Этот разрыв с эстетикой классицизма произошел не сразу и не был последовательным. Самое знакомство с кантианством на первых порах было очень недостаточным. Более глубоко эстетику Канта Жуковский изучил уже в 10-е гг. в Дерпте, слушая лекции по философии прямого ученика Канта профессора Готтлиба-Вениамина.

Наконец, существенную роль в развитии эстетических воззрений Жуковского сыграла его работа над курсом литературы, который он читал своим племянницам в Белеве (1806—1809). Вместе со своими ученицами он читал произведения европейских поэтов, подвергая их эстетическому разбору. Сохранилась его запись этого времени, показывающая, что для этих занятий ему приходилось заново продумывать категории поэтики. Вот эта запись, относящаяся к 1808 г.: «Читать стихотворцев не каждого особенно, но всех одинакого рода вместе; частный характер каждого сделается ощутительнее от сравнения. Например, Шиллера, как стихотворца в роде баллад, читать вместе с Бюргером; как стихотворца философического вместе с Гете и другими; как трагика вместе с Шекспиром; чтение Расиновых трагедий перемешать с чтением Вольтеровых, Корнелевых и Кребильоновых. Эпических поэтов перечитать каждого особенно, потом вместе те места, в которых каждый мог иметь один с другим общее: дабы узнать образ представлений каждого. Сатиры Буало с Горациевыми, Ювеналовыми, Поповыми, Рабенеровыми и Кантемировыми. Оды Рамлеровы, Горациевы с Державина, Ж. Батиста и прочих. Или не лучше ли читать поэтов в порядке хронологическом, дабы это чтение шло наравне с историею и история объясняла бы самый дух поэтов, и потом уже возобновить чтение сравнительное. Первое чтение было бы философическое, последнее эстетическое: из обоих составилась бы идея полная... То же и о прозаиках». [2] Это «философическое» и «эстетическое» изучение произведений европейской литературы ввело Жуковского в анализ поэтики новой европейской поэзии. Можно сказать, что именно в эти годы, у себя на родине, Жуковский систематически изучает поэзию европейского романтизма. К началу 10-х гг. он знаком уже не только с Шиллером или Гете, или Саути, но и с Новалисом, [3] то есть с наиболее характерным представителем мистического крыла группы так называемых иенских романтиков, которая впоследствии оказывает на поэзию Жуковского все большее влияние. Таким образом процесс освобождения Жуковского от теоретических представлений классицизма шел

---

[1] Ср. „Русский Архив“, 1871, стр. 147.

[2] „Москвитянин“, 1853, январь, № 2, отд. I, стр. 147.

[3] См. прим. к посланию Воейкову и к посланию П. А. Вяземскому и В. Л. Пушкину.

параллельно — и путем изучения эстетических курсов, и путем углубленного изучения самой европейской романтической поэзии.

В 1814 г. семейство Протасовых переехало в Дерпт, вслед за ними переехал туда и Жуковский. С 1815 г. он часто наезжает в Дерпт, живя здесь иногда по несколько месяцев (1816—1817 гг. он почти целиком прожил в Дерпте). Здесь он сближается с кружком околоуниверситетской интеллигенции — прямыми поклонниками немецкого романтизма. Особенно следует отметить среди дерптских друзей Жуковского радикального политического мыслителя и романтика фон Бока, горячего поклонника «Ундины» Ламот-Фуке. К. Зейдлиц рассказывает, что «на вечерних собраниях в Дерпте, на которых... читали новейшие произведения немецкой словесности... Жуковский укреплялся в знании немецкого языка и литературы. В большом ходу в ту пору были творения Жан Поля, Гофмана, Тика, Уланда, с которыми Жуковский здесь впервые познакомился».[1] В 1816 г. Жуковский писал А. И. Тургеневу из Дерпта: «Поэзия час от часу делается для меня чем-то более возвышенным. Не надобно думать, что она только забава воображения... Но она должна иметь влияние на душу всего народа».[2]

5

3 августа 1812 г. Жуковский на семейном празднестве пел собственные стихи-романсы. В романсе «Пловец» Е. А. Протасова усмотрела намеки на чувство Жуковского к ее дочери и на следующий же день предложила Жуковскому оставить ее дом.[3]

И уже 10 августа мы находим Жуковского в чине поручика московского ополчения, направляющимся на театр военных действий против Наполеона. 26 августа Жуковский присутствовал при Бородинском сражении, находясь в двух верстах позади главной армии, за гренадерской дивизией. Именно потому, что тот глубокий резерв, в котором стояло ополчение, находился вне поля сражения и до него (ополчения) долетали только отдельные ядра да доносился шум боя, свидетельствовавшие о том, что сражение происходит, Жуковский писал впоследствии о своем участии в Бородинском сражении: «Певец, по слуху знавший бой!»[4] Вскоре после того Жуковский воспел Бородинскую битву и принимавших в ней участие русских генералов в «Певце во стане русских воинов».

«Певец во стане» имел разительный успех. Он принес Жуковскому всероссийскую славу. Именно ему, а не балладам, обязан был Жуковский началом широкой своей известности.[5]

Над этим произведением он работал ряд лет и характер его работы показывает, что история создания этого произведения тесно связана с военно-политической обстановкой всей кампании против Наполеона.[6]

«Певец во стане» точно отражал то патриотическое одушевление, которое охватило широкие слои русского общества в 1812 г.

---

[1] „Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. По изданным источникам и личным воспоминаниям К. Зейдлица", Спб., 1883, стр. 80.

[2] „Русская Старина", 1874, т. 9, стр. 541.

[3] См. прим. к „Пловцу".

[4] Ср. „Русский Архив", 1895, кн. 2, стр. 434.

[5] Ср. С. Жихарев, „Записки современника", т. II, Academia, 1934, стр. 169.

[6] См. прим. к „Певцу во стане русских воинов".

Однако, следует отметить одно важное обстоятельство. Среди генералов, принимавших участие в Бородинском сражении, у Жуковского не упомянуто имя Барклая де Толли.

В своей статье «Барклай де Толли» К. Маркс[1] отмечает огромные заслуги Баркая де Толли в деле подготовки разгрома Наполеоновской армии, а также исключительно большую роль, сыгранную Барклаем, уже после освобождения его от должности главнокомандующего, в самой Бородинской битве.

Эти заслуги Барклая де Толли правительственной официозной печатью были умышленно замалчиваемы.

Что внутри дворянской интеллигенции были люди, отчетливо представлявшие себе роль Барклая де Толли в Бородинском сражении, — явствует и из стихотворения Пушкина «Полководец», в котором дана оценка Барклая, сходная с той, которую находим в статьях Маркса и Энгельса (ср. также слова Пушкина в объяснительной заметке к «Полководцу» о «смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским». А. И. Тургенев при встрече выговаривал Пушкину за это «словечко о Жуковском»).

В трактовке Бородина Жуковский целиком следовал за отечественной официозной литературой. В частности, вот почему в «Певце во стане» имя Барклая не упомянуто. Антибонапартистские настроения Жуковского не возникли неожиданно в его творчестве. Начиная с 1806 г. в ряде стихотворений Жуковского мы находим отчетливо враждебные выступления против Бонапарта — см., например, «Приятель, отчего присел», раннюю редакцию «Элегии на смерть Каменского» и др. Таким образом и трактовка Бонапарта как тирана и «злодея» органически связана с политическими взглядами Жуковского 1800—1810-х гг.

В «Певце» в качестве образцов для себя Жуковский выдвигает образы поэтов — представителей русской классической одической поэзии: Петрова, Ломоносова, Державина. Не трудно было бы установить и влияние на «Певца» одической поэзии XVIII в. Самое построение «Певца» возвращает к принципам хвалебной песни классицизма с характерным для нее антифонным (два перекликающиеся голоса) строением. Так, в частности, стихи об атамане Платове представляют собой явное подражание Державинским стихам Платову. Но в отличие от тона Державинской оды Платову у Жуковского характеристика Платова одушевлена личным тоном, лирической манерой описания. Это новое изображение объекта, этот лирический тон и отличает хвалебную песню Жуковского от «объективных» восхвалений одической поэзии. Поэтому параллелей «Певцу во стане» надо искать не среди произведений русского классицизма, а среди тех произведений европейской поэзии конца XVIII в., которые подготовили европейское романтическое движение. Так, несомненна связь «Певца во стане» с аналогичной патриотической песней Томаса Грея «The Bard», в которой такой же оссиановски условный «бард» вспоминает великих героев английской славы. Жуковский переосмыслил этот оссиановский образ, присоединив к нему русские представления о певце-баяне, как они существовали в мифологических представлениях русской литературы XVIII в. Наконец, прямым образцом для лирического

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 11, ч. 2, стр. 569—570. См. также статью Ф. Энгельса „Бородино" — там же, стр. 631—637.

тона «Певца» послужили известные стихи Шиллера: «Песнь к радости» («An die Freude»). Шиллеровское произведение также построено как антифонная песня. Отдельные стихи «Певца во стане» представляют собой прямую разработку Шиллеровых стихов из «Песни к радости». Это отмечали и современники Жуковского. Так, Шевырев в письме к М. Погодину пишет о том, что он специально проделал сличение «Певца» с названным стихотворением Шиллера и нашел в отдельных стихах сходство, а в отдельных переработку оригинала.[1] Таким образом, можно сказать, что хотя «Певец во стане» еще связан с поэзией XVIII в., но он уже принципиально отличен от этой поэзии, выражая новое романтическое отношение к миру.[2]

Самый жанр одической патетики был чужд тенденциям развития поэзии Жуковского. Он это понимал. Вскоре после написания «Певца» он писал одному из своих друзей: «Судьба велела мне видеть войну во всех ее ужасах. Минута энтузиазма... заставила меня броситься на такую дорогу, которая мне совсем неизвестна».[3] Много позднее, уже перед смертью, Жуковский писал: «Певец... теперь мне самому весьма мало нравится».

И хотя Жуковский в 1812 г. выступил торжественным певцом русской храбрости, сам он оказался менее всего приспособленным к перенесению тягот походной жизни. Во время своего пребывания в армии он почти все время болел и передвигался, лежа в телеге. В ноябре он заболел горячкой и отстал от армии в Вильне.[4] 20 декабря 1812 г. он уехал на родину из Вильны и 6 января возвратился в Белев. 9 апреля 1813 г. он писал А. И. Тургеневу из Муратова: «Вся моя военная карьера состоит в том, что я прошел от Москвы до Можайска пешком; простоял с толпою русских крестоносцев в кустах в продолжение Бородинского дела, слышал свист нескольких ядер и канонаду дьявольскую; потом, наскучив биваками, перешел в главную квартиру, с которой по трупам завоевателей добрался до Вильны, где занемог, взял отпуск. бессрочный и теперь остаюсь в нерешимости: ехать ли назад или остаться. Мне дали чин, и наверное обещали Анну на шею, если я пробуду еще месяц. Но я предпочел этому возвращение, ибо записался под знамена не для чина, не для креста и не по выбору собственному ⟨т. е. не был выбран дворянством. *Ц. В.*⟩, а потому, что в это время всякому должно было быть военным, даже и не имея охоты. А так как теперь война не внутри, а вне России, то почитаю себя в праве сойти с этой дороги, которая мне противна и на которую меня могли бросить одни только обстоятельства».[5]

Когда «Певец во стане» сделался известен царскому семейству, Жуковского усиленно стали приглашать ко двору. С этого момента начинается его придворная карьера.

---

[1] См. М. П. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. 12, стр. 423.

[2] Ср. в книге Кенига, Очерки русской литературы, СПб., 1862, стр. 85—92.

[3] См. анонимную брошюру, автором которой был второстепенный журналист М. А. Бестужев-Рюмин, „Расуждение о Певце во стане русских воинов", СПб., 1822.

[4] См. о походах Жуковского в статьях: И. Липранди „И. Н. Скобелев и Жуковский в 1812 году (отрывок из воспоминаний)" — „Древняя и новая Россия", 1877, т. 3, стр. 169, и В. Баюшев „И. Н. Скобелев и В. А. Жуковский" (Поправка на статью Липранди) — „Современные Известия", 1877, № 328.

[5] „Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу", стр. 98. См. также Остафьевский Архив, т. I, стр. 14.

6

После окончания войны с Наполеоном русское дворянство переходит в энергичное наступление на все общественные идеи (о свободе народов, об освобождении человечества от тирана и т. д.), отразившие подъем, охвативший Россию в дни борьбы с Наполеоновским нашествием. Международная реакция объединяется в Священный союз. Русское правительство вскоре же энергично проводит систематическую замену «либеральных чиновников реакционными крепостниками — сперва в аппаратах внутреннего управления страной, а затем и в министерстве иностранных дел (удаление министра иностранных дел Каподистриа — этого, по словам Жуковского, «Аристида-христианина»).[1]

В области литературы 10-е гг. характеризуются активизацией крепостническо-националистических сил и нападением их на западническую либеральную дворянскую интеллигенцию и на те слои дворянства, которые принимали декларацию правительства о «свободе» всерьез, ожидая от Александра введения нового гуманного и счастливого государственного строя. К таким людям принадлежал и Жуковский со своими весьма расплывчатыми политическими идеалами, вынесенными из «дней Александровых прекрасного начала».

Эта борьба в литературе начиналась еще в самом преддверии 10-х годов, но нашествие Наполеона ее прекратило. После окончания войн с Наполеоном, то есть в 1815 г., она возобновилась с новой силой. На этот раз объектом для нападения была избрана литературная личность Жуковского как вождя новой школы, выросшей из карамзинского сентиментализма. Ибо Жуковский, с его филантропическим гуманизмом, с его пассивным отрицательным отношением к крепостному праву, с его западническими литературными интересами, казался литературным идеологам крепостничества очень удобной мишенью для атаки. Нападению подвергся и элегический романтизм Жуковского, и «чудесное» в его стихах, и, наконец, самое существо произведенной карамзинистами реформы литературного языка — европеизация лексики и синтаксиса. Самым характерным представителем всех этих «вредных нововведений» в литературе классикам-староверам казался Жуковский. Вот почему борьба сосредоточилась вокруг его имени. «В Белевском уединении своем, — рассказывает Вигель, — где проводил он половину года, Жуковский пристрастился к немецкой литературе и стал нас потчевать потом ее произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскою, ее покорной подражательницей (я говорю только о просвещенных людях), мы в выборах его увидели нечто чудовищное».[2]

Вождем классиков-архаистов был адмирал А. С. Шишков. Манифестом — его книга «Рассуждение о старом и новом слоге» (1803), центром — вельможное и официозное литературное общество «Беседа». Членами «Беседы», кроме Шишкова, были: Державин, Шихматов, Грузинцев, гр. Хвостов и др. Противникам «Беседы»

---

[1] „Русский Архив", 1887, кн. 1, стр. 439.
[2] Ф. Вигель, Записки, ч. 3, 1892, стр. 137.

инкриминировался политический и литературный якобинизм. Борьба началась с комедии Шаховского «Урок кокеткам», или Липецкие воды (у Шаховского были личные основания для нападения на Жуковского[1]). В «Липецких водах» Шаховской представил Жуковского в образе всеми пренебрегаемого жалкого «вздыхателя-балладника», поэта Фиалкина. На премьере «Липецких вод» 23 сентября 1815 г. в Малом театре в Петербурге присутствовал и Жуковский. Можно себе представить его положение, когда взоры зрителей все чаще и чаще стали на него обращаться. Узнать Жуковского было, конечно, не трудно. Вот как его представил в своей комедии Шаховской: в одной из сцен комедии, ночью, Фиалкин является с гитарой к окнам графини Лелевой. Какой-то шорох куста пугает его насмерть. Он видит, что это смотритель бань Семен. Между ними происходит следующий диалог:

Фиалкин

Насилу я дышу, ах, вы мне показались
Тем мертвецом, что в гроб невесту...
. . . .

Семен

Так мертвецами где ж напуганы?

Фиалкин

В стихах,
В балладах: ими я свой нежный вкус питаю.
И полночь, и петух, и звон костей в гробах,
И чу!.. Всё страшно в них; но милым всё приятно,
Всё восхитительно, хотя невероятно!

«Победа, — говорит Вигель, — казалась на стороне Шаховского; новая пьеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумным громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказывали, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венок на счастливого автора... Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварной улыбкой: «Как быть! Les rieurs sont de son coté» (насмешники на его стороне).[2] Точка зрения Шаховского была поддержана и в «Комедии против комедии, или урок волокитам» М. Загоскина (представленной 4 ноября 1815 г.). Один из героев комедии (Изборский) говорит о балладах: «Автору «Липецких вод» не нравится сей род сочинений — это нимало не удивительно. Одни только красоты поэзии могли до сих пор извинить в нем странный выбор предметов, и если сей род найдет подражателей, которые, не имея превосходных дарований своего образца, начнут также писать об одних мертвецах и привидениях, то признайтесь сами, что тогда словесность наша немного выиграет». В уста другого героя автор вкладывает ироническое рассуждение о жанре «ужасных баллад»: «Граф:

---

[1] См. прим. к посланию П. А. Вяземскому и В. Л. Пушкину.

[2] Ф. Вигель, Записки, ч. 4, 1892, стр. 172. Ср. с этим лицейскую заметку Пушкина от 6 ноября 1815 г.: „Шишков и г-жа Бакунина увенчали недавно Шаховского лавровым венком".

Один из моих знакомых недавно читал при дамах свое сочинение; лишь только он начал, то у всех, кто мог его понимать, волосы стали дыбом; в половине чтения сделалось многим дурно, а под конец одна дама упала в обморок и лежит теперь при смерти в горячке. Вот истинно-пиитические стихи!»

П. А. Катенин тогда же заново переводит «Ленору» Бюргера («Ольга»), чтобы показать, что «Людмила» Жуковского «не народная» баллада, а «сентиментальная» фальсификация Бюргеровой «Леноры». [1] Вопрос о принципах перевода Жуковским «Леноры» становится предметом журнальной полемики между Гнедичем и Грибоедовым.

Гнедич выступил с издевательским разбором «Ольги» и защитой «Людмилы» (с Жуковским Гнедича связывали и дружеские личные отношения). Однако, хотя он выступил на защиту Жуковского, принципиальная его точка зрения на балладу близка классикам. В частности, она почти совпадает со взглядом, высказанным в «Комедии против комедии» М. Загоскина, что только талант Жуковского смог создать в сем странном роде произведения искусства. Так, Гнедич писал: «Ах, любезный творец Светланы, за сколько душ ты должен будешь дать отчет! Сколько молодых людей ты соблазнишь на душегубство! Какой ряд предвижу я убийц и мертвецов, удавленников и утопленников», [2] и затем следует издевательский разбор ряда баллад Катенина. Кроме обвинений, сделанных с позиций жанровой эстетики классицизма, Гнедич полагает, что баллады нарушают и другой основной принцип искусства (основной для классиков) — требование нравственного значения искусства. Гнедич упрекает Катенина, что в «Ольге»: «Тут над мертвым заплясали адски духи при луне»... у г. переводчика «Ольги» c'est les diables, qui prêchent la morale, черти проповедуют нравственность, сами черти молят бога о прощении грешной души... Каких прекрасных чертей отыскал он для баллады! Vivent les ballades! И после этого осмелятся нападать на них! И после этого будут говорить мне, что баллады не имеют нравственной цели? Читай Ольгу — буду кричать каждому, в ней и черти учат нравственности». И, однако, было нечто в статье Гнедича, что позволило ему защищать «Людмилу», это — близкая Жуковскому позиция в вопросе о поэтическом языке. Гнедич писал об «Ольге»: «Слезный сон — сухой эпитет, рано поутру — сухая проза... Слова: светик, вплоть, споро, сволочь и пр., без сомнения дышат простотой, но сия простота не поссорится ли со вкусом». [3] Эту двойственность защиты Гнедичем баллады не могли не почувствовать сторонники поэтической школы Жуковского. Так, хваля Гнедича за его статью, Батюшков писал ему 17 августа 1818 г.: «Жаль только, что ты напал на род баллад. Тебе, литератору, это непростительно: все роды хороши». [4]

На защиту «Ольги» выступил Грибоедов. «Я не знал, — писал он, — до сих пор, что чудесное в поэзии требует извинения». [5] Нападая на тогдашний «слезливый романтизм» и «элегическую унылость» и защищая «грубость» и народность рассказа, он иронически

---

[1] См. „Сын Отечества“, 1816, ч. 30, стр. 186.
[2] „Сын Отечества“, 1816, № 27, стр. 9.
[3] Там же, стр. 11 и 18.
[4] „Русская Старина“, 1883, т. 39, стр. 27.
[5] „Сын Отечества“, 1816, ч. 31, стр. 150 и сл.

писал: «Топ мертвеца кажется ему ⟨Гнедичу⟩ слишком грубым... Стих «в ней уляжется ль невеста?» заставляет рецензента стыдливо потупить взоры; в ночном мраке, когда робость любви обыкновенно исчезает, Ольга не должна делать такого вопроса любовнику, с которым готовится разделить брачное ложе? — Что ж ей? предаться тощим мечтаниям любви идеальной? — Бог с ними, с мечтаниями; ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос». Грибоедов далее утверждает, что критик «Ольги» выражает немецкую, а не русскую эстетику. Так, по поводу стиха «Ольги»: «...с глаз пропал», Грибоедов пишет: «Рецензент спрашивает: с чьих глаз? — Такие вопросы заставляют сомневаться — точно ли русский человек их делает... не колонист ли он сам? — В таком случае прошу сто раз извинения — для переселенца из неметчины он еще очень много знает наш язык».

Таким образом, в этом споре Грибоедов выступает с защитой «чудесного» (романтической эстетики) и «натуры» и нападает на «немецкую» эстетику Гнедича; то есть полемика вокруг «Людмилы» и «Ольги» показывает, что в ней уже вставал круг вопросов, предвосхищающих декабристскую критику поэзии Жуковского (см. ниже) 1824—1825 гг.

К дискуссии с запозданием присоединился и классик Мерзляков, который 22 февраля 1818 г. в собрании Московского Общества любителей российской словесности (на котором присутствовал и Жуковский) неожиданно прочел будто бы полученное им «Письмо из Сибири», направленное против новой поэзии, «ее злоупотреблений» и против баллад Жуковского. В этом письме Мерзляков повторил точку зрения «Комедии против комедии»: «Сами немцы, чувствуя нестройность сего рода... сознаются, что единственно великие гении Шиллера и Гете могли высокостью таланта и прелестями неподражаемыми слога украсить сих нестройных выродков». Выступление Мерзлякова, благодаря присутствию Жуковского, произвело эффект скандала. [1]

7

Крепостнически-реакционное крыло литературы было представлено официозным литературным обществом «Беседа». Литературные друзья и единомышленники Жуковского создают свою литературную организацию — как пародию на организацию «Беседы» — «Арзамас». В протоколе организационного собрания Арзамаса, состоявшегося 14 октября 1815 г., читаем: «Шесть присутствовавших братий торжественно отреклись от имен своих... И все приняли на себя имена мученических баллад, означая тем свою готовность: 1-е, потерпеть всякое страдание за честь Арзамаса, и 2-е, быть пугалом для всех противников его по образу и подобию тех бесов и мертвецов, которые так ужасны в балладах». [2] Жуковский писал об организации Арзамаса А. П. Киреевской

---

[1] „Письмо из Сибири“ было в сокращении напечатано в „Трудах общества любителей российской словесности при Московском университете“, 1818, ч. 12, стр. 34; см. подробно о речи Мерзлякова у Мих. Дмитриева в его „Мелочах из запаса моей памяти“, М., 1869, стр. 167 и сл.

[2] „Арзамас и арзамасские протоколы“, Издательство писателей в Ленинграде, 1933, стр. 82.

в ноябре 1815 г.: «Если рассказывать, то хоть забавное. Здесь есть автор князь Шаховской. Известно, что авторы не охотники до авторов. И он потому не охотник до меня. Вздумал он написать комедию и в этой комедии смеяться надо мной. Друзья за меня вступились... Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу...».[1] Эта задача объединения арзамасцев вокруг направления Жуковского подчеркивалась и тем, что все члены Арзамаса брали себе имена из «невинно умученных» баллад Жуковского.

Арзамас объединял таких представителей дворянских либеральных настроений, как кн. П. А. Вяземский, некоторых влиятельных дипломатов, которых Н. И. Тургенев правильно охарактеризовал как «русских тористов», например, как Д. Н. Блудов,[2] и таких идеологов декабризма, как Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов, — людей, непосредственно тянувших Арзамас к постановке политических проблем и декабризму. Можно сказать, что единого политического лица у Арзамаса не было. Жуковский, близкий к идеологии Священного союза, увлеченный борьбой с литературными реакционерами, в эти годы сочувственно выслушивал своих друзей либералов. Вот почему политическая позиция членов Арзамаса могла порождать всяческие иллюзии, почему арзамасцев рассматривали и как либералов (ср. Вяземский: «либеральные идеи, которые у нас переводят законносвободными, а здесь можно покуда называть арзамасскими»), почему у Жуковского в 10-е гг. была репутация «либерала», благодаря которой Ростопчин даже отказался прикомандировать его к себе в 1812 г., утверждая, что Жуковский — якобинец.[3] Важно отметить, что Арзамас являлся продолжением «Дружеского литературного общества», в котором связи с масонскими традициями аристократической оппозиции можно установить отчетливее. Ср. с этим слова Вигеля об Арзамасе: «Благодаря неистощимым затеям Жуковского Арзамас сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ».[4]

Душою арзамасских развлечений был Жуковский, получивший здесь имя: Светлана. «Жуковский, — рассказывает Е. Ковалевский, — имел необыкновенную способность сопротивопоставлять самые разнородные слова, рифмы и целые фразы одни другим, таким образом, что речь его, повидимому правильная и плавная, составляла совершенную бессмыслицу и самую забавную галиматью».[5] Впоследствии Н. И. Тургенев вспоминал в «La Russie et les russes» о господствовавшем в Арзамасе стиле развлечений и о характере арзамасских собраний, что хотя он и находил удовольствие присутствовать в этих заседаниях (так как разговоры не всегда исчерпывались пустяками), однако это удовольствие никогда не было чистым и беспримесным (pur et sans mélange»), потому что он «никак не мог вполне приспособиться к отличавшему этих господ ⟨арзамасцев⟩ духу осуждения и глумления».[6]

---

1 „Уткинский сборник", 1904, стр. 18.
2 См. о нем в примечании к посланию Блудову.
3 См. П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. 7, 1883, стр. 504.
4 Ф. Вигель, Записки, ч. 4, М., 1892, стр. 175.
5 Е. Ковалевский, Граф Блудов и его время, СПб., 1886, стр. 109.
6 Н. Тургенев, La Russie et les russes, т. 1, стр. 125.

И, действительно, противники Арзамаса подвергались систематическому глумлению и осмеянию. Сам Жуковский впоследствии, вспоминая об арзамасских заседаниях, характеризовал их как соединение буффонады и дурачеств: «Nous nous réunions pour rire à gorge déployée comme des fous; et moi qui fus élu sécrétaire de la société, je n'ai pas peu contribué à nous faire tous atteindre ce but principal, c. a. d. le rire; je rédigeais mes protocoles en galimathias dans lequel je me suis tout-à-coup trouvé d'une force gigantesque. Tant que nous n'avons été que *buffons*, notre société est restée active et pleine de vie; aussitôt qu'on a pris la résolution de devenir *grave* elle mourut d'une mort subite». (Мы собирались, чтобы похохотать во все горло, как сумасшедшие; и я, избранный в секретари общества, немало способствовал тому, чтобы заставить всех нас достигнуть этой основной цели, то есть смеха; я наполнял мои протоколы галиматьей, в которой внезапно оказался гигантски силен. Пока мы были только шутами, наше общество оставалось деятельным и полным жизни; как скоро приняли решение стать серьезными,— оно умерло скоропостижной смертью).[1]

Смысл существования Арзамаса заключался в конкретной литературной борьбе за направление Жуковского, которая объединила единомышленников Жуковского в Арзамасе и с исчерпанием которой арзамасское общество фактически выполнило свою задачу и распалось.

Однако было бы неправильным рассматривать арзамасские веселые сборища как аполитичные собрания «бездельников, навязывающих бумажку на Зюзюшкин хвост» (слова Писарева об Арзамасе). Несмотря на неотчетливость и разнонаправленность политических тяготений членов Арзамаса, по существу Арзамас выступал защитником европеизма и просвещения и противником крепостнической реакции, и в этом смысле борьба за Жуковского была борьбой за передовое искусство. Вот почему Арзамас сыграл прогрессивную роль в развитии русской литературы.

8

В 20-е гг. поэзия Жуковского подвергается нападкам со стороны декабристской критики. Для того, чтобы понять смысл этих нападений, следует остановиться на тех важных изменениях в творческой и личной судьбе Жуковского, которые произошли во второй половине 1810 г.

Я уже отмечал, что после того, как «Певец во стане» стал известен царскому семейству, началась придворная карьера Жуковского. Он был в 1815 г. приглашен ко двору. В 1817 г. он был назначен учителем русского языка к прусской принцессе Шарлотте (впоследствии имп. Александре Федоровне), а с 1826 г. — наставником наследника (впоследствии имп. Александра II). В качестве человека, близкого царской семье, Жуковский пользуется своим влиятельным положением для того, чтобы предстательствовать перед правительством за литераторов и несколько смягчать те удары, которые правительство обрушивало на оппозиционных писателей.

---

[1] Это неопубликованное письмо Жуковского 1846 г. к канцлеру Ф. фон Миллеру хранится в Веймарском архиве Гете. Ср. в „Сборнике статей по славяноведению, составленном и изданном учениками В. И. Ламанского", СПб., 1905, стр. 336.

Он добивается смягчения ссылки Пушкина, помогает Баратынскому освободиться от солдатчины, освобождает из крепостного состояния Т. Шевченко, добивается смягчения участи сосланных декабристов, хлопочет о материальном вспомоществовании ряду писателей, одновременно выступая и в качестве посредника между литературой и правительством.

Однако, в свою очередь, близость ко двору накладывает на творчество Жуковского свой отпечаток.

В письме к Николаю I Жуковский писал: «С 1817 года начинается другая половина жизни моей, совершенно отличная от первой».

В сущности говоря, после дискуссий 1815—1816 гг. Жуковский многие годы работал вне литературы. В 1818 г. он издавал особые сборники своих стихотворных переводов «Für wenige. Для немногих», крохотными тиражами в несколько десятков экземпляров для немногих друзей. Да и самая задача этих сборников была не литературная, а педагогическая — дать книгу чтения образцовых русских стихотворений, иностранные оригиналы которых его ученица Александра Федоровна знала наизусть, рядом с этими иностранными оригиналами, чтоб она лучше могла усваивать уроки русского языка. Самый список стихов для сборников определялся, в сущности, не столько вкусами Жуковского, сколько пристрастиями и знаниями его ученицы. Благодаря своей ученице, перенесшей в Петербург литературные интересы дворцовых кругов Берлина, Жуковский сближается с немецкой феодально-мистической поэзией. 18 апреля 1819 г. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Жуковский вдается в какую-то христианскую выспренность».[1] В сентябре 1819 г. И. И. Дмитриев писал А. И. Тургеневу: «Оторвите Жуковского от немчизны. Пора ходить на своих ногах, описать что-нибудь поважнее».[2] В своих письмах к А. И. Тургеневу Вяземский неоднократно возвращается к этой теме. То он называет Жуковского «прусской гвоздикой», то пишет о прямой связи правительственного германофильства и немецкой ориентации поэзии Жуковского.[3] Укреплению нового круга идейных влияний способствуют и поездки Жуковского в Германию, во время которых он и лично знакомится с немецкими романтиками мистического крыла. В эти годы у него начинает складываться та мистическая философия вдохновения и поэтического творчества, которая с этого времени становится определяющей для всего его дальнейшего творческого развития. Из Гетевского посвящения к «Фаусту», переведенного им как посвящение к «Двенадцати спящим девам» (см.), Жуковский почерпнул платоновские идеи о вдохновении как воспоминании. Стихотворение Шеллинга «Lied» (Песня), разрабатывающее тему вдохновения — гения-посетителя, оказывает на него такое же большое влияние. Через стихи Жуковского 1818—1820 гг. проходит цикл идей об искусстве и вдохновении, восходящих к романтической философии искусства, как интуитивного постижения невыразимой в конечном земном мышлении идеальной сущности природы (натурфилософская эстетика Шлегеля и Шеллинга). В стихотворении «Невыразимое» Жуковский непосредственно говорит о мистической невыразимости действительности. Этот круг идей романтической

---

[1] Остафьевский Архив, т. 1, стр. 220.
[2] И. И. Дмитриев, Сочинения, т. 2, СПб., 1893, стр. 252.
[3] Остафьевский Архив, т. 1, стр. 183 и 164.

философии искусства проходит через такие стихи этих лет, как «Цвет завета», «Таинственный посетитель», «К мимопролетевшему знакомому гению», «Лалла Рук», «Элегия на смерть королевы Виртембергской» и др. [1]

Либеральные друзья Жуковского встретили усиление мистических настроений в его поэзии резко отрицательно. Вяземский по поводу «Невыразимого» писал А. И. Тургеневу 5 сентября 1819 г.: «Жуковский слишком уж мистицизмует... Стихи хороши... но все один оклад: везде выглядывает ухо и звезда Лабзина». [2] Упоминание «уха и звезды» Лабзина здесь особенно характерно. Лабзин — один из руководителей мистического Российского библейского общества во второй половине царствования Александра I, один из выразителей мистических устремлений московских масонов — розенкрейцеров в «надзвездные области», пропагандировавший в России Юнг-Штиллинга, Эккартсгаузена и других тогда новейших мистиков. То-есть Вяземский упрекает Жуковского в близости к правительственному мистицизму. Жуковский действительно в эти годы проделывает ту эволюцию к мистицизму, которая характеризует и правительственную идеологию.

Тщетны были попытки близких к декабризму друзей указать Жуковскому другие вехи для творческого развития, оторвать его от все усиливавшегося при дворе влияния немецкой партии. Под влиянием настойчивых рекомендаций Вяземского, Пушкина и других друзей Жуковский обращается к Байрону, но и из Байрона он извлекает пессимистический романс, а при переводе «Шильонского узника» отбрасывает предпосланный Байроном поэме сонет к свободе и религиозно переосмысляет монолог Бонивара. [3] Жуковский поправляет Байрона при помощи английских романтиков-ториев. Эта интерпретация байронизма в свете поэтики английских романтиков «озерной школы» стала линией истолкования английского романтизма в России, противоположной декабристскому и пушкинскому пониманию Байрона. [4]

Английский романтизм Жуковский воспринимает через очки немецкой романтической мистики. Вот почему можно сказать, что, несмотря на переводы из Байрона, в конце 10-х гг. XIX в. Жуковский становится представителем в России той линии романтизма, которая была представлена в Европе так называемой Иенской группой немецких романтиков (Новалис, Тик, Вакенродер, Шлегель и др.), в которой ему оказалась близка философия мистического субъективизма.

Либеральные друзья Жуковского с огорчением смотрели на усиление его мистических настроений и на его сближение с двором. Потоки водянистых мадригальных посланий, написанных Жуковским по поводу различных мелких событий придворного быта: о похоронах павловской белки, об утере фрейлиною носового платка, о пауке, которого фрейлина убила своею рукою, [5] и т. п., вызывают со

---

[1] См. также концепцию „прекрасного" в письме Жуковского о „Лалла Рук" (на стр. 383).

[2] Остафьевский Архив, т. 2, стр. 305.

[3] См. подробнее в прим. к „Шильонскому узнику".

[4] О столкновении на русской почве двух линий английского романтизма — романтизма торических поэтов с романтизмом Байрона — см. в моей вступительной статье к собранию стихотворений И. И. Козлова в малой серии „Библиотеки Поэта", Л., 1936.

[5] См. „Исторический Вестник", 1902, т. 88, стр. 169.

стороны друзей резкую критику. Вяземский с огорчением констатирует, что Жуковский «пудрится». В письме к А. И. Тургеневу 20 июня 1819 г. он пишет: «Жуковский пудрится!.. Его голова крепче Филаткиной, если устоит против этой картечи порабощения и чванства». [1] К этому именно времени относится влюбленность Жуковского в С. А. Самойлову. [2] И когда Жуковский отправился в заграничное путешествие, Вяземский написал ему большое письмо, предлагая воспользоваться Европой для того, чтобы разорвать со своим, ограниченным «дворцовым романтизмом», существованием. Он писал Жуковскому 15 марта 1821 г.: «Добрый мечтатель! Полно тебе нежиться на облаках: спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолам... Ради бога, не убаюкивай независимости своей ни на розах Потсдамских, ни на розах Гатчинских... страшусь за твою царедворную мечтательность. В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его... Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора... мне больно видеть воображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом. Как ни делай, но в атмосфере, тебя окружающей, не можешь ты ясно видеть предметы, и многие чувства в тебе усыплены... Воспользуйся разрешением своим от петербургских оков. Столкнись с мнением европейским; может быть стычка эта пробудит в тебе новый источник. Но если по Европе понесешь за собою и перед собою китайскую стену Павловского, то никакое чужое дыхание до тебя не дотронется. Сердись или нет, а я все одно тебе говорю: продолжать жить, как ты жил, совестно тебе...» [3] Надежды Вяземского не оправдались. Между тем, новая позиция Жуковского вызвала критику уже не справа, а слева, критику, нападавшую на общественное содержание его поэзии. Эту критику возглавили декабристы.

9

Вопрос о литературном смысле критики поэзии Жуковского декабристами не может быть уяснен без решения вопроса о положительной программе этой критики, то есть без уяснения смысла тех литературных явлений, которые пришли на смену поэзии элегического романтизма и которые возглавлялись поэтической работой Пушкина. Вот почему без понимания отношения Пушкина к Жуковскому не может быть понят и смысл декабристской критики творчества Жуковского.

Пушкин начинал во многом как ученик Жуковского и не только Жуковского-элегика. Мне думается, что стиль арзамасской поэзии Жуковского, то есть стиль литературного бурлеска и буффонства, перемешанных с литературной пародией и эпиграммическими шутками, стиль «бессмыслицы, едущей верхом на галиматье», оказал несомненное влияние на формирование сатирического стиля молодого Пушкина.

Вскоре, столкнувшись с идеологическими и литературными влияниями декабризма, Пушкин перерастает своего учителя и переоценивает свое отношение к Жуковскому. Это перерастание Пушкиным

[1] „Остафьевский Архив", т. 1, стр. 254; см. там же, стр. 260.
[2] См. прим. к посланию гр. С. А. Самойловой.
[3] „Русский Архив", 1900, т. 1, стр. 181.

своего учителя сказалось прежде всего в поэме «Руслан и Людмила», в которой Пушкин пародирует «Двенадцать спящих дев». Пушкин в этой поэме пародийно переосмысляет не отдельные элементы поэтики Жуковского, которые Пушкин все вобрал в себя, но самый «девственный характер» его поэзии. [1] Жуковский признал это право своего ученика итти дальше него по пути развития русской поэзии, признал также и то, что «Руслан и Людмила» открывает новую эпоху в русской поэзии и, нимало не оскорбившись тем, что его стихи оказались предметом пародии, уступил первое место в русской поэзии Пушкину. Прочтя «Руслана и Людмилу», Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя».

В 1820 г. мы находим в письмах Пушкина ряд высказываний о поэзии Жуковского, в которых Пушкин заново для себя оценивает и литературную позицию Жуковского и его место в современной литературе. Пушкин с нетерпением ждет перевода Жуковским «Шильонского узника», ибо он любит Жуковского и желает ему выбраться на большую дорогу литературы, которую Жуковский утерял во второй половине 10-х гг. Потому-то в литературе было так приветствовано обращение Жуковского к работе над «Шильонским узником», что все почитатели Жуковского восприняли его работу над Байроном как разрыв с мелкой тематикой придворной мадригальной поэзии. Поэтому же Пушкин с раздражением встретил переводы Жуковского из Мура, в которых он усматривал, и справедливо, возвращение к тем же традициям реакционной мистики. В своих письмах этих лет Пушкин пишет, что Жуковскому пора обратиться к самостоятельной работе, что довольно ему быть переводчиком, что пора ему иметь собственные «крепостные вымыслы». Эти отдельные высказывания Пушкина подхватываются подготовленным к ним литературным мнением и начинают складываться в общую оценку современниками всего смысла поэтической работы Жуковского. Наконец, к 1824 г. у Пушкина, видимо, возникает убеждение, что роль Жуковского, такого, каким он представлен в своем собрании стихотворений издания 1824 г., уже выполнена и что место его в литературе отодвинуто в прошлое. Так, он писал 13 июня 1824 г. брату: «Жуковского я получил. Славный был покойник. Дай бог ему царство небесное». К этим строкам Б. Л. Модзалевский в своем издании писем Пушкина делает примечание: «Что именно из сочинений Жуковского послал Л. С. Пушкин брату, неизвестно». Между тем, здесь речь идет, конечно, о трехтомном собрании стихотворений, то есть об итоге всей поэтической работы Жуковского. Таким образом, можно думать, что последующая критика поэзии Жуковского восходит к этим отдельным суждениям Пушкина, разбросанным в его письмах в Петербург, письмах, конечно, получавших очень широкую известность и, в частности, предопределивших декабристскую концепцию поэзии Жуковского.

Декабристскую оценку творчества Жуковского с наибольшей отчетливостью выразили А. Бестужев и поддержавший его Рылеев. В статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» Бестужев писал: «Кто не увлекался мечтательною поэзиею Жуковского, чарующего толь сладостными звуками? Есть время в жизни,

---

[1] См. прим. к „Двенадцати спящим девам".

в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения; в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы как знакомцев встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим былое.[1] Душа читателя потрясается чувством унылым, но невыразимо приятным. Так долетают до сердца неясные звуки Эоловой арфы, колеблемой вздохами ветра. — Многие переводы Жуковского лучше своих подлинников; ибо в них благозвучие и гибкость языка украшают верность выражения. Никто лучше его не смог облечь в одежду светлого, чистого языка разноплеменных писателей; он передает все черты их со всею свежестью красок портрета, не только с бесцветною точностью силуэтною. У него природа видна не в картине, а в зеркале. Можно заметить только, что он дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику и, вообще, наклонность к чудесному; но, что значат сии безделыные недостатки во вдохновенном певце 1812 года, который дышит огнем боев, в певце луны, Людмилы и прелестной как радость Светланы?»[2] Эта очень бережная и осторожная критика немецкого мистицизма Жуковского выражала, по существу, резко отрицательное отношение декабристов к литературной позиции Жуковского, она послужила началом развернутого наступления критики на его поэзию. За этим деликатным осуждением стояло требование, выдвинутое Бестужевым в другой статье: «Было время, что мы не впопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать прямо по-русски?».[3] С этой точкой зрения перекликается и статья В. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии особенно лирической в последнее десятилетие», в которой Кюхельбекер нападает на жанры школы Жуковского, на элегии и баллады. Так, Кюхельбекер пишет: «Картины везде одни и те же: луна, которая, разумеется, уныла и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало; лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, пошлые иносказания, бледные, бессвязные олицетворения... в особенности же туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя... Прочитав любимую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все — чувств у нас давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. — Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в повременных изданиях... О мыслях и говорить нечего. — Печатью народности отмечены какие-нибудь восемь-десять стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского».[4] Всеобщие нападки на элегическое направление побудили одного из наиболее заметных представителей элегической поэзии — Баратынского выступить с осуждением собственной литературной позиции. В послании «К Богдановичу», написанном 17 июня 1824 г., Баратынский писал об элегиях:

---

[1] Эти мысли впоследствии буквально повторил Белинский.

[2] „Полярная Звезда на 1823 г.“, стр. 22.

[3] А. Бестужев, Взгляд на русскую словесность в течение 1824 г. — см. Полное собрание сочинений (Бестужева) Марлинского, СПб., 1840, стр. 200.

[4] „Мнемозина“, 1824, ч. 2, стр. 37 и сл.



победителю-ученику отъ побежденнаго-учителя.
тотъ высокоторжественный день въ который онъ окончилъ свою
поэму Русланъ и Людмила
1820 Марта 26 Великая пятница

Портрет В. А. Жуковского, подаренный А. С. Пушкину.

...Новейшие поэты
Не улыбаются в твореньях своих...
...И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к музам их немецких муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с Германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! — Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело.
Как терпит публика безумие такое? —

Критическая точка зрения А. Бестужева на поэзию Жуковского была подхвачена с прямой ссылкой на Бестужева и в журнале Греча и Булгарина — «Сыне Отечества». «Было время, — писал автор статьи «Письма на Кавказ», — когда наша публика мало слыхала о Шиллере, Гете, Бюргере и других немецких романтических поэтах; — теперь всё известно; знаем, чтó откуда заимствовано, почерпнуто или переиначено. Поэзия Жуковского представлялась нам прежде в каком-то прозрачном, светлом тумане; но на все есть время, и этот туман теперь сгустился. Мы видим имена Шиллера, Байрона, Гете, яснеющие в тумане, — но с грустью обращаемся к Светлане, некоторым посланиям, повторяем с чувством некоторые строфы из Певца во стане русских воинов, и — ожидаем». [1] С еще большей резкостью эта точка зрения высказана была П. Катениным в письме к Н. И. Бахтину от 14 ноября 1824 г.: «Многие думают, что ни тот и ни другой ⟨ни Вяземский, ни Жуковский. *Ц. В.*⟩ не выдали по сие время ничего большого и даже ничего собственно своего». [2] В следующей книжке «Сына Отечества» во втором «Письме на Кавказ», [3] нападению подвергается мистический характер лирики Жуковского. Анализируя его «Привидение» критик цитирует:

Воздушною, лазурной пеленой
Был окружен воздушный стан.
Таинственно она ее свивала
И развивала над собой.

«Воля ваша, — говорит он, — но эта таинственность в свиванья и развиванья пелены, или покрова — непостижима; и если это тайна, которую не нужно знать читателю, то лучше вовсе умолчать о ней... Не могу однакоже скрыть желания, чтоб наконец прошла мода на этот род поэзии, которую А. А. Бестужев, по справедливости, назвал неразгаданною, и чтоб мы могли наконец читать прекрасные стихи без таинственного лексикона». Параллельно с этой серией направленных против него статей Жуковский делается объектом политических эпиграмм. Так, в 1818 г. получает распространение анонимная эпиграмма на

[1] „Сын Отечества", 1825, ч. 99, № 2, стр. 205, Ж. К., „Письма на Кавказ. Письмо первое".
[2] „Русская Старина", 1911, т. 146, стр. 175.
[3] „Сын Отечества", 1825, ч. 99, № 3, стр. 310.

Жуковского — четыре стиха из опубликованного А. Я. Максимовичем[1] послания Милонова «В Вену к друзьям», характеризующая наступившую реакцию в литературе:

Державин спит давно в могиле,
Жуковский пишет чепуху,
И уж Крылов теперь не в силе
Сварить «Демьянову уху».

Несколько позднее получает широкое распространение исходящая из декабристских кругов эпиграмма на Жуковского — пародия на его «Певца во стане»:

Из савана оделся он в ливрею,
На ленту [пудру] променял свой
миртовый [лавровый] венец,
Не подражая больше Грею,
С указкой втерся во дворец.
И что же вышло, наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею.
Бедный певец!

Эпиграмму эту приписывали Пушкину, Рылееву, А. Бестужеву, Булгарину и Воейкову.[2] Ни Пушкин, ни Рылеев, ни Воейков авторами эпиграммы не были. Жуковский считал ее автором Булгарина. Греч в своих «Записках» утверждает, что автором этой эпиграммы был Булгарин, что эпиграмму эту прочел Жуковскому Воейков и что Жуковский после этого говорил ему, Гречу: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своей эпиграммою: я во дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочел мне эпиграмму с невыразимым восторгом».[3] То, что Жуковский действительно слышал эту эпиграмму от Воейкова, подтверждает письмо А. И. Тургенева, который писал об этой «мерзкой эпиграмме» П. А. Вяземскому 22 мая 1825 г.: «Воейков, который также с торжеством поспешил прочесть эту эпиграмму Жуковскому...»[4] Свидетельство Греча о том, что автор эпиграммы Булгарин, поддержал и А. Н. Веселовский.[5]

Когда все эти отдельные критические высказывания против Жуковского оформились в связную концепцию и возвратились к Пушкину, Пушкин, который не мог возражать на выдвинутые против Жуковского аргументы, ибо они основывались на мыслях, высказанных им в разное время в письмах, — решительно выступил на защиту поэзии Жуковского, возражая на эту концепцию не

[1] „Карамзин и поэты его времени“, малая серия „Библиотеки Поэта“, Л., 1936.

[2] См. „Новое Время“, 1903, № 9845, статья П. Ефремова; „Саратовский Листок“, 1897, № 58, статья О. В.; „Старина и Новизна“, кн. 8, 1904, стр. 37; „Поэты-декабристы“. Сборник стихотворений под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1931, стр. 35; „Русская Старина“, 1870, т. 1, стр. 521 — „Записки М. Бестужева“. Автором эпиграммы был, возможно, А. Бестужев.

[3] Н. Греч, Записки, Academia, 1934, стр. 493.

[4] Остафьевский Архив, т. 3, стр. 127.

[5] Ал. Веселовский, В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. СПб., 1904, стр. 323.

по существу, а путем подчеркивания ее односторонности, подчеркивания положительных заслуг Жуковского перед русской литературой. 25 января 1825 г. он писал Рылееву о статье Бестужева: «Не совсем соглашаюсь с строгим приговором ⟨Бестужева⟩ о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? —Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым». Это же большое значение творчества Жуковского подчеркивает он и в письме к П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 г.: «Ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его... Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный». По поводу попытки Пушкина защитить Жуковского Рылеев, в свою очередь, писал Пушкину 12 февраля 1825 г.: «Не совсем прав ты и во мнении о Жуковском. Бесспорно, что Жуковский принес важные пользы языку нашему; он имел решительное влияние на стихотворный слог наш — и мы за это навсегда должны оставаться ему благодарными, но отнюдь не за влияние его на дух нашей словесности, как пишешь ты. К несчастию, влияние это было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали. Зачем не продолжает он дарить нас прекрасными переводами из Байрона, Шиллера и других великанов чужеземных. Это более может упрочить славу его». [1]

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что, хотя в той критике, которой декабристы подвергли поэзию Жуковского, его немецкий мистицизм и элегическую романтику, были черты сходства с критикой классиков из «Беседы», — принципиальный смысл этой критики был иным. Позиция декабристской литературы была сложной и противоречивой: наряду с апологией Державина, как «идеального типа поэта», поэта огромного государственного масштаба, наряду с пропагандой «героического историзма», характерной и для позиции классиков, декабристы выступали представителями нового национального сознания. Их народность была народностью романтической. Больше, чем Державина, они пропагандировали Байрона. Рылеев прямо писал Пушкину: «Ты можешь быть нашим Байроном!» Нападения критики были направлены не против романтизма вообще, а против романтизма мистического, и потому-то против Жуковского как вождя этой школы в России.

Время руководящей роли Жуковского в русской литературе действительно закончилось. А. Н. Пыпин говорил об этом в своих «Исторических очерках»: «Содержания Жуковского достало только для эпохи, непосредственно следующей за Карамзиным, для первого и отчасти второго десятилетия XIX века, затем время перегнало его, и он остался вне движения». [2] В свое время Белинский подвел итоги всем этим дискуссиям вокруг Жуковского: «Время баллад, — писал он, — совершенно прошло». [3]

---

[1] К. Рылеев, Полное собрание сочинений, Academia, 1934, стр. 483.

[2] А. Н. Пыпин, Исторические очерки. Характеристика литературных мнений от 20—50-х гг., СПб., 1873, стр. 29.

[3] В. Г. Белинский, Сочинения, т. 3, 1919, стр. 115.

Наступала в литературе эпоха Пушкина и декабристов. Руководящая роль в развитии русской поэзии Жуковским была утрачена.

Впрочем, пассивный Жуковский и не пытался ее отстаивать. Еще в самом начале борьбы, в ноябре 1815 г., он писал А. П. Киреевской: «Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и все молчали. Город разделился на две партии и французские волнения забыты при шуме парнасской бури. Все эти глупости еще более привязывают к поэзии, святой поэзии, которая независима от близоруких судей и довольствуется сама собой». [1] Эта пассивность и позволила впоследствии Жуковскому найти путь к примирению с крепостнической действительностью.

Так, 13 октября 1818 г. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу о неустойчивости принципиальной позиции Жуковского: «Кто бывает у Жуковского по субботам? Сделай милость, смотри за ним в оба. Я помню, как он пил с Чебышевым и клялся Катениным. С ним шутить «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»: в первую субботу напьется с Карамзиным, а в другую — с Шишковым». [2] Однако, несмотря на расплывчатость и нечеткость своей общественной позиции, по политическим воззрениям Жуковский гораздо ближе к идеологии Священного союза, чем к своим друзьям декабристам. Вот почему он хотя и благожелательно, но категорически отклонил сделанное ему предложение вступить в члены декабристской организации. Характерен самый его ответ Трубецкому на такое предложение. Жуковский сказал Трубецкому, прочтя устав Союза благоденствия (в 1819 г.): «Устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, что для выполнения ее требуется много добродетели со стороны лиц, которые берут на себя ее исполнение, и что он счастливым почел бы себя, если б мог убедиться, что в состоянии выполнить требования этого устава, но что он, к несчастью, не чувствует достаточно в себе к тому силы».

Путь революции Жуковскому категорически чужд. Революции он противопоставляет, как явствует из приведенных цитат, близкие к масонским идеалы нравственного самоусовершенствования. Точно так же засвидетельствованное рядом документов отрицательное отношение Жуковского к крепостному праву в такой же степени было у него следствием, конечно, не революционного, а филантропического миросозерцания.

10

Защищая Жуковского от нападок декабристской критики, Пушкин писал о нем Рылееву: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались?»

И действительно, Жуковский оказал огромное влияние на ход развития всей русской поэзии. В самом деле, прочтите эти стихи:

Были и лето и осень дождливы,
Были потоплены пажити, нивы,
Хлеб на полях не созрел и пропал,
Сделался голод, народ умирал...

---

[1] „Уткинский сборник", 1904, стр. 18.
[2] Остафьевский Архив, т. 1, стр. 129.

Это — стихи не Некрасова, а Жуковского.

Лодку вижу... где ж вожатый?!
Едем!.. Будь, что суждено...
Паруса ее крылаты
И весло оживлено...

Это — стихи не Языкова, а Жуковского.

Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья —
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена —
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать,
И обессиленно безмолвствует искусство.

Это — философская лирика Жуковского, а не Тютчева.

И так далее, и так далее.

И если Жуковский не был переводчиком-копиистом в передаче содержания оригинала, то еще в меньшей степени был он подражателем в передаче ритмики переводимого образца. «Переводчик в прозе — раб, — говорил он, — переводчик в стихах — соперник».[1] Вот один пример:

Стихотворение Саути «Суд божий над епископом» написано тоническим балладным стихом со строфой по четыре стиха, составленной из двух рифмованных двустиший. В отдельных местах баллады Саути подчеркивает развитие сюжета введением в строфу лишних стихов: 5-го и даже 6-го. Например:

And *in* at the windows and *in* at the door,
And *through* the walls by thousands they pour,
And *down* from the ceiling, and *up* through the floor,
From the *right* and the *left*, from *behind* and *before*,
From *within* and *without*, from *above* and *below*
And all at once to the bishop they go.

то есть:

И *внутрь* сквозь окна и *внутрь* сквозь дверь,
И *сквозь* стены они тысячами проникли
И *вниз* с потолка и *вверх* через пол,
И *справа* и *слева*, *сзади* и *спереди*
Изнутри и *снаружи*, *сверху* и *снизу*,
И все разом к епископу они кидаются.

Жуковский не сохранил в переводе ни размера, ни общего тона, ни количества стихов подлинника. Данный пример может служить свидетельством неудачного перевода. В самом деле, взамен замечательного шестистишия Саути у Жуковского читаем следующие четыре вялые стиха:

[1] Статья „О басне и баснях Крылова", 1809 г.

Вдруг ворвались неизбежные звери;
Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери,
Спереди, сзади, с боков, с высоты...
Что тут, епископ, почувствовал ты?

И, однако, даже в этих четырех стихах есть та самая интонация, унылая и однотонная, которой нет в оригинале и которую в русскую поэзию ввел Жуковский. Нововведенный Жуковским способ сочетания дактилических стихов открыл большие возможности для разработки, — и Некрасов впоследствии заимствовал его у Жуковского и переработал в тот особый меланхолический стих, который ожил у него как собственный его, Некрасова, поэтический «голос»:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился. Поля опустели.
Только несжата полоска одна,
Грустную думу наводит она.

Жуковский проложил множество троп для последующей русской поэзии. И часто там, где он сделал только наметку пути, другой поэт прокладывал большую поэтическую дорогу. Именно потому, что мы смотрим на Жуковского, зная всех пришедших вслед за ним поэтов, нам трудно представить себе реальную цену его новаторской работы.

О произведенной Жуковским реформе стиха Кюхельбекер писал так: «При совершенном неведении древних языков, которое отличает, к стыду нашему, почти всех русских писателей, имеющих некоторые дарования, без сомнения знание немецкой словесности для нас не без пользы. Так, например, влиянию оной обязаны мы, что теперь пишем не одними александринами, четырехстопными ямбами и хореическими стихами». [1] Так, к немецкой традиции восходит и введенный Жуковским амфибрахий и разработанные им различные сочетания разностопных ямбов и т. п.

Когда Жуковский начал вводить в России белые пятистопные стихи, Пушкин написал на них пародию (на «Тленность» Жуковского):

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль, что если это проза,
Да и дурная...

Так же отрицательно, как Пушкин, отнеслись в это время к пятистопным белым ямбам и другие друзья и единомышленники Жуковского. Так, Батюшков писал 10 сентября 1818 г.: «Жуковский (!?!?!?!) пишет пятистопные стихи без рифм, он, который очаровал наш слух и душу и сердце... После того, мудрено ли, что в академии так переводят?» [2] Нет необходимости объяснять, какое большое место в творчестве Пушкина заняла впоследствии работа над белым пятистопным ямбом. «Орлеанской девой» Жуковский

---

[1] В. Кюхельбекер, „О направлении нашей поэзии особенно лирической в последнее десятилетие“ — „Мнемозина“, 1824, ч. 2, стр. 35.
[2] „Русский Архив“, 1867, стр. 1533.

доказал в России, что пятистопный ямб ожет стать основным размером для стиховой трагедии. Но Пушкин не сразу оценил достоинства пятистопного ямба и в «Орлеанской деве». Так, Батюшков писал А. И. Тургеневу 12 июля 1818 г.: «Скажите Жуковскому... что перевод из Иоганны мне нравится как перевод мастерской, живо напоминающий подлинник; но размер стихов странный, дикий, вялый; ссылаюсь на маленького Пушкина, которому Аполлон дал чуткое ухо».[1] Однако вскоре Пушкин переменил свою точку зрения на этот размер. Он писал 4 сентября 1822 г. Л. С. Пушкину: «С нетерпением ожидаю успех Орлеанской... Но актеры, актеры. 5 стоп. стихи и без рифм требуют совершенно новой декламации». Современникам ясна была связь между стихом «Орлеанской девы» и стихом «Бориса Годунова». Баратынский писал об этом И. Киреевскому в 1831 г.: «Я не совсем согласен с тобою в том, что слог «Иоанны» служил образцом для «Бориса». Жуковский мог только выучить Пушкина владеть стихом без рифмы, и то нет, ибо Пушкин не следовал приемам Жуковского, соблюдая везде цезуру».[2] Новаторский характер трагедий с белыми пятистопными ямбами настолько испугал представителей консервативного эстетического сознания, что Главный комитет дирекции имп. театров 12 марта 1826 г. принял постановление «о непринимании впредь на сцену трагедий, писанных вольными белыми стихами, как не могущими быть терпимыми ни в каком драматическом сочинении».

Наконец, обзор метрических нововведений, сделанных Жуковским, был бы неполон, если бы я не упомянул о гекзаметре. Жуковский своими стихами уничтожил существовавшее со времен Тредьяковского предубеждение против гекзаметра и усвоил эту форму русскому стиху. Я имею в виду не только гекзаметр как размер для передачи классического содержания, но и тот повествовательный гекзаметр, который сам Жуковский, в отличие от гекзаметра классического, именовал своим «сказочным гекзаметром». Размер этот, воспринятый Жуковским от немецкой поэзии, в Германии в 10-е гг. XIX в. был ступенью к выработке повествовательного стиха в эпоху спада и разложения немецкой лирической поэзии. Такую же роль играл он и в России. «Гекзаметр был для него, — писал Н. Полевой, — не средством избегнуть монотонии шестистопного ямба, но музыкальным новым аккордом».[3]

Можно без конца приводить примеры стихового новаторства Жуковского. Так, например, заметив монотонность хореев с дактилическими окончаниями, которыми Карамзин, в подражание народным песням, написал «Илью Муромца», Жуковский употребил это окончание через стих, отчего стихи получили особенную меланхолическую гармонию:

Ах! Почто за меч воинственный
Я мой посох отдала,
И тобою, дуб таинственный,
Очарована была

и т. д. Ср. также «Песню (Отымает наши радости)».

---

[1] „Русский Архив“, 1867, стр. 1317.
[2] „Татевский сборник С. А. Рачинского“, СПб., 1899, стр. 113.
[3] Н. Полевой, Очерки русской литературы, ч. 1, СПб., 1839, стр. 139.

Все эти примеры показывают, что Жуковский произвел реформу русского стиха и ввел тот богатый арсенал метрических форм, который после него успешно разрабатывался на протяжении всего XIX и начала XX в. Пушкин, Лермонтов, Козлов, Тютчев, Фет, Некрасов, Бальмонт, Белый, Блок, Брюсов — нет такого заметного поэта XIX и начала XX в., который не учился бы на стихах Жуковского.

Обогащение метрики решало задачу дать стиху возможность свободнее выражать все более разнообразящееся содержание литературы. Ту же задачу играло и освобождение строфики. Разнообразие строфики Жуковского казалось особенно поразительным его современникам, которые знали только лапидарную, преимущественно куплетную систему строфы предшествующей ему поэзии. Эта большая строфическая свобода позволила Жуковскому избегнуть синтаксического однообразия, освободиться от характерных для поэзии XVIII в. инверсий, и добиться большой интонационной подвижности стиха.

Наконец, освободив строфику, введя новые метры, Жуковский реформировал отношение и к самому звуковому составу стиха. Музыкальность стиха Жуковского особенно поражала современников. Н. Полевой писал о ней: «Жуковский играет на арфе: продолжительные переходы звуков предшествуют словам его и сопровождают его слова, тихо припеваемые поэтом, только для пояснения того, что хочет он выразить звуками. Бессоюзие, остановка, недомолвка — любимые обороты поэзии Жуковского... Чем отличается Жуковский от всех других поэтов русских: это музыкальность стиха его, *певкость*, так сказать — мелодическое выражение, сладкозвучие. Нельзя назвать стихи Жуковского *гармоническими*, — гармония требует диссонанса, противоположностей, фуг поэтических; ищите гармонии русского стиха у Пушкина... но не Жуковского это стихия. Его звуки мелодия, тихое роптание ручейка, легкое веянье зефира по струнам воздушной арфы». [1]

Итак, лирический стих, разработанный Жуковским, знаменует огромную реформу в истории русского стиха, реформу, которая отодвинула в прошлое поэзию XVIII в. и подготовила пушкинскую эпоху.

11

Начиная с 1820 г. Жуковский предпринимает ряд заграничных путешествий: в сентябре 1820 г. — в Берлин; в марте 1821 г. — в Берлин, откуда в начале апреля 1821 г. отправился в путешествие по Европе. Был в Дрездене, где познакомился с вождем немецкого романтизма Тиком и с художником-романтиком Фридрихом. Затем поехал в Швейцарию, оттуда в Италию, плавал на обратном пути по Рейну и 6 февраля 1822 г. вернулся в Петербург. 11 мая 1826 г. Жуковский уехал лечиться за границу. Зиму 1826 г. до февраля он провел в Германии, в Дрездене, лечась и одновременно составляя подробный план учения наследника. В мае 1827 г. он отправился в Париж для закупки французской части учебной библиотеки. Затем в июне, для личного ознакомления с системой Песталоцци, поехал в Швейцарию. Во время всех этих своих заграничных путешествий

---

[1] Н. Полевой, Очерки русской литературы, СПб., 1839, ч. 1, стр. 128 и 130.

он познакомился с крупнейшими деятелями европейской литературы. В октябре 1827 г. он возвратился в Россию и вступил в исполнение своих педагогических обязанностей. В 1829 г. он снова ездил (с апреля по июнь) в Берлин.

Заграничные путешествия сблизили Жуковского с немецкой литературой. Многократные встречи в Германии с немецкими романтиками и разговоры с ними существенно изменили его эстетические воззрения. Его теперь совершенно не удовлетворяет эстетика классиков, от которой он начал отходить, как я указывал, в 10-е гг. XIX в. Вот что он писал своему другу — художнику Е. Рейтерну из Петербурга в 1830 г. о природе искусства по поводу присланных ему Рейтерном в подарок рисунков. Жуковский, хваля рисунки Рейтерна, спрашивает: «Отчего же происходит эта прелесть? От верного, истинного изображения природы, от истины. Да, каждый поэт, каждый художник должен дать ту же клятву, какая требуется от свидетелей в французских судах. Он должен стать перед судом природы, поднять руку и произнести из глубины души: истина, вся истина и ничего другого, как истина. В таком только случае его произведения будут безусловным изображением природы». Однако было бы заблуждением думать, что здесь у Жуковского речь идет об объективной истинности изображения. «Везде будет обаяние истины; везде будет изображен человек таковым, каким он был в момент, когда был застигнут. В этом и состоит истинная красота. Желание украсить природу и сделать ее пригожею — святотатство».— И затем следует прямая полемика с классицизмом: «Я полагаю, худо поняли древних. Они были правдивы, но они ничего не украсили, они имели перед собою прекрасную природу. Мы явились после них и вообразили, что нет другой природы, как та, которая вдохновила древних, и мы ее обезобразили (исказили), подобно Прокрусту, который удлинял или укорачивал члены путешественников по своему ложу. «Нет ничего прекрасного, кроме истинного; одно истинное достойно любви» — сказал Буало, не понимая значения сих прекрасных слов потому, что сам Буало был не что иное, как сухой раб свободной и прекрасной древности». После этой резкой критики теории объективного у классицизма Жуковский излагает свое понимание истинного в искусстве: «Надо изучать природу... Правда, личность (индивидуальность) художника выражается в его произведениях потому, что он видит природу собственными глазами, схватывает собственною своею мыслью и прибавляет к тому, что она дает, кроющееся в его душе. Но эта личность будет не что иное, как душа человеческая в душе природы: она является для нас голосом в пустыне, который украшает и оживляет ее. Развалина, например, красива сама по себе, но воспоминание, смутно с ней связанное, придает ей несказанную прелесть. Такая же развалина, но сделанная искусственно, производит то же действие в отношении положения места, но прелести иметь не будет. Мы, следовательно, любим находить везде душу человеческую; чем больше она проявляется, тем сильнее привлекается наша».[1] Так проповедь истины и объективного изображения природы оказывается по существу программою романтического психологизма и субъективизма, — не природа, но одушевляющее ее чувство воспринимающего художника!

---

[1] „Русский Вестник", 1894, № 9, стр. 232

Однако романтизм был воспринят Жуковским довольно узко. Так, в разговорах с Гете выяснилось, что Жуковский менее глубоко понимает Байрона, чем Гете, в разговорах с Тиком, что Жуковский не понимает Шекспира. Несмотря на то, что Тик сам прочел ему «Макбета», несмотря на огненное красноречие Тика, Жуковский ушел от него, так и «не понимая замечательности Гамлета». Сам Жуковский так рассказал об этом разговоре: «Я признался Тику в грехе своем, сказал, что создание Шекспира Гамлет кажется мне чудовищем и что я не понимаю его смысла. На это сказал он мне много прекрасного, но, признаться, не убедил меня». [1]

Эти разговоры Жуковского с романтиками содержат достаточно показательный материал для того, чтобы можно было обнаружить односторонность восприятия Жуковским эстетики романтизма. Иначе говоря, Жуковский в философии романтизма воспринял, в сущности говоря, только элементы фихтевой субъективности (Жуковский внимательно читал и самого Фихте), то есть субъективистическое мироощущение раннего периода немецкого романтизма, но не всю широту романтической натурфилософии (характерно, что Жуковский не одобрял интереса И. Киреевского к Шеллингу).[2] Это определило субъективную ограниченность его романтической философии. Гете точно указал на субъективизм поэзии Жуковского, сказав, что Жуковскому «следовало бы более обратиться к объекту». [3] Этот упрек ему сделал также и Н. Полевой: «Долго... Жуковского,— писал Полевой, — почитали полным представителем современного европейского романтизма. Но Жуковский, по нашему мнению, был представителем только одной из идей его, и мир нового романтизма проходил и проходит мимо него так, что он едва успевает схватить и разложить один из лучей, каким этот романтизм осиял Европу». [4] Эту же односторонность Жуковского отмечает и Белинский, в отличие от Полевого считающий ее не только недостатком, но и «силой» Жуковского. «Жуковский односторонен, — говорит Белинский, — это правда, но он односторонен не в ограниченном, а в глубоком и обширном значении этого слова». [5]

12

В 1831 г. выходят «Баллады и повести» Жуковского: первое издание в двух частях (СПб., ценз. дата: ч. 1 — 7 июня 1831 г.; ч. 2.— 21 июля 1831 г.) и второе — в одной части (ценз. дата 21 июля 1831 г.). По словам Гоголя, это было как бы вторым рождением Жуковского в литературе. Баратынский писал об этих новых стихах Жуковского: «Я получил баллады Жуковского. В некоторых необыкновенное совершенство формы и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне дает охоту рифмовать легенды». [6]

---

[1] „Московский Телеграф“, 1827, кн. 3, стр. 114.

[2] См. „Русский Библиофил“, 1912, кн. 7—8, стр. 102. Узнав об увлечении поэта А. В. Кольцова немецкой идеалистической философией, Жуковский советовал ему бросить заниматься немецкими философами: „Философия — жизнь, а немцы дураки“, сказал он ему (см. письмо А. В. Кольцова от 27 янв. 1841 г. к В. Г. Белинскому.— Соч. А. В. Кольцова, изд. Ак. Наук, 1911, стр, 242).

[3] См. прим. к стих. „К Гете“.

[4] Н. Полевой, Очерки русской литературы, ч. 1. СПб., 1839, стр. 119.

[5] См. В. Г. Белинский, Сочинения под ред. С. А. Венгерова, т. 5, СПб., 1901, статья об „Очерках русской литературы“ Н. Полевого.

[6] Письмо к И. В. Киреевскому от 18 января 1832 г., см. в „Татевском сборнике С. А. Рачинского“, СПб., 1899, стр. 32

В это время, то есть в 1831 г., Жуковский жил в Царском Селе. Появление новой книжки замечательных произведений Жуковского было для литературы событием и неожиданностью. О Жуковском было принято думать прежде всего как об авторе «Певца во стане». Тут же появился новый Жуковский — сказочник и романтик. Публика с удивлением начала приглядываться к новому образу поэта. Коншин пишет в своих воспоминаниях: «Я любил Жуковского, который трогал душу в переданных им поэтах немецких, того Жуковского, который воспел 1812 год и — по моему мнению — умер... В 30-х гг. поэт был уже не тем: толстый, плешивый здоровяк, сказочник двора... его звали добряком, он ходил со звездами и лентами, вовсе ими не чванился, вид имел скорее сконфуженный, нежели барский». Сходный портрет рисует и И. С. Тургенев: «В нем и следа не осталось того болезненного юноши, каким представлялся воображению наших отцов «Певец во стане русских воинов»; он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благость светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета. Полувосточное происхождение его сказывалось во всем его облике». [1] Это сочетание доброжелательности и какого-то восточного глубокомыслия отмечали все его современники, писавшие об его облике 30—40-х гг. Так, А. Н. Муравьев приводит следующие поразившие его слова Жуковского, сказанные слепому поэту И. И. Козлову: «Ты все жалуешься, — сказал однажды Жуковский Козлову, — на судьбу, друг мой Иван Иванович; но знаешь ли, что такое судьба? — это исполин, у которого золотая голова, а ноги железные. Если кто, по малодушию, перед ним падет, того он растопчет своими железными ногами, но если кто без страха взглянет ему прямо в лицо: того осияет он блеском золотой головы!» Муравьев прибавляет при этом: «Как это глубоко и проникнуто загадочной мудростью Востока! Козлов заплакал и потом переложил слова эти в стихи». [2] Впоследствии, вспоминая о Жуковском, А. С. Стурдза писал, что в характере Жуковского особенно поражало сочетание «милого простодушия с проблесками прямого глубокомыслия». Это сочетание доброты и простодушия, даже наивности, с каким-то восточным, почти гиератическим глубокомыслием и составляет то основное в характере Жуковского 30-х гг., о чем говорят его современники.

Как я указывал, в 1831 г. Жуковский жил в Царском Селе. Там же в 1831 г., после женитьбы, поселился и Пушкин. К Пушкину и Жуковскому присоединился и Гоголь. Все трое работают над созданием литературных народных сказок. Это сближение Пушкина и Жуковского вызывалось и сходством позиции, занимаемой обоими поэтами в литературной борьбе этих лет. И Пушкин и Жуковский были сотрудниками «Литературной Газеты» Дельвига, которая в 1830 г. объединяла группу так называемых «литераторов-аристократов», ведущую борьбу с так называемым «торговым направлением»

---

[1] И. С. Тургенев, Сочинения, т. 10, 1913, стр. 79.
[2] А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими поэтами, Киев, 1871, стр. 20

в литературе. Смысл этой борьбы заключался в защите прогрессивным искусством своей независимости от реакционной правительственной идеологии и от рептильного полицейского «черносотенного демократизма» (термин В. И. Ленина)[1] охранительно-мещанской литературы, представителем которого для пушкинской группы был прежде всего Булгарин. В этой борьбе симпатии правительства были на стороне Булгарина, ибо нити, связывающие сотрудников «Литературной Газеты» с декабристской литературой, с одной стороны, а с другой — с аристократическим либерализмом XVIII в., с Арзамасом, с кругом Тургеневых — было очень нетрудно обнаружить. В борьбе с идеологией и эстетикой «торгового направления» пушкинская группа противопоставляла городской мещанской лавочной эстетике «торговой литературы» эстетику народного творчества (фольклор).

В своем отношении к изучению народного творчества сам Жуковский стоял на уровне современной ему научной фольклористики (мифологическая школа Гриммов), сознательно противопоставляя методы литературного использования фольклора методам его научного собирания.[2] Жуковский всячески пропагандирует в эти годы изучение народного творчества; под его воздействием складывается громадной ценности работа по собиранию фольклора, проводимая его близким родственником П. Киреевским. Сам Жуковский также усердно изучает сказочную литературу. В его библиотеке сохранились десятки разных сборников сказок и легенд, английских, немецких, французских, чешских, австрийских, шведских, датских и др. Но основной тон его собственных сказок был подсказан ему Гриммами.[3] И если Пушкин сумел в своих сказках создать произведения, отмеченные подлинной народностью стиля, черпая материал из мирового фольклора (в последнее время установлен ряд европейских источников сказок Пушкина, в частности, мне, кроме отмеченных, удалось обнаружить, что и «Жених» его есть переработка сказки Гриммов «Der Räuberbräutigam»), то Жуковский остался гораздо ближе к своим европейским источникам, чем к духу русских народных сказок. Так, Жуковский боялся «грубости» и силы народных сказок, перерабатывая их в свете той критики народной поэтики, которая характеризовала более консервативные круги немецких романтиков.[4]

Однако сближение с Пушкиным имело положительное значение и для поэтики сказок Жуковского. Пушкин научил Жуковского подчеркивать критические элементы сказки (сатирический смысл народного рассказа). Так, под очевидным влиянием поэтики Пушкинских сказок складывается замысел «Войны мышей и лягушек» как сатирического иносказания о борьбе пушкинского объединения с Булгариным,[5] и о разгроме правительством этого объединения.

Смерть Дельвига и прекращение «Литературной Газеты», донос на Жуковского и Киреевского и запрещение «Европейца» положили конец этому этапу работы Жуковского. Запрещением «Европейца»,

---

[1] См. В. И. Ленин, Собр. соч., изд. 3, т. 16, стр 642.

[2] См. его письмо к Маркевичу от 24 февраля 1834 г., „Москвитянин", 1853, т. 3, № 12, отд. 4, стр. 11.

[3] См. прим. к сказкам.

[4] См. прим. к „Тюльпанному дереву" и критику этой сказки Гриммов Ахимом фон Арнимом.

[5] См. прим. к „Войне мышей и лягушек".

по словам А. П. Елагиной, «более всех оскорблен был Жуковский. Он позволил себе выразиться перед Николаем I, что за Киреевского он ручается. «А за тебя кто поручится?» — возразил государь. Жуковский после этого сказался больным и перестал ходить во дворец. Имп. Александра Федоровна употребила свое посредство. «Ну, пора мириться», сказал государь, встретив Жуковского».[1] Тогда же Жуковский написал царю письмо, в котором снова поднимал вопрос о своем либерализме: «Я не либерал, — писал он, — в том смысле, в каком это слово принимается. Смело скажу, что нет человека, который бы и по характеру и по убеждению был более меня привязан к законности и порядку».[2] Параллельно с этим он писал Киреевскому: «Я уже писал к государю о твоем журнале и о тебе. Сказал мнение свое начистоту. Ответа не имею и вероятно не буду иметь, но что надобно было сказать, то сказано. Из всего этого дела видно, что есть добрые люди, вероятно из авторской сволочи, кои вредят тебе по личной злобе, но, вредя тебе, хотят ввести правительство в заблуждение и насчет всех, кто пишет с добрым намерением. Они клевещут на эти намерения, и я уверен, что правительство убеждено, что между авторами некоторого разряда, в коем вероятно состою и я, есть тайное согласие распространять мнения разрушительные и революционные... Что делать честному человеку? Он совершенно бессилен... Обвинителям верят на слово, а тем, кто хочет оправдать себя, на слово не поверят».[3] Насколько при дворе было распространено убеждение, что Жуковский — это умный и ловкий вождь *либеральной русской партии*, можно судить на основании того, что это убеждение проникло даже в те сведения о политических настроениях русского общества, которые доставляли европейские послы в России своим правительствам. Голландский посол в России барон Геккерен писал 17 марта 1837 г. министру иностранных дел Нидерландского королевства о политической обстановке в России, что правительство испытывает сильное влияние «русской партии», желающей повести страну путем реформ. «Истинным главою этой партии, — писал Геккерен, — является г. Жуковский, на коего уже давно возложено воспитание великого князя наследника, каковые обязанности он выполняет и в настоящее время. Это человек, быть может менее популярный, чем г. Пушкин, хотя также очень любимый как поэт; но его проницательность, ловкость, с каковой он направляет действия своей партии, не совершая ничего, что могло бы скомпрометировать его лично, делают из него очень интересный объект для постоянных наблюдений в будущем. ...Как всякое движение, которое только зарождается, русская партия пока довольствуется тем, что дает свои указания по поводу необходимых реформ: она их добивается; и, быть может, не далек тот момент, когда император... не будет больше в состоянии сопротивляться и, вопреки своей воле, подчинится влиянию той силы, которая растет одинаковым образом в ходе всякой революции: боязливая вначале, требовательная впоследствии, несокрушимая в конце».[4]

---

[1] Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 4, стр. 10.
[2] Неопубликованная рукопись Пушкинского Дома № 27764/CXCVIII685.
[3] См. в книге В. Лясковского, Братья Киреевские, СПб., 1899, стр. 29.
[4] Опубликовано в „Правде" от 13 января 1937 г.

18 июня 1832 г. Жуковский снова уезжает лечиться за границу. Проехав всю Германию, он поселяется на зиму вместе с семьей своего друга, художника Рейтерна, в Швейцарии, в Веве, в местечке Верне, недалеко от Шильонского замка. Здесь, в немецкой семье своего лифляндского друга, Жуковский провел тихую и спокойную зиму, в течение которой он работал над переводом «Ундины». В начале весны Жуковский предпринял вместе с Рейтерном путешествие в Италию и вернулся в Петербург 11 сентября 1833 г.

В 1837 г. Жуковский предпринимает с наследником большое путешествие по России (со 2 мая по 17 декабря 1837 г.). Затем предпринимает такое же путешествие за границу в мае 1838 г. через Швецию, Германию, Австрию, Нидерланды, Англию — и обратно в Россию (путешествие длилось до начала 1839 г.). Несмотря на предупреждение Николая I, сделанное Жуковскому перед путешествием по России, о том, чтобы наследник не входил ни в какое соприкосновение с «опальными», по ходатайству Жуковского, уже в начале путешествия в Вятке были амнистированы сосланные туда архитектор Витберг и А. И. Герцен, затем такое же ходатайство было возбуждено о декабристах и т. д. Впоследствии, когда Герцен, эмигрировав из России, потребовал от Николая I, через Ротшильда, выдачи своих денег, Николай, принужденный выполнить требование Ротшильда, сказал по этому поводу о Жуковском: «Никогда не забуду ему допущенного по его ходатайству освобождения Герцена!» После заграничного путешествия, возвратившись в Россию, Жуковский написал императрице резкое письмо, в котором предупреждал, что солдафонское воспитание наследника неминуемо подготовит еще одно 14 декабря 1825 г. После этого письма отставка его сделалась неизбежной. Он подал просьбу об освобождении его от педагогической должности «в виду окончания возложенной на него педагогической задачи». Отставка его была принята. Придворная его карьера закончилась.

Летом 1840 г., во время поездки в Германию, Жуковский заехал в Дюссельдорф навестить Рейтерна, сделал предложение восемнадцатилетней дочери Рейтерна Елисавете и получил ее согласие. Он ездил затем для устройства материальных дел в Петербург, получил там чин тайного советника и многотысячный пенсион. В 1841 г. он вернулся в Германию и 21 мая 1841 г. женился на Е. Рейтерн. После женитьбы он поселился в Германии. В 1842 г. у него родилась дочь, в 1845 г. — сын.

Сближение с Рейтернами оказывает влияние на мировоззрение Жуковского. Религиозный пиэтизм Рейтернов, почерпнутый из немецких мистико-пиэтистических кружков, усиливает религиозную настроенность Жуковского. Тяжелая душевная болезнь жены еще более усугубляет мрачность этой пиэтистической обстановки, и Жуковский целиком попадает во власть религиозных представлений. Поэзия ему кажется все более орудием религиозной проповеди. Формулой его эстетики становится стих из его драмы «Камоэнс» (1839):

Поэзия есть бог в святых мечтах земли!

Жуковский со страхом присматривается к явлениям «безбожной» современности. Он приходит в ужас от событий немецкой революции 1848 г. Оценивая европейские события с позиции немецкой феодальной реакции, Жуковский приспособляет идеологию феодальной монархии к панславистским идеям о великой исторической миссии самодержавной России. Так немецкий феодальный мистицизм перекликается у него со взглядами русского славянофильства (Хомяков, Тютчев, Киреевские, редакция «Москвитянина»).

Напуганный ростом в Германии крестьянских восстаний, Жуковский пишет статью «О смертной казни», для понимания которой (статьи) следует учесть идеологию немецкого феодализма в его борьбе с революцией 1848 г. (широкое введение в Германии в это время смертной казни диктовалось интересами внутренней политики немецкой реакции). Эта статья «О смертной казни», содержащая изуверский проект «предания казни под церковное пение о душе казнимого», характеризует те позиции, к которым пришел Жуковский в эти годы. И, однако, когда в 1850 г. Жуковский, собрался напечатать свои статьи этих лет, они были подвергнуты цензурному запрещению. Статьи эти ставили проблемы, гласное обсуждение которых царское правительство не хотело допускать, хотя бы автор и трактовал их с самых верноподданнических позиций. Именно потому генерал Дуббельт писал 23 декабря 1850 г. о статьях Жуковского в Главное управление по делам печати, настаивая на их запрещении: «Хотя, с одной стороны, уже одно имя автора ручается за благонамеренность его сочинения, с другой — результат всех его суждений в рукописи (за исключением только некоторых отдельных мыслей и выражений) стремится к тому, чтобы обличить с верою в бога удалившегося человека от религии и представить превратность существующего ныне образа дел и понятий на Западе, тем не менее вопросы его сочинения духовные слишком жизненны и глубоки, политические слишком развернуты, свежи нам одновременно, чтобы можно было без опасения и вреда представить их чтение юной публике. Частое повторение слов: свобода, равенство, реформа, частое возвращение к понятиям: движение века вперед, вечные начала, единство народов, собственность есть кража и тому подобным, останавливают на них внимание читателя и возбуждают деятельность рассудка... Благоразумнее не касаться той струны, которой сотрясение произвело столько разрушительных переворотов в западном мире и которой вибрация еще колеблет воздух. Самое верное средство удалить от зла — удалить самое понятие о нем».[1]

Напуганный цензурными неприятностями, Жуковский поспешил отказаться от мысли напечатать статьи.

Со взглядами этих его статей перекликается и содержание его неопубликованной предсмертной исповеди-автохарактеристики. В этом документе Жуковский осуждает себя за недостаток веры. Он пишет: «Во мне нет ни теплой веры в спасителя, ни в его очистительное и примирительное таинство». Теперь Жуковский глубоко осуждает свое творчество и свою молодость. «В первые дни полусонной молодости, — пишет он, — легкомыслие, самонадеянное непризнание святого или равнодушие к тому, что составляет нашу ответственность перед богом. Полный рационализм, вышедший

---

[1] См. П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 48.

не из сомнения и размышления, а просто из беспечного невежества, и с этим рационализмом соединение какой-то фальшивой сентиментальности, имеющей религиозную маску, без всякой практической деятельности».[1]

В этой записи, в сущности говоря, заложены те идеи, которые мы находим в «Переписке с друзьями» Гоголя, книге, которая сложилась как результат непосредственных разговоров с Жуковским и которая увидела свет в своем настоящем виде только благодаря покровительству и одобрению Жуковского.

Религиозно-теоретические сочинения Жуковского этих лет помогают понять смысл его творческой эволюции. Например, статья «О смертной казни» может объяснить, почему Жуковский переводит такое произведение, как «Матео Фальконе», в котором он одобряет казнь — убийство отцом своего сына.

Стремление Жуковского отгородиться от бурных событий современности заставляет его противопоставлять наступившему «безбожному» революционному времени идеально-аристократический патриархальный век Гомера. Этим стремлением противопоставить идеальный мир народного эпоса раздираемому социальными потрясениями веку современности объясняется обращение Жуковского к эпосу (Гомеру, Махабхарате и т. п.). Поэтому, принимаясь за свой перевод «Одиссеи», Жуковский смотрит на свою работу как на важную миссию, имеющую не только литературное, но и религиозно-дидактическое значение для современности. Так же смотрел на задачу перевода Жуковским «Одиссеи» и Гоголь, который прямо писал о том, что в «Одиссее» «услышит сильный упрек себе наш XIX век!»

Патриархальные иллюзии, однако, оказались не ко времени, и «Одиссея» не оправдала надежд, возлагавшихся на нее и Гоголем и Жуковским. Следующая работа Жуковского была уже непосредственно посвящена темам религиозного искупления («Вечный жид»). Однако кончить ее он не успел.

12 апреля 1852 г. Жуковский умер.

Цезарь Вольпе

---

[1] Рукопись ГПБ. См. Отчет ИПБ за 1884 г. Описание И. А. Бычкова, № 60, л. 18.



Е. Жуковская (1842).



СТИХОТВОРЕНИЯ

ЭЛЕГИИ

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полуночным приходом
Ее безмолвного владычества покой.

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.

Денницы тихий глас, дня юного дыханье,
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,
Ни ранней ласточки на кровле щебетанье —
Ничто не вызовет почивших из гробов

На дымном очаге трескучий огнь сверкая
Их в зимни вечера не будет веселить,
И дети резвые, встречать их выбегая,
Не будут с жадностью лобзаний их ловить.

Как часто их серпы златую ниву жали,
И плуг их побеждал упорные поля
Как часто их секир дубравы трепетали,
И потом их лица кропилася земля!

Пускай рабы сует их жребий унижают,
Смеяся в слепоте полезным их трудам,
Пускай с холодностью презрения внимают
Таящимся во тьме убогого делам;

На всех ярится смерть — царя, любимца славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдет;
Всемощныя судьбы незыблемы уставы;
И путь величия ко гробу нас ведет!

А вы, наперсники фортуны ослеплены,
Напрасно спящих здесь спешите презирать
За то, что гробы их непышны и забвенны,
Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать,

Вотще над мертвыми, истлевшими костями
Трофеи зиждутся, надгробия блестят,
Вотще глас почестей гремит перед гробами —
Угасший пепел наш они не воспалят.

Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою
И невозвратную добычу возвратит?
Не слаще мертвых сон под мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть их бременит.

Ах! может быть под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить,
И гробожитель-червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце, иль мыслями парить!

Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.

Как часто редкий перл, волнами сокровенной,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.

Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;

Иль кровию граждан Кромвель необагренный,
Или Мильтон немой, без славы скрытой в прах

Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуну презирать,
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —

Того им не дал рок; но вместе преступленьям
Он с доблестями их круг тесный положил:
Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям,
И быть жестокими к страдальцам запретил;

Таить в душе своей глас совести и чести,
Румянец робкия стыдливости терять,
И раболепствуя, на жертвенниках лести
Дары небесных Муз гордыне посвящать.

Скрываясь от мирских погибельных смятений
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
Не зная горести, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.

И здесь спокойно спят под сенью гробовою —
И скромный памятник, в приюте сосн густых,
С непышной надписью и резьбою простою,
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.

Любовь на камне сем их память сохранила,
Их лета, имена потщившись начертать;
Окрест библейскую мораль изобразила,
По коей мы должны учиться умирать.

И кто с сей жизнью без горя расставался?
Кто прах свой по себе забвенью предавал?
Кто в час последний свой сим миром не пленялся
И взора томного назад не обращал?

Ах! нежная душа, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой;
И взоры тусклые, навеки угасая,
Еще стремятся к ним с последнею слезой:

Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлен;
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,
Еще огнем любви для них воспламенен.

А ты, почивших друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой;
И к гробу твоему, мечтой сопровожденный,
Чувствительный придет услышать жребий твой.

Быть может, селянин, с почтенной сединою
Так будет о тебе пришельцу говорить:
«Он часто по утрам встречался здесь со мною,
Когда спешил на холм зарю предупредить.

Там в полдень он сидел под дремлющею ивой,
Поднявшей из земли косматый корень свой;
Там часто, в горести беспечной, молчаливой,
Лежал, задумавшись, над светлою рекой;

Нередко к вечеру, скитаясь меж кустами —
Когда мы с поля шли, и в роще соловей
Свистал вечерню песнь — он томными очами
Уныло следовал за тихою зарей.

Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной,
Он часто уходил в дубраву слезы лить,
Как странник, родины, друзей, всего лишенной,
Которому ничем души не усладить.

Взошла заря — но он с зарею не являлся,
Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил;
Опять заря взошла — нигде он не встречался;
Мой взор его искал — искал — не находил.

На утро пение мы слышим гробовое...
Несчастного несут в могилу положить.
Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброго слезой благословить».

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;
Что слава, счастие, не знал он в мире сем;

Но Музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нём.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным творец награду положил.
Дарил несчастных он — чем только мог — слезою;
В награду от творца он друга получил.

Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;
Здесь всё оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его спаситель-бог.

ВЕЧЕР

Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!.
Приди, о Муза благодатна,

В венке из юных роз с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды,
И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей Природы.

Как солнца за горой пленителен закат —
Когда поля в тени, а рощи отдаленны
И в зеркале воды, колеблющийся град
Багряным блеском озаренны;

Когда с холмов златых стада бегут к реке
И рева гул гремит звучнее над водами;
И, сети склав, рыбак на легком челноке
Плывет у брега меж кустами;

Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,
И веслами струи согласно рассекают;
И, плуги обратив, по глыбистым браздам
С полей оратаи съезжают...

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.

Всё тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осененной.

Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам,
И гибкой ивы трепетанье!

Чуть слышно над ручьем колышется тростник;
Глас петела вдали уснувши будит селы;
В траве коростеля я слышу дикий крик,
В лесу стенанье Филомелы...

Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч?
Восточных облаков хребты воспламенились;
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;
В реке дубравы отразились.

Луны ущербный лик встает из-за холмов...
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем...
О дней моих весна, как быстро скрылась ты,
С твоим блаженством и страданьем!

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!

О братья! о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и Музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные Природе,

Хранить с огнем души нетленность братских уз?
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишенный спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,

Тащиться осужден до бездны гробовой?..
Один — минутный цвет — почил, и непробудно

И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой... о небо правосудно!..

А мы... ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в серде вспоминанье

О радостях души, о счастьи юных дней,
И дружбе, и любви, и Музам посвященных?
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных...

Мне Рок судил: брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы Природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной,
И, взор склонив на пенны воды,

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!

Кто, в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и холмы облачает,
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,

Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье,
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!

Так, петь есть мой удел... но долго ль?.. Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!

НА СМЕРТЬ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА КАМЕНСКОГО

Еще великий прах... Неизбежимый Рок!
Твоя, твоя рука себя нам здесь явила;
О сколь разительный смирения урок
Сия Каменского могила!

Не ты ль, грядущее пред ним окинув мглой,
Открыл его очам стезю побед и чести?
Не ты ль его хранил невидимой рукой,
Разящего перуном мести?

Пред ним, за ним, окрест зияла смерть и брань;
Сомкнутые мечи на грудь его стремились —
Вотще! твоя над ним горе носилась длань...
Мечи хранимого страшились.

И мнили мы, что он последний встретит час,
Простертый на щите, в виду победных строев,
И угасающий с улыбкой вонмет глас
О нем рыдающих героев.

Слепцы!.. сей славы блеск лишь бездну украшал.
Сей битвы страшный вид и ратей низложенья
Лишь гибели мечту очам его являл
И славной смерти привиденье...

Куда ж твой тайный путь Каменского привел?
Куда, могучих вождь, тобой руководимый,
Он быстро посреди победных кликов шел?
Увы!.. предел неотразимый!

В сей таинственный лес, где страж твой обитал,
Где рыскал в тишине убийца сокровенный,
Где избранный тобой, добычи грозно ждал
Топор разбойника презренный...

СЛАВЯНКА

Славянка тихая, сколь ток приятен твой,
Когда, в осенний день, в твои глядятся воды
Холмы, одетые последнею красой
Полуотцветшия природы.

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;
При свете солнечном прохлада повевает;
Последний запах свой осыпавшийся лист
С осенней свежестью сливает.

Иду под рощею излучистой тропой;
Что шаг, то новая в глазах моих картина,
То вдруг, сквозь чащу древ, мелькает предо мной
Как в дыме, светлая долина;

То вдруг исчезло всё... окрест сгустился лес;
Всё дико вкруг меня, и сумрак и молчанье;
Лишь изредка, струей сквозь темный свод древес
Прокравшись, дневное сияние

Верхи поблеклые и корни золотит;
Лишь, сорван ветерка минутным дуновеньем,
На сумраке листок трепещущий блестит,
Смущая тишину паденьем...

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной:
Заглохшая тропа; кругом кусты седые;
Между багряных лип чернеет дуб густой
И дремлют ели гробовые.

Воспоминанье здесь унылое живет;
Здесь к урне преклонясь задумчивой главою,
Оно беседует о том, чего уж нет,
С неизменяющей Мечтою.

Всё к размышленью здесь влечет невольно нас;
Всё в душу томное уныние вселяет;
Как будто здесь она из гроба важный глас
Давно минувшего внимает.

Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей,
Сей факел, гаснущий и долу обращенный,
Всё здесь свидетель нам, сколь блага наших дней,
Сколь все величия мгновенны.

И нечувствительно с превратности мечтой
Дружится здесь мечта бессмертия и славы:
Сей витязь, на руку склонившийся главой;
Сей громоносец двоеглавый,

Под шуйцей твердою седящий на щите;
Сия печальная семья кругом царицы;
Сии небесные друзья на высоте,
Младые спутники денницы...

О! сколь они, в виду сей урны гробовой,
Для унывающей души красноречивы;
Тоскуя ль полетит она за край земной —
Там все утраченные живы;

К земле ль наклонит взор — великий ряд чудес;
Борьба за честь; народ, покрытый блеском славным;
И мир, воскреснувший по манию небес,
Спокойный под щитом державным.

Но вкруг меня опять светлеет частый лес;
Опять река вдали мелькает средь долины,
То в свете, то в тени, то в ней лазурь небес,
То обращенных древ вершины.

И вдруг открытая равнина предо мной:
Там мыза, блеском дня под рощей озаренна;
Спокойное село над ясною рекой,
Гумно и нива обнаженна.

Всё здесь оживлено: с овинов дым седой,
Клубяся, по браздам ложится и редеет,

И нива под его прозрачной пеленой
То померкает, то светлеет.

Там слышен на току согласный стук цепов;
Там песня пастуха и шум от стад бегущих;
Там медленно, скрыпя, тащится ряд возов,
Тяжелый груз снопов везущих.

Но солнце катится беззнойное с небес;
Окрест него закат спокойно пламенеет;
Завесой огненной подернут дальний лес;
Восток безоблачный синеет.

Спускаюсь в дол к реке: брег темен надо мной,
И на воды легли дерев кудрявых тени;
Противный брег горит, осыпанный зарей;
В волнах блестят прибрежны сени;

То отраженный в них сияет мавзолей;
То холм муравчатый, увенчанный древами;
То ива дряхлая, до свившихся корней
Склонившись гибкими ветвями,

Сенистую главу купает в их струях;
Здесь храм между берез и яворов мелькает;
Там лебедь, притаясь у берега в кустах,
Недвижим в сумраке сияет.

Вдруг гладким озером является река;
Сколь здесь ее брегов пленительна картина;
В лазоревый кристалл слиясь вкруг челнока,
Яснеет вод ее равнина.

Но гаснет день... в тени склонился лес к водам;
Древа облечены вечерней темнотою;
Лишь простирается по тихим их верхам
Заря багряной полосою;

Лишь ярко заревом восточный брег облит,
И пышный дом царей на скате озлащенном,
Как исполин, глядясь в зерцало вод, блестит
В величии уединенном.

Но вечер на него покров накинул свой;
И рощи и брега, смешавшись, побледнели;
Последни облака, блиставшие зарёй,
С небес, потухнув, улетели.

И воцарилася повсюду тишина;
Всё спит... лишь изредка в далекой тьме промчится
Невнятный глас... или колыхнется волна...
Иль сонный лист зашевелится:

Я на брегу один... окрестность вся молчит...
Как привидение, в тумане предо мною
Семья младых берез недвижимо стоит
Над усыпленною водою.

Вхожу с волнением под их священный кров;
Мой слух в сей тишине приветный голос слышит
Как бы эфирное там веет меж листов,
Как бы невидимое дышит;

Как бы сокрытая под юных древ корой,
С сей очарованной мешаясь тишиною,
Душа незримая подъемлет голос свой
С моей беседовать душою.

И некто урне сей безмолвный приседит;
И, мнится, на меня вперил он темны очи;
Без образа лицо, и зрак туманный слит
С туманным мраком полуночи.

Смотрю... и, мнится, всё, что было жертвой лет,
Опять в видении прекрасном воскресает;
И всё, что жизнь сулит, и всё, чего в ней нет,
С надеждой к сердцу прилетает.

Но где он?.. Скрылось всё... лишь только в тишине
Как бы знакомое мне слышится призванье,
Как будто Гений путь указывает мне
На неизвестное свиданье.

О! кто ты, тайный вождь? душа тебе вослед!
Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель,

Иль гость минутный их? Скажи: земной ли свет,
Иль небеса твоя обитель?..

И ангел от земли в сияньи предо мной
Взлетает; на лице величие смиренья;
Взор к небу устремлен; над юною главой
Горит звезда преображенья.

Помедли улетать, прекрасный сын небес;
Младая Жизнь в слезах простерта пред тобою...
Но где я?.. Всё вокруг молчит... призрак исчез,
И небеса покрыты мглою.

Одна лишь смутная мечта в душе моей:
Как будто мир земной в ничто преобратился:
Как бугто та страна знакомей стала ей,
Куда сей чистый ангел скрылся.

СТИХОТВОРЕНІЯ

ВАСИЛІЯ ЖУКОВСКАГО

Часть II.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1816

Титульный лист первого издания «Стихотворений» Жуковского.

НА КОНЧИНУ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ ВИРТЕМБЕРГСКОЙ

Ты улетел, небесный посетитель;
Ты погостил недолго на земли;
Мечталось нам, что *здесь* твоя обитель;
Навек *своим* тебя мы нарекли...
Пришла Судьба, свирепый истребитель,
И вдруг следов твоих уж не нашли:
Прекрасное погибло в пышном цвете...
Таков удел прекрасного на свете!

Губителем, неслышным и незримым,
На всех путях Беда нас сторожит;
Приюта нет главам, равно грозимым;
Где не была, там будет и сразит.
Вотще дерзать в борьбу с необходимым:
Житейского никто не победит;
Гнетомы все единой грозной силой;
Нам всем сказать о здешнем счастье: *было*!

Но в свой черед с деревьев обветшалых
Осенний лист, отвянувши, падет;
Слагая жизнь, старик с рамен усталых,
Ее, как долг, могиле отдает;
К страдальцу Смерть на прах надежд увялых,
Как званый друг, желанная, идет...
Природа здесь верна стезе привычной:
Без ужаса берем удел обычной.

Но если вдруг, нежданная, вбегает
Беда в семью играющих Надежд;
Но если жизнь изменою слетает
С веселых, ей лишь миг знакомых вежд
И Счастие младое умирает,
Еще не сняв и праздничных одежд...
Тогда наш дух объемлет трепетанье,
И силой в грудь врывается роптанье.

О наша жизнь, где верны лишь утраты,
Где милому мгновенье лишь дано,
Где скорбь без крыл, а радости крылаты,
И где навек минувшее одно...
Почто ж мы здесь мечтами так богаты,
Когда мечтам не сбыться суждено?
Внимая глас Надежды, нам поющей,
Не слышим мы шагов Беды грядущей.

Кого спешишь ты, Прелесть молодая,
В твоих дверях так радостно встречать?
Куда бежишь, ужасного не чая,
Привыкшая с сей жизнью лишь играть?
Не радость — Весть стучится гробовая...
О! подожди сей праг переступать;
Пока ты здесь — ничто не умирало;
Переступи — и милое пропало.

Ты, знавшая житейское страданье,
Постигшая все таинства утрат,
И ты спешишь с надеждой на свиданье...
Ах! удались от входа сих палат;
Отложено навек торжествованье;
Счастливцы там тебя не угостят;
Ты посетишь обитель уж пустую...
Смерть унесла хозяйку молодую.

Из дома в дом по улицам столицы
Страшилищем скитается Молва;
Уж прорвалась к убежищу царицы;
Уж шепчет там ужасные слова;
Трепещет всё, печалью бледны лицы...
Но мертвая для матери жива;
В ее душе спокойствие незнанья;
Пред ней мечта недавнего свиданья.

О Счастие, почто же на отлете
Ты нам в лицо умильно так глядишь?
Почто в своем предательском привете,
Спеша от нас: *я вечно!* говоришь;
И к милому, уж *бывшему* на свете,
Нас прелестью нежнейшею манишь?..

Увы! в тот час, как матерь ты пленяло,
Ты только дочь на жертву украшало.

И, нас губя с холодностью ужасной,
Еще Судьба смеяться любит нам;
Ее уж нет, сей жизни столь прекрасной...
А Мать, склонясь к обманчивым листам,
В них видит дочь надеждою напрасной,
Дарует жизнь безжизненным чертам,
В них голосу умолкшему внимает,
В них воскресить умершую мечтает.

Скажи, скажи, супруг осиротелый,
Чего над ней ты так упорно ждешь?
С ее лица приветное слетело;
В ее глазах узнанья не найдешь;
И в руку ей рукой оцепенелой
Ответного движенья не вожмешь.
На голос чад зовущих недвижима...
О! верь, отец, она невозвратима.

Запри навек ту мирную обитель,
Где спутник твой тебе минуту жил;
Твоей души свидетель и хранитель,
С кем жизни долг не столько бременил,
Советник дум, прекрасного делитель,
Слабеющих очарователь сил —
С полупути ушел он от земного,
От бытия прелестно-молодого.

И вот — сия минутная царица,
Какою смерть ее нам отдала;
Отторгнута от скипетра десница;
Развенчано величие чела;
На страшный гроб упала багряница,
И жадная судьбина пожрала
В минуту всё, что было так прекрасно,
Что всех влекло и так влекло напрасно.

Супруг, зовут! иди на расставанье!
Сорвав с чела супружеский венец,
В последнее земное провожанье
Веди сирот за матерью, вдовец;

Последнее отдайте ей лобзанье;
И там, где всем свиданиям конец,
Невнемлющей *прости* свое скажите,
И в землю с ней все блага положите.

Прости ж, наш цвет, столь пышно восходивший —
Едва зарю успел ты перецвесть.
Ты, Жизнь, прости, красавец не доживший;
Как радости обманчивая весть,
Пропала ты, лишь сердце приманивши,
Не дав и дня надежде перечесть.
Простите вы, благие начинанья,
Вы, славных дел напрасны упованья...

Но мы... смотря, как наше счастье тленно,
Мы жизнь свою дерзнем ли презирать?
О нет, главу подставивши смиренно,
Чтоб ношу бед от промысла принять,
Себя отдав руке неоткровенной,
Не мни творца, страдалец, вопрошать;
Слепцом иди к концу стези ужасной...
В последний час слепцу всё будет ясно.

Земная жизнь небесного наследник;
Несчастье нам учитель, а не враг;
Спасительно-суровый собеседник,
Безжалостный разитель бренных благ,
Великого понятный проповедник,
Нам об руку на тайный жизни праг
Оно идет, всё руша перед нами,
И скорбию дружа нас с небесами.

Здесь радости — не наше обладанье;
Пролетные пленители земли,
Лишь по пути заносят к нам преданье
О благах, нам обещанных вдали;
Земли жилец безвыходный — Страданье;
Ему на часть Судьбы нас обрекли;
Блаженство нам по слуху лишь знакомец;
Земная жизнь — страдания питомец.

И сколь душа велика сим страданьем!
Сколь радости при нем помрачены!

Когда, простясь свободно с упованьем,
В величии покорной тишины,
Она молчит пред грозным испытаньем,
Тогда... тогда с сей светлой вышины
Вся промысла ей видима дорога;
Она полна понятного ей бога.

О! Матери печаль непостижима,
Смиряются все мысли пред тобой!
Как милое сокровище, таима,
Как бытие, слиянная с душой,
Она с одним лишь небом разделима...
Что ей сказать дерзнет язык земной?
Что мир с своим презренным утешеньем
Перед ее великим вдохновеньем?

Когда грустишь, о Матерь, одинока,
Скажи, тебе не слышится ли глас,
Призывное несущий издалёка,
Из той страны, куда всё манит нас,
Где милое скрывается до срока,
Где возвратим отнятое на час?
Не сходит ли к душе благовеститель,
Земных утрат и неба изъяснитель?

И в горнее унынием влекома,
Не верою ль душа твоя полна?
Не мнится ль ей, что отческого дома
Лишь только вход земная сторона?
Что милая небесная знакома,
И ждущею семьей населена?
Всё тайное не зрится ль откровенным,
А бытие великим и священным?

Внемли ж: когда молчит во храме пенье,
И вышних сил мы чувствуем нисход;
Когда в алтарь на жертвосовершенье
Сосуд Любви сияющий грядёт;
И на тебя с детьми благословенье
Торжественно мольба с небес зовёт;
В час таинства, когда союзом тесным
Соединен житейский мир с небесным —

Уже в сей час не будет, как бывало,
Отшедшая твоя наречена;
Об ней навек земное замолчало;
Небесному она передана;
Задернулось за нею покрывало...
В божественном святилище она,
Незрима нам, но, видя нас оттоле,
Безмолвствует при жертвенном престоле.

Святый символ надежд и утешенья!
Мы все стоим у таинственных врат;
Опущена завеса провиденья;
Но проникать ее дерзает взгляд;
За нею скрыт предел соединенья;
Из-за нее, мы слышим, говорят:
«Мужайтеся; душою не скорбите!
С надеждою и с верой приступите!»

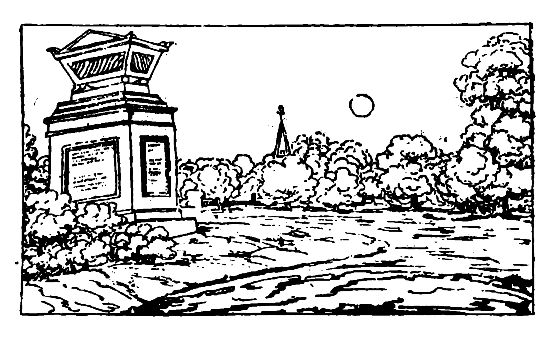
СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

(ВТОРОЙ ПЕРЕВОД ИЗ ГРЕЯ)

Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает;
С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо;
Медленным шагом домой возвращается пахарь, уснувший
Мир уступая молчанью и мне. Уж бледнеет окрестность,
Мало-по-малу теряясь во мраке, и воздух наполнен
Весь тишиною торжественной: изредка только промчится
Жук с усыпительно-тяжким жужжаньем, да рог
отдаленный,
Сон наводя на стада, порою невнятно раздастся;
Только с вершины той пышно плющом украшенной башни
Жалобным криком сова пред тихой луной обвиняет
Тех, кто, случайно зашедши к ее гробовому жилищу,
Мир нарушают ее безмолвного, древнего царства.
Здесь под навесом нагнувшихся вязов, под свежею тенью
Ив, где зеленым дерном могильные холмы покрыты,
Каждый навек затворяся в свою одинокую келью,
Спят непробудно смиренные предки села. Ни веселый
Голос прохладно-душистого утра, ни ласточки ранней
С кровли соломенной трель, ни труба петуха, ни отзывный
Рог, ничто не подымет их боле с их бедной постели.
Яркий огонь очага уж для них не зажжется; не будет
Их вечеров услаждать хлопотливость хозяйки; не будут
Дети тайком к дверям подбегать, чтоб подслушать,
нейдут ли
С поля отцы, и к ним на колена тянуться, чтоб первый
Прежде других схватить поцелуй. Как часто серпам их
Нива богатство свое отдавала; как часто их острый
Плуг побеждал упорную глыбу; как весело в поле
К трудной работе они выходили; как звучно топор их
В лесе густом раздавался, рубя вековые деревья!
Пусть издевается гордость над их полезною жизнью,
Низкий удел и семейственный мир поселян презирая;
Пусть величие с хладной насмешкой читает простую

Летопись бедного, — знатность породы, могущества
пышность,
Всё, чем блестит красота, чем богатство пленяет, всё будет
Жертвой последнего часа: и слава ведет нас ко гробу.
Кто обвинит их за то, что над прахом смиренным их
память
Пышных гробниц не́ воздвигла; что в храмах, по сводам
высоким,
В блеске торжественном свеч, в благовонном дыму фимиама
Им похвала не гремит, повторенная звучным органом?
Надпись на урне, иль дышущий в мраморе лик не воротят
В прежнюю область ее отлетевшую жизнь, и хвалебный
Голос не тронет безмолвного праха, и в хладно-немое
Ухо смерти не вкрадется сладкий ласкательства лепет.
Может быть, здесь в могиле, ничем не заметной, истлело
Сердце, огнем небесным некогда полное; стала
Прахом рука, рожденная скипетр носить иль восторга
Пламень в живые струны вливать. Но наука пред ними
Свитков своих, богатых добычей веков, не раскрыла;
Холод нужды́ умертвил благородный их пламень, и сила
Гением полной души их бесплодно погибла навеки.
О! как много чистых, прекрасных жемчужин сокрыто
В темных, неведомых нам глубинах Океана! Как часто
Цвет родится на то, чтоб цвести незаметно и сладкий
Запах терять в беспредельной пустыне! Быть может,
Здесь погребен какой-нибудь Гампден незнаемый, грозный
Мелким тиранам села, иль Мильтон немой и неславный,
Или Кромвель, неповинный в крови сограждан. Всемогущим
Словом сенат покорять, бороться с судьбою, обилье
Щедрою сыпать рукой на цветущую область, и в громких
Плесках отечества жизнь свою слышать, — то рок
запретил им;
Но, ограничив в добре их, равно и во зле ограничил:
Не дал им воли стремиться к престолу стезею убийства,
Иль затворять милосердия двери пред страждущим братом,
Или, коварствуя, правду таить, или стыда на ланитах
Чистую краску терять, иль срамить вдохновенье святое,
Гласом поэзии славя могучий разврат и фортуну.
Чуждые смут и волнений безумной толпы, из-за тесной
Грани желаньям своим выходить запрещая, вдоль свежей,
Сладко-бесшумной долины жизни, они тихомолком
Шли по тропинке своей, и здесь их приют безмятежен.
Кажется, слышишь, как дышит кругом их спокойствие неба,







К «Сельскому кладбищу». Рисунки Б. А. Жуковского

Все тревоги земные смиряя, и мнится, какой-то
Сердце объемлющий голос, из тихих могил подымаясь,
Здесь разливает предчувствие вечного мира. Чтоб праха
Мертвых никто не обидел, надгробные камни с простою
Надписью, с грубой резьбою прохожего молят почтить их
Вздохом минутным; на камнях рука неграмотной музы
Их имена и лета́ написала, кругом начертавши,
Вместо надгробий, слова из святого писанья, чтоб
скромный
Сельский мудрец по ним умирать научался. И кто же,
Кто в добычу немому забвению эту земную,
Милую, смутную жизнь предавал и с цветущим пределом
Радостно-светлого дня расставался, назад не бросая
Долгого, томного, грустного взгляда? Душа, удаляясь,
Хочет на нежной груди отдохнуть, и очи, темнея,
Ищут прощальной слезы; из могилы нам слышен знакомый
Голос, и в нашем прахе живет бывалое пламя.
Ты же, заботливый друг погребенных без славы, простую
Повесть об них рассказавший, быть может, кто-нибудь,
сердцем
Близкий тебе, одинокой мечтою сюда приведенный,
Знать пожелает о том, что случилось с тобой, и, быть
может,
Вот что расскажет ему о тебе старожил поседелый:
«Часто видали его мы, как он на рассвете поспешным
Шагом, росу отряхая с травы, всходил на пригорок
Встретить солнце; там, на мшистом, изгибистом корне
Старого вяза, к земле приклонившего ветви, лежал он
В полдень, и слушал, как ближний ручей журчит, извиваясь;
Вечером часто, окончив дневную работу, случалось,
Нам видать, как у входа в долину стоял он, за солнцем
Следуя взором и слушая зяблицы позднюю песню;
Так же не раз мы видали, как шел он вдоль леса, с какой-то
Грустной улыбкой, и что-то шептал про себя, наклонивши
Голову, бледный лицом, как будто оставленный целым
Светом и мучимый тяжкою думой или безнадежным
Горем любви. Но однажды поутру его я не встретил,
Как бывало, на холме, и в полдень его не нашел я
Подле ручья, ни после в долине; прошло и другое
Утро и третье; но он не встречался нигде; ни на холме
Рано, ни в полдень подле ручья, ни в долине
Вечером. Вот мы однажды поутру печальное пенье
Слышим: его на кладбище несли. Подойди; здесь на камне,

Если умеешь, прочтешь, что о нем тогда написали:

«Юноша здесь погребен, неведомый счастью и славе;
Но при рожденьи он был небесною музой присвоен,
И меланхолия знаки свои на него положила.
Был он душой откровенен и добр, и его наградило
Небо: несчастным давал, что имел он — слезу; и в награду
Он получил от неба самое лучшее — друга.
Путник, не трогай покоя могилы: здесь всё, что в нем было
Некогда доброго, все его слабости робкой надеждой
Преданы в лоно отца, правосудного бога».

ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ

Певец

На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.
Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О всемогущее вино,
Веселие героя!

Воины

Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О всемогущее вино,
Веселие героя!

Певец

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья, уже могущих нет;
Уж нет вождей победы;
Их домы вихорь разметал;
Их гробы срыли плуги;
И пламень ржавчины сожрал
Их шлемы и кольчуги;
Но дух отцов воскрес в сынах;
Их поприще пред нами...
Мы там найдем их славный прах
С их славными делами.

Смотрите, в грозной красоте,
Воздушными полками,
Их тени мчатся в высоте
Над нашими шатрами...
О Святослав, бич древних лет,
Се твой полет орлиной.
«Погибнем! мертвым срама нет!»
Гремит перед дружиной.
И ты, неверных страх, Донской,
С четой двух соименных,
Летишь погибельной грозой
На рать иноплеменных.

И ты, наш *Петр*, в толпе вождей.
Внимайте клич: Полтава!
Орды пришельца снедь мечей,
И мир взывает: слава!
Давно ль, о хищник, пожирал
Ты взором наши грады?
Беги! твой конь и всадник пал;
Твой след — костей громады;
Беги! и стыд и страх сокрой
В лесу с твоим Сарматом;
Отчизны враг сопутник твой;
Злодей владыке братом.

Но кто сей рьяный великан,
Сей витязь полуночи?
Друзья, на спящий вражий стан
Вперил он страшны очи;
Его завидя в облаках,
Шумящим, смутным роем
На снежных Альпов высотах
Взлетели тени с воем;
Бледнеет Галл, дрожит Сармат
В шатрах от гневных взоров...
О горе! горе, супостат!
То грозный наш Суворов!

Хвала вам, чада прежних лет,
Хвала вам, чада славы!
Дружиной смелой вам вослед
Бежим на пир кровавый;

Да мчится ваш победный строй
Пред нашими орлами;
Да сеет, нам предтеча в бой,
Погибель над врагами;
Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный Мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!

Воины

Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный Мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!

Певец

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Там всё — там родших милый дом;
Там наши жены, чада;
О нас их слезы пред творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы — прелесть наших дней,
И сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
И предков прах священный.
За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы:
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

Воины

За них, за них всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

Певец

Тебе сей кубок, русский царь!
Цвети твоя держава;
Священный трон твой нам алтарь;
Пред ним обет наш: слава.
Не изменим; мы от отцов
Прияли верность с кровью;
Царь, здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью;
Наш каждый ратник Славянин;
Все долгу здесь послушны;
Бежит предатель сих дружин
И чужд им малодушный.

Воины

Не изменим; мы от отцов
Прияли верность с кровью;
О царь, здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью.

Певец

Сей кубок ратным и вождям!
В шатрах, на поле чести,
И жизнь, и смерть — всё пополам;
Там дружество без лести,
Решимость, правда, простота
И нравов непритворство,
И смелость — бранных красота,
И твердость, и покорство.
Друзья, мы чужды низких уз;
К венцам стезею правой!
Опасность — твердый наш союз;
Одной пылаем славой.

Тот наш, кто первый в бой летит,
На гибель супостата,



Фронтиспис первого тома пятого издания «Стихотворений» Жуковского (1849).

Кто слабость падшего щадит,
И грозно мстит за брата;
Он взором жизнь дает полкам;
Он махом мощной длани
Их мчит во сретенье врагам,
В средину шумной брани;
Ему веселье битвы глас,
Спокоен под громами:
Он свой последний видит час
Бесстрашными очами.

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь и дождь,
И труд он делит с нами.
О сколь с израненным челом
Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом
И сколь врагу ужасен!
О диво! се орел пронзил
Над ним небес равнины...
Могущий вождь главу склонил;
Ура! кричат дружины.

Лети ко прадедам, орел,
Пророком славной мести!
Мы тверды: вождь наш перешел
Путь гибели и чести;
С ним опыт, сын труда и лет;
Он бодр и с сединою;
Ему знаком победы след...
Доверенность к герою!
Нет, други, нет! не предана
Москва на расхищенье;
Там стены!.. в Россах вся она;
Мы здесь — и бог наш мщенье.

Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твои перуны.
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами

Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.
Наш Милорадович, хвала!
Где он промчался с бранью,
Там, мнится, смерть сама прошла
С губительною дланью.

Наш Витгенштеин, вождь-герой,
Петрополя спаситель,
Хвала!.. Он щит стране родной,
Он хищных истребитель.
О сколь величественный вид,
Когда перед рядами,
Один, склонясь на твердый щит,
Он грозными очами
Блюдет противников полки,
Им гибель устрояет
И вдруг... движением руки
Их сонмы рассыпает.

Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!..
Ничто ему толпы врагов,
Ничто мечи и стрелы;
Пред ним, за ним перун гремит,
И пышет пламень боя...
Он весел, он на гибель зрит
С спокойствием героя;
Себя забыл... одним врагам
Готовит истребленье;
Пример и ратным и вождям,
И смелым удивленье.

Хвала, наш вихорь-Атаман;
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу — ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;

Они лишь к мосту — мост исчез;
Лишь к селам — пышут селы.

Хвала, наш Нестор-Бенингсон!
И вождь и муж совета,
Блюдет врагов не дремля он,
Как змей орел с полета.
Хвала, наш Остерман-герой,
В час битвы ратник смелый!
И Тормасов, летящий в бой,
Как юноша веселый!
И Багговут, среди громов,
Средь копий безмятежный!
И Дохтуров, гроза врагов,
К победе вождь надежный!

Наш твердый Воронцов, хвала!
О други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась;
Когда полмертв, окровавлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен
За ратный строй друзьями.
Смотрите... язвой роковой
К постеле пригвожденный,
Он страждет, братскою толпой
Увечных окруженный.

Ему возглавье бранный щит;
Незыблемый в мученье,
Он с ясным взором говорит:
«Друзья, бедам презренье!»
И в их сердцах героя речь
Веселье пробуждает,
И, оживясь, до полы меч
Рука их обнажает.
Спеши ж, о витязь наш! воспрянь;
Уж ангел истребленья
Горе подъял ужасну длань,
И близок час отмщенья.

Хвала, Щербатов, вождь младой!
Среди грозы военной,

Друзья, он сетует душой
    О трате незабвенной.
О витязь, ободрись!.. она
    Твой спутник невидимый,
И ею свыше знамена
    Дружин твоих хранимы.
Любви и скорби оживить
    Твои для мщенья силы:
Рази дерзнувших возмутить
    Покой ее могилы.

Хвала наш Пален, чести сын!
    Как бурею носимый,
Везде впреди своих дружин
    Разит, неотразимый.
Наш смелый Строгонов, хвала!
    Он жаждет чистой славы;
Она из мира увлекла
    Его на путь кровавый...
О храбрых сонм, хвала и честь!
    Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
    Вселенная: спасенье!

Хвала бестрепетных вождям!
    На конях окрыленных,
По долам скачут, по горам
    Вослед врагов смятенных;
Днем мчатся строй на строй; в ночи
    Страшат как привиденья;
Блистают смертью их мечи;
    От стрел их нет спасенья;
По всем рассыпаны путям,
    Невидимы и зримы;
Сломили здесь, сражают там,
    И всюду невредимы.

Наш Фигнер старцем в стан врагов
    Идет во мраке ночи;
Как тень прокрался вкруг шатров
    Всё зрели быстры очи...
И стан еще в глубоком сне,
    День светлый не проглянул —

А он уж, витязь, на коне,
Уже с дружиной грянул.
Сеславин — где ни пролетит
С крылатыми полками:
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами.

Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый;
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы.
Кудашев скоком через ров
И лётом на стремнину;
Бросает взглядом Чернышов
На меч и гром дружину;
Орлов отважностью орел;
И мчит грозу ударов
Сквозь дым и огнь, по грудам тел,
В среду врагов Кайсаров.

Воины

Вожди славян, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
Вселенная: спасенье!

Певец

Друзья, кипящий кубок сей
Вождям, сраженным в бое.
Уже не придут в сонм друзей,
Не станут в ратном строе,
Уж для врага их грозный лик
Не будет вестник мщенья,
И не помчит их мощный клик
Дружину в пыл сраженья;
Их празден меч, безмолвен щит,
Их ратники унылы;
И сир могучих конь стоит
Близ тихой их могилы.

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил,
И стиснул меч во длани.

Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила;
Где колыбель его была,
Там днесь его могила.
И тих его последний час:
С молитвою священной
О милой матери, угас
Герой наш незабвенной.

А ты, Кутайсов, вождь младой...
Где прелести? где младость?
Увы! он видом и душой
Прекрасен был как радость;
В броне ли, грозный, выступал —
Бросали смерть перуны;
Во струны ль арфы ударял —
Одушевлялись струны...
О горе! верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нем его разбитый щит...
И нет на нем героя.

И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..
Пойдет прекрасная в слезах
Искать, где пепел милой...
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней;
И тихий дух твой прилетит
Из таинственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружней тени.

И ты... и ты, Багратион?
Вотще друзей молитвы,
Вотще их плач... во гробе он,
Добыча лютой битвы.
Еще дружин надежда в нем;
Всё мнит: с одра восстанет;
И робко шепчет враг с врагом:
«Увы нам! скоро грянет».

А он... навеки взор смежил,
Решитель бранных споров,
Он в область храбрых воспарил,
К тебе, отец-Суворов.

И честь вам, падшие друзья!
Ликуйте в горней сени;
Там ваша верная семья —
Вождей минувших тени.
Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
«От них учитесь умирать!»
Так скажут внукам деды;
При вашем имени вскипит
В вожде ретивом пламя;
Он на твердыню с ним взлетит
И водрузит там знамя.

Воины

При вашем имени вскипит
В вожде ретивом пламя;
Он на твердыню с ним взлетит
И водрузит там знамя.

Певец

Сей кубок мщенью! други, в строй!
И к небу грозны длани!
Сразить иль пасть! наш роковой
Обет пред богом брани.
Вотще, о враг, из тьмы племен
Ты зиждешь ополченья:
Они бегут твоих знамен
И жаждут низложенья.
Сокровищ нет у нас в домах;
Там стрелы и кольчуги;
Мы села в пепел; грады в прах;
В мечи — серпы и плуги.

Злодей! он лестью приманил
К Москве свои дружины;
Он низким миром нам грозил
С Кремлевския вершины.
«Пойду по стогнам с торжеством!
Пойду... и всё восплещет!

И в прах падут с своим царем!...»
Пришел... и сам трепещет;
Подвигло мщение Москву:
Вспылала пред врагами
И грянулась на их главу
Губящими стенами.

Веди ж своих царей-рабов
С их стаей в область хлада;
Пробей тропу среди снегов
Во сретение глада...
Зима, союзник наш, гряди!
Им заперт путь возвратный;
Пустыни в пепле позади;
Пред ними сонмы ратны.
Отведай, хищник, что сильней:
Дух алчности иль мщенье?
Пришлец, мы в родине своей;
За правых провиденье!

Воины

Отведай, хищник, что сильней:
Дух алчности иль мщенье?
Пришлец, мы в родине своей;
За правых провиденье!

Певец

Святому братству сей фиал
От верных братий круга!
Блажен, кому создатель дал
Усладу жизни, друга;
С ним счастье вдвое; в скорбный час
Он сердцу утешенье;
Он наша совесть; он для нас
Второе провиденье.
О! будь же, други, святость уз
Закон наш под шатрами;
Написан кровью наш союз:
И жить и пасть друзьями.

Воины

О! будь же, други, святость уз
Закон наш под шатрами;

Написан кровью наш союз:
И жить и пасть друзьями.

Певец

Любви сей полный кубок в дар!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жар:
Любовь одно со славой.
Кому здесь жребий уделен
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцем сердцу обручен:
Тот смело, с бодрой силой
На всё великое летит;
Нет страха; нет преграды;
Чего, чего не совершит
Для сладостной награды?

Ах! мысль о той, кто всё для нас,
Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас,
Зрим образ незабвенный;
Она на бранных знаменах,
Она в пылу сраженья;
И в шуме стана, и в мечтах
Веселых сновиденья.
Отведай, враг, исторгнуть щит,
Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит;
Твоя и за могилой!

О сладость тайныя мечты!
Там, там за синей далью
Твой ангел, дева красоты,
Одна с своей печалью,
Грустит о друге, слезы льет;
Душа ее в молитве,
Боится вести, вести ждет:
«Увы! не пал ли в битве?»
И мыслит: «скоро ль, дружний глас,
Твои мне слышать звуки?
Лети, лети, свиданья час,
Сменить тоску разлуки».

Друзья! блаженнейшая часть:
Любезных быть спасеньем.
Когда ж предел наш в битве пасть —
Погибнем с наслажденьем;
Святое имя призовем
В минуту смертной муки;
Кем мы дышали в мире сем,
С той нет и там разлуки:
Туда душа перенесет
Любовь и образ милой...
О други, смерть не всё возьмет;
Есть жизнь и за могилой.

Воины

В тот мир душа перенесет
Любовь и образ милой...
О други, смерть не всё возьмет;
Есть жизнь и за могилой.

Певец

Сей кубок чистым Музам в дар!
Друзья, они в героя
Вливают бодрость, славы жар,
И месть, и жажду боя.
Гремят их лиры — стар и млад
Оделись в бранны латы:
Ничто им стрел свистящих град,
Ничто твердынь раскаты.
Певцы сотрудники вождям:
Их песни жизнь победам,
И внуки, внемля их струнам,
В слезах дивятся дедам.

О радость древних лет, Боян!
Ты, арфой ополченный,
Летал пред строями славян,
И гимн гремел священный.
Петру возник среди снегов
Певец — податель славы;
Честь Задунайскому Петров.
О Камские дубравы,

Гордитесь, ваш Державин-сын!
Готовь свои перуны,
Суворов, чудо-исполин —
Державин грянет в струны.

О старец! да услышим твой
Днесь голос лебединый:
Не тщетной славы пред тобой,
Но мщения дружины;
Простерли не к добычам длань,
Бегут не за венками —
Их подвиг свят: то правых брань
С злодейскими ордами.
Пришло разрушить их мечам
Племен порабощенье;
Самим губителя рабам
Победы их спасенье.

Так, братья, чадам Муз хвала!..
Но я, певец ваш юный...
Увы! почто судьба дала
Незвучные мне струны?
Доселе тихим лишь полям
Моя играла лира...
Вдруг жребий выпал: к знаменам!
Прости, и сладость мира,
И отчий край, и круг друзей,
И труд уединенный,
И всё... я там, где стук мечей,
Где ужасы военны.

Но буду ль ваши петь дела
И хищных истребленье?
Быть может, ждет меня стрела,
И мне удел — паденье.
Но что ж... навеки ль смертный час
Мой след изгладит в мире?
Останется привычный глас
В осиротевшей лире.
Пускай губителя во прах
Низринет месть кровава —
Родится жизнь в ее струнах,
И звучно грянут: слава!

Воины

Хвала возвышенным певцам!
Их песни жизнь победам;
И внуки, внемля их струнам,
В слезах дивятся дедам.

Певец

Подымем чашу!.. Богу сил!
О братья, на колена!
Он искони благословил
Славянские знамена.
Бессильным щит его закон,
И гибнущим спаситель;
Всегда союзник правых он
И гордых истребитель.
О братья, взоры к небесам!
Там жизни сей награда!
Оттоль отец незримый нам
Гласит: мужайтесь, чада!

Бессмертье, тихий, светлый брег;
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!
Вы, странники, терпенье!
Блажен, кого постигнул бой!
Пусть долго, с жизнью хилой,
Старик трепещущей ногой
Влачится над могилой;
Сын брани мигом ношу в прах
С могучих плеч свергает
И, бодр, на молнийных крылах
В мир лучший улетает.

А мы?.. Доверенность к творцу!
Что б ни было — незримой
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно вслед!
Прочь, низкое! прочь, злоба!
Дух бодрый на дороге бед,
До самой двери гроба;
В высокой доле — простота;
Нежадность — в наслажденье;

В союзе с ровным — правота;
В могуществе — смиренье.

Обетам — вечность; чести — честь;
Покорность — правой власти;
Для дружбы — всё, что в мире есть;
Любви — весь пламень страсти;
Утеха — скорби; просьбе — дань,
Погибели — спасенье;
Могущему пороку — брань;
Бессильному — презренье;
Неправде — грозный правды глас;
Заслуге — воздаянье;
Спокойствие — в последний час;
При гробе — упованье.

О! будь же, русский бог, нам щит!
Прострешь твою десницу —
И мститель-гром твой раздробит
Коня и колесницу.
Как воск перед лицом огня,
Растает враг пред нами...
О страх карающего дня!
Бродя окрест очами,
Речет пришлец: «Врагов я зрел;
И мнил: земли им мало;
И взор их гибелью горел;
Протек — врагов не стало!»

Воины

Речет пришлец: «Врагов я зрел;
И мнил: земли им мало;
И взор их гибелью горел;
Протек — врагов не стало!»

Певец

Но светлых облаков гряда
Уж утро возвещает;
Уже восточная звезда
Над холмами играет;
Редеет сумрак; сквозь туман
Проглянули равнины,
И дальний лес, и тихий стан,
И спящие дружины.

О други, скоро!.. день грядет...
Недвижны рати бурны...
Но... Рок уж жребии берет
Из таинственной урны.

О новый день, когда твой свет
Исчезнет за холмами,
Сколь многих взор наш не найдет
Меж нашими рядами!..
И он блеснул!.. Чу!.. вестовой
Перун по холмам грянул;
Внимайте: в поле шум глухой!
Смотрите: стан воспрянул!
И кони ржут, грызя бразды;
И строй сомкнулся с строем;
И вождь летит перед ряды;
И пышет ратник боем.

Друзья, *прощанью* кубок сей!
И смело в бой кровавой
Под вихорь стрел, на ряд мечей,
За смертью иль за славой..
О вы, которых и вдали
Боготворим сердцами,
Вам, вам все блага на земли!
Щит промысла над вами!..
Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: *здесь* верныя любви,
Там сладкого свиданья!

Воины

Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: *здесь* верныя любви,
Там сладкого свиданья!

РОМАНСЫ И ПЕСНИ

ПЕСНЯ

Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье,
Как сон пленительный вся жизнь моя текла.
Но я тобой забыт, — где счастья привиденье!
Ах! счастием моим любовь твоя была.

Когда я был любим, тобою вдохновенный,
Я пел, моя душа хвалой твоей жила.
Но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный:
Ах! гением моим любовь твоя была!

Когда я был любим, дары благоденья
В обитель нищеты рука моя несла.
Но я тобой забыт, нет в сердце состраданья!
Ах! благостью моей любовь твоя была!

ТОСКА ПО МИЛОМ

ПЕСНЯ

Дубрава шумит;
Сбираются тучи;
На берег зыбучий
Склонившись, сидит
В слезах, пригорюнясь, девица-краса;
И полночь и буря мрачат небеса;
И черные волны, вздымаясь, бушуют;
И тяжкие вздохи грудь белу волнуют.

«Душа отцвела;
Природа уныла;
Любовь изменила,
Любовь унесла
Надежду, надежду — мой сладкий удел.
Куда ты, мой ангел, куда улетел?
Ах, полно! я счастьем мирским насладилась:
Жила, и любила... и друга лишилась.

Теките струей
Вы, слезы горючи;
Дубравы дремучи,
Тоскуйте со мной.
Уж боле не встретить мне радостных дней;
Простилась, простилась я с жизнью моей:
Мой друг не воскреснет; что было, не будет...
И бывшего сердце вовек не забудет.

Ах! скоро ль пройдут
Унылые годы?
С весною — природы
Красы расцветут...
Но сладкое счастье не дважды цветет.
Пускай же драгое в слезах оживет;
Любовь, ты погибла: ты, радость, умчалась;
Одна о минувшем тоска мне осталась».

ПЕСНЯ

Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравненья,
Люблю тебя, дышу тобой;
Но где для страсти выраженья?
Во всех природы красотах
Твой образ милый я встречаю;
Прелестных вижу — в их чертах
Одну тебя воображаю.

Беру перо — им начертать
Могу лишь имя незабвенной;
Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной:
С тобой, один, вблизи, вдали,
Тебя любить — одна мне радость;
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

В пустыне, в шуме городском
Одной тебе внимать мечтаю;
Твой образ, забываясь сном,
С последней мыслию сливаю;
Приятный звук твоих речей
Со мной во сне не расстается;
Проснусь — и ты в душе моей
Скорей, чем день очам коснется.

Ах! мне ль разлуку знать с тобой?
Ты всюду спутник мой незримый;
Молчишь — мне взор понятен твой,
Для всех других неизъяснимый;
Я в сердце твой приемлю глас;
Я пью любовь в твоем дыханье...
Восторги, кто постигнет вас,
Тебя, души очарованье?

Тобой и для одной тебя
Живу и жизнью наслаждаюсь;
Тобою чувствую себя;
В тебе природе удивляюсь.
И с чем мне жребий мой сравнить?
Чего желать в толь сладкой доле?
Любовь мне жизнь — ах! я любить
Еще стократ желал бы боле.

МАЛЬВИНА

ПЕСНЯ

С тех пор, как ты пленен другою,
Мальвина вянет в цвете лет;
Мне свет прелестен был тобою;
Теперь — прости, прелестный свет!
Ах! не отринь любви моленья:
Приди... не сердце мне отдать,
Но взор потухший мой принять
В минуту смертного томленья.

Спеши, спеши! близка кончина;
Смотри, как в час последний свой
Твоя терзается Мальвина
Стыдом, любовью и тоской;
Не смерти страшной содроганье,
Не тусклый, безответный взгляд,
Тебе, о милый, возвестят,
Что жизни кончилось страданье.

Ах, нет!.. когда ж Мальвины муку
Не услаждает твой приход;
Когда хладеющую руку
Она тебе не подает;
Когда забыт мой друг единый,
Мой взор престал его искать,
Душа престала обожать:
Тогда — тогда уж нет Мальвины!

ПЕСНЯ

«Роза, весенний цвет,
Скройся под тень
Рощи развесистой!
Бойся лучей
Солнца палящего,
Нежный цветок!»
Так мотылек златой
Розе шептал.

Розе невнятен был
Скромный совет!
Роза пленяется
Блеском одним!
«Солнце блестящее
Любит меня;
Мне ли, красавице,
Тени искать?»

Гордость безумная!
Бедный цветок!
Солнце рассыпало
Гибельный луч:
Роза поникнула
Пышной главой,
Листья поблекнули,
Запах исчез.

Девица красная,
Нежный цветок!
Розы надменныя
Помни пример.
Маткиной-душкою
Скромно цвети,
С мирной невинностью
Цветом души.

Данный судьбиною
Скромный удел,
Девица красная,
Счастье твое!
В роще скрываяся,
Ясный ручей,
Бури не ведая,
Мирно журчит!

К НИНЕ

О Нина, о мой друг! ужель без сожаленья
Покинешь для меня и свет и пышный град?
И в бедном шалаше, обители смиренья,
На сельский променяв блестящий свой наряд,
Неукрашенная ни златом, ни парчою,
Сияя для пустынь невидимой красою,
Не вспомнишь прежних лет, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?

Ужель, направя путь в далекую долину,
Назад не обратишь очей своих с тоской?
Готова ль перенести убожества судьбину,
Зимы жестокий хлад, палящий лета зной?
О, ты, рожденная быть прелестью природы!
Ужель, затворница, в весенни жизни годы
Не вспомнишь сладких дней, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?

Ах! будешь ли в бедах мне верная подруга?
Опасности со мной дерзнешь ли разделить?
И, в горький жизни час, прискорбного супруга
Усмешкою любви придешь ли оживить?
Ужель, во глубине души тая страданья,
О Нина! в страшную минуту испытанья,
Не вспомнишь прежних лет, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?

В последнее любви и радостей мгновенье,
Когда мой Нину взор уже не различит,
Утешит ли меня твое благословенье,
И смертную мою постелю усладит?
Придешь ли украшать мой тихий гроб цветами?
Ужель, простертая на прах мой со слезами,
Не вспомнишь прежних лет, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?

ПЕСНЯ

Счастлив тот, кому забавы,
Игры, майские цветы,
Соловей в тени дубравы
И весенних лет мечты
В наслажденье — как и прежде;
Кто на радость лишь глядит,
Кто, вверяяся надежде,
Птичкой вслед за ней летит.

Так виляет по цветочкам
Златокрылый мотылек;
Лишь к цветку — прильнул к листочкам,
Полетел — забыл цветок;
Сорвана его лилея —
Он летит на анемон;
Что его — то и милее,
Грусть забвеньем лечит он.

Беден тот, кому забавы,
Игры, майские цветы,
Соловей в тени дубравы
И весенних лет мечты
Не в веселье — так, как прежде;
Кто улыбку позабыл;
Кто, сказав: прости! надежде,
Взор ко гробу устремил.

Для души моей плененной
Здесь один и был цветок,
Ароматный, несравненный;
Я сорвать!.. но что же рок?
«Не тебе им насладиться;
Не твоим ему доцвесть!»
Ах, жестокий! чем же льститься?
Где подобный в мире есть?

ПУТЕШЕСТВЕННИК

ПЕСНЯ

Дней моих еще весною
Отчий дом покинул я;
Всё забыто было мною —
И семейство и друзья.

В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой,
Я пошел путем-дорогой —
Вера был вожатый мой.

И в надежде, в увереньe
Путь казался не далёк.
«Странник — слышалось — терпенье!
Прямо, прямо на восток.

Ты увидишь храм чудесной;
Ты в святилище войдешь;
Там в нетленности *небесной*
Всё *земное* обретешь».

Утро вечером сменялось;
Вечер утру уступал;
Неизвестное скрывалось;
Я искал — не обретал.

Там встречались мне пучины;
Здесь высоких гор хребты;
Я взбирался на стремнины;
Чрез потоки стлал мосты.

Вдруг река передо мною —
Вод склоненье на восток;
Вижу зыблемый струею
Подле берега челнок.

Я в надежде, я в смятеньи;
Предаю себя волнам;
Счастье вижу в отдаленьи;
Всё, что мило — мнится — там!

Ах! в безвестном океане
Очутился мой челнок;
Даль попрежнему в тумане;
Брег невидим и далёк.

И вовеки надо мною
Не сольется, как поднесь,
Небо светлое с землею...
Там не будет вечно *здесь*.

ПЕСНЬ АРАБА
НАД МОГИЛОЮ КОНЯ

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

О путник, со мною страданья дели:
Царь быстрого бега простерт на земли;
И воздухом брани уже он не дышит;
И грозного ржанья пустыня не слышит;
В стремленьи погибель его нагнала;
Вонзенная в шею дрожала стрела;
И кровь благородна струею бежала;
И влагу потока струя обагряла.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

Убийцу сразила моя булава:
На прах отделенна скатилась глава;
Железо вкусило напиток кровавый,
И труп истлевает в пустыне без славы...
Но спит он, со мною летавший на брань;
Трикраты воззвал я: сопутник мой, встан !
Воззвал... безответен... угаснула сила...
И бранные кости одела могила.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

С того ненавистного, страшного дня
И солнце не светит с небес для меня;
Забыл о победе, и в мышцах нет силы;
Брожу одинокий, задумчив, унылый;
Иеменя доселе драгие края
Уже не отчизна — могила моя;
И мною дорога верблюда забвенна,
И дерево амвры, и куща священна.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

В час зноя и жажды скакал он со мной
Ко древу прохлады, к струе ключевой;
И Мавра топтали могучи копыта;
И грудь от противных была мне защита;
Мой верный соратник в бою и трудах,
Он, бодрый, при первых денницы лучах,
Стрелою, покорен велению длани,
Летал на свиданья любови и брани.

О друг! кого и ветр в полях не обгонял,
Ты спишь — на зыбкий одр песков пустынных пал.

Ты видел и Зару — блаженны часы! —
Сокровище сердца и чудо красы;
Уста вероломны тебя величали,
И нежные длани хребет твой ласкали;
Ах! Зара как серна стыдлива была;
Как юная пальма долины цвела;
Но Зара пришельца пленилась красою,
И скрылась... ты, спутник, остался со мною.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

О спутник! тоскует твой друг над тобой;
Но скоро, покрыты могилой одной,
Мы вкупе воздремлем в жилище отрады;
Над нами повеет дыханье прохлады;
И скоро, при гласе великого дня,
Из пыльного гроба исторгнув меня,
Величествен, гордый, с бессмертной красою,
Ты пламенной солнца помчишься стезею.

ПЕСНЯ

О милый друг! теперь с тобою радость!
А я один — и мой печален путь;
Живи, вкушай невинной жизни сладость;
В душе не изменись; достойна счастья будь...
Но не отринь, в толпе пленяемых тобою,
Ты друга прежнего, увядшего душою;
Веселья их дели — ему отрадой будь;
Его, мой друг, не позабудь.

О милый друг, нам рок велел разлуку:
Дни, месяцы и годы пролетят,
Вотще к тебе простру от сердца руку —
Ни голос твой, ни взор меня не усладят.
Но и вдали моя душа с твоей согласна;
Любовь ни времени, ни месту не подвластна;
Всегда, везде ты мой хранитель-ангел будь,
Меня, мой друг, не позабудь.

О милый друг, пусть будет прах холодный
То сердце, где любовь к тебе жила:
Есть лучший мир; там мы любить свободны
Туда моя душа уж всё перенесла;
Туда всечасное влечет меня желанье;
Там свидимся опять; там наше воздаянье;
Сей верой сладкою полна в разлуке будь —
Меня, мой друг, не позабудь.

ЖЕЛАНИЕ

РОМАНС

Озарися, дол туманный;
Расступися, мрак густой;
Где найду исход желанный?
Где воскресну я душой?
Испещренные цветами,
Красны холмы вижу там...
Ах! зачем я не с крылами?
Полетел бы я к холмам.

Там поют согласны лиры;
Там обитель тишины;
Мчат ко мне отголь зефиры
Благовония весны;
Там блестят плоды златые
На сенистых деревах;
Там не слышны вихри злые
На пригорках, на лугах.

О предел очарованья!
Как прелестна там весна!
Как от юных роз дыханья
Там душа оживлена!
Полечу туда... напрасно!
Нет путей к сим берегам;
Предо мной поток ужасной
Грозно мчится по скалам.

Лодку вижу... где ж вожатый?
Едем!.. будь, что суждено...
Паруса ее крылаты
И весло оживлено.
Верь тому, что сердце скажет;
Нет залогов от небес;
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.

ЦВЕТОК

РОМАНС

Минутная краса полей,
Цветок увядший, одинокой,
Лишен ты прелести своей
Рукою осени жестокой.

Увы! нам тот же дан удел,
И тот же рок нас угнетает:
С тебя листочек облетел —
От нас веселье отлетает.

Отъемлет каждый день у нас
Или мечту, иль наслажденье,
И каждый разрушает час
Драгое сердцу заблужденье.

Смотри... очарованья нет;
Звезда надежды угасает...
Увы! кто скажет: жизнь иль цвет
Быстрее в мире исчезает?

ЖАЛО́БА

РОМАНС

Над прозрачными водами
Сидя, рвал Услад венок;
И шумящими волнами
Уносил цветы поток.
«Так бегут лета младые
Невозвратною струей;
Так все радости земные
Цвет увядший полевой.

Ах! безвременной тоскою
Умерщвлен мой милый цвет.
Всё воскреснуло с весною;
Обновился божий свет;
Я смотрю — и холм веселой
И поля омрачены;
Для души осиротелой
Нет цветущия весны.

Что в природе, озаренной
Красотою майских дней?
Есть *одна* во всей вселенной —
К *ней* душа, и мысль об *ней*;
К *ней* стремлю, забывшись, руки —
Милый призрак прочь летит.
Кто ж мои услышит муки,
Жажду сердца утолит?»

ПЕВЕЦ

В тени дерев, над чистыми водами
Дерновый холм вы видите ль, друзья?
Чуть слышно там плескает в брег струя;
Чуть ветерок там дышит меж листами;
На ветвях лира и венец...
Увы! друзья, сей холм — могила;
Здесь прах певца земля сокрыла; -
Бедный певец!

Он сердцем прост, он нежен был душою —
Но в мире он минутный странник был;
Едва расцвел — и жизнь уж разлюбил,
И ждал конца с волненьем и тоскою;
И рано встретил он конец,
Заснул желанным сном могилы...
Твой век был миг, но миг унылый,
Бедный певец!

Он дружбу пел, дав другу нежну руку —
Но верный друг во цвете лет угас;
Он пел любовь — но был печален глас;
Увы! он знал любви одну лишь муку;
Теперь всему, всему конец;
Твоя душа покой вкусила;
Ты спишь; тиха твоя могила,
Бедный певец!

Здесь у ручья, вечернею порою,
Прощальну песнь он заунывно пел:
«О красный мир, где я вотще расцвел,
Прости навек; с обманутой душою
Я счастья ждал — мечтам конец;
Погибло всё, умолкни лира;
Скорей, скорей в обитель мира,
Бедный певец!

Что жизнь, когда в ней нет очарованья?
Блаженство знать, к нему лететь душой,
Но пропасть зреть меж ним и меж собой;
Желать всяк час и трепетать желанья...
О пристань горестных сердец,
Могила, верный путь к покою,
Когда же будет взят тобою
Бедный певец?»

И нет певца... его не слышно лиры...
Его следы исчезли в сих местах;
И скорбно всё в долине, на холмах;
И всё молчит... лишь тихие зефиры,
Колебля вянущий венец,
Порою веют над могилой,
И лира вторит им уныло:
Бедный певец!

ПЛОВЕЦ

Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла,
В океан неисходимый
Буря челн мой занесла.
В тучах звездочка светилась;
Не скрывайся! я взывал;
Непреклонная сокрылась;
Якорь был — и тот пропал.

Всё оделось черной мглою;
Всколыхалися валы;
Бездны в мраке предо мною;
Вкруг ужасные скалы.
«Нет надежды на спасенье!»
Я роптал, уныв душой...
О безумец! Провиденье
Было тайный кормщик твой.

Невидимою рукою,
Сквозь ревущие валы,
Сквозь одеты бездны мглою
И грозящие скалы,
Мощный вел меня хранитель.
Вдруг — всё тихо! мрак исчез;
Вижу райскую обитель...
В ней трех ангелов небес...

О спаситель-провиденье!
Скорбный ропот мой утих;
На коленах, в восхищенье,
Я смотрю на образ их.
О! кто прелесть их опишет?
Кто их силу над душой?
Всё окрест их небом дышит
И невинностью святой.

Неиспытанная радость —
Ими жить, для них дышать;
Их речей, их взоров сладость
В душу, в сердце принимать.
О судьба! одно желанье:
Дай все блага им вкусить;
Пусть им радость — мне страданье;
Но... не дай их пережить.

МЕЧТЫ

ПЕСНЯ

Зачем так рано изменила?
С мечтами, радостью, тоской,
Куда полет свой устремила?
Неумолимая, постой!
О дней моих весна златая,
Постой... тебе возврата нет...
Летит, молитве не внимая;
И всё за ней помчалось вслед.

О! где ты, луч, путеводитель
Веселых юношеских дней?
Где ты, надежда, обольститель
Неопытной души моей?
Уж нет ее, сей веры милой
К твореньям пламенной мечты...
Добыча истине унылой
Призра́ков прежних красоты.

Как древле рук своих созданье
Боготворил Пигмалион
И мрамор внял любви стенанье,
И мертвый был одушевлен —
Так пламенно объята мною
Природа хладная была;
И, полная моей душою,
Она подвиглась, ожила.

И, юноши деля желанье,
Немая обрела язык:
Мне отвечала на лобзанье,
И сердца глас в нее проник.
Тогда и древо жизнь прияло,
И чувство ощутил ручей,

И мертвое отзывом стало
Пылающей души моей.

И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем
Во всё я жизнь хотел вдохнуть.
И в нежном семени сокрытой
Сколь пышным мне казался свет...
Но ах! сколь мало в нем развито!
И малое — сколь бедный цвет.

Как бодро, следом за мечтою
Волшебным очарован сном,
Забот не связанный уздою,
Я жизни полетел путем.
Желанье было — исполненье;
Успех отвагу пламенил:
Ни высота, ни отдаленье
Не ужасали смелых крыл.

И быстро жизни колесница
Стезею младости текла;
Ее воздушная станица
Веселых призраков влекла:
Любовь с прелестными дарами,
С алмазным *Счастие* ключом,
И *Слава* с звездными венцами,
И с ярким *Истина* лучом.

Но ах!.. еще с полудороги,
Наскучив резвою игрой,
Вожди отстали быстроноги...
За роем вслед умчался рой.
Украдкой *Счастие* сокрылось;
Изменой *Знание* ушло;
Сомненья тучей обложилось
Священной *Истины* чело.

Я зрел, как дерзкою рукою
Презренный славу похищал;
И быстро с быстрою весною
Прелестный цвет *Любви* увял.

И всё пустынно, тихо стало
Окрест меня и предо мной!
Едва *Надежды* лишь сияло
Светило над моей тропой.

Но кто ж из сей толпы крылатой
Один с любовью мне вослед,
Мой до могилы провожатой,
Участник радостей и бед?..
Ты, уз житейских облегчитель,
В душевном мраке милый свет,
Ты, *Дружба*, сердца исцелитель,
Мой добрый гений с юных лет.

И ты, товарищ мой любимый,
Души хранитель, как она,
Друг верный, *Труд* неутомимый,
Кому святая власть дана:
Всегда творить, не разрушая,
Мирить печального с судьбой
И, силу в сердце водворяя,
Беречь в нем ясность и покой.

ЭЛИЗИУМ

ПЕСНЯ

Роща, где, податель мира,
Добрый Гений смерти спит,
Где румяный блеск эфира
С тенью зыбких сеней слит,
Где источника журчанье,
Как далекий отзыв лир,
Где печаль, забыв роптанье,
Обретает сладкий мир:

С тайным трепетом, смятенна,
В упоении богов,
Для бессмертья возрожденна,
Сбросив пепельный покров,
Входит в сумрак твой Психея;
Неприкованна к земле,
Юной жизнью пламенея,
Развила она криле.

Полетела в тихом свете,
С обновленною красой,
В дол туманный, к тайной Лете;
Мнилось, легкою рукой
Гений влек ее незримый;
Видит мирные луга;
Видит Летою кропимы
Очарованны брега.

В ней надежда, ожиданье;
Наклонилася к водам,
Усмиряющим страданье...
Лик простерся по струям;
Так безоблачен играет
В море месяц молодой:

Так в источнике сверкает
    Факел Геспера златой.

Лишь фиал воды забвенья
    Поднесла к устам она —
Дней минувших привиденья
    Скрылись легкой тенью сна.
Заблистала, полетела
    К очарованным холмам,
Где журчат, как Филомела,
    Светлы воды по цветам.

Всё в торжественном молчанье.
    Притаились ветерки;
Лавров стихло трепетанье;
    Спят на розах мотыльки.
Так молчало всё творенье —
    Море, воздух, берег дик —
Зря пенистых вод рожденье
    Анадиомены лик.

Всюду яркий блеск Авроры.
    Никогда такой красой
Не сияли рощи, горы,
    Обновленные весной;
Мирты с зыбкими листами
    Тонут в пурпурных лучах;
Розы светлыми звездами
    Отразилися в водах.

Так волшебный луч Селены
    В лес Карийский проникал,
Где, ловитвой утомленный,
    Сладко друг Дианы спал;
Как струи ленивой ропот,
    Как воздушной арфы звон,
Разливался в лесе шопот:
    Пробудись, Эндимион!

УЗНИК К МОТЫЛЬКУ, ВЛЕТЕВШЕМУ В ЕГО ТЕМНИЦУ

Откуда ты, эфира житель?
Скажи, нежданный гость небес,
Какой зефир тебя занес
В мою печальную обитель?
Увы! денницы милый свет
До сводов сих не достигает;
В сей бездне ужас обитает;
Веселья здесь и следу нет.

Сколь сладостно твое явленье!
Знать, милый гость мой, с высоты
Страдальца вздох услышал ты —
Тебя примчало сожаленье;
Увы! убитая тоской
Душа весь мир в тебе узрела,
Надежда ясная влетела
В темницу к узнику с тобой.

Скажи ж, любимый друг природы,
Всё те же ль неба красоты?
Попрежнему ль в лугах цветы?
Душисты ль рощи? ясны ль воды?
Попрежнему ль в тиши ночной
Поет дубравная певица?
Увы! скажи мне, где денница?
Скажи, что сделалось с весной?

Дай весть услышать о свободе;
Слыхал ли песнь ее в горах?
Ее видал ли на лугах
В одушевленном хороводе?
Ах! зрел ли милую страну,
Где я был счастлив в прежни годы?

Всё та же ль там краса природы?
Всё так ли там, как в старину?

Весна сих сводов не видала:
Ты не найдешь на них цветка;
На них затворников рука
Страданий повесть начертала!
Не долетает к сим стенам
Зефира легкое дыханье:
Ты внемлешь здесь одно стенанье;
Ты здесь порхаешь по цепям.

Лети ж, лети к свободе в поле;
Оставь сей бездны глубину;
Спеши прожить твою весну —
Другой весны не будет боле;
Спеши, творения краса!
Тебя зовут луга шелковы:
Там прихоти — твои оковы;
Твоя темница — небеса.

Будь весел гость мой легкокрылой,
Резвяся в поле по цветам...
Быть может, двух младенцев там
Ты встретишь с матерью унылой.
Ах, если б мог ты усладить
Их муку радости словами;
Сказать: он жив! он дышит вами!
Но... ты не можешь говорить.

Увы! хоть крыльями златыми
Моих младенцев ты прельсти;
По травке тихо полети,
Как бы хотел быть пойман ими;
Тебе помчатся вслед они,
Добычи милыя желая;
Ты их, с цветка на цвет порхая,
К моей темнице примани.

Забав их зритель равнодушной,
Пойдет за ними вслед их мать —
Ты будешь путь их услаждать
Своею резвостью воздушной.

Любовь их мой последний щит:
Они страдальцу провиденье;
Сирот священное моленье
Тюремных стражей победит.

Падут железные затворы —
Детей, супругу, небеса,
Родимый край, холмы, леса
Опять мои увидят взоры...
Но что?.. я цепью загремел;
Сокрылся призрак-обольститель...
Вспорхнул эфирный посетитель...
Постой!.. но он уж улетел.

ПЕСНЯ МАТЕРИ НАД КОЛЫБЕЛЬЮ СЫНА

Засни, дитя, спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Когда отец твой обольстил
Меня любви своей мечтою,
Как ты, пленял он красотою,
Как ты, он прост, невинен был!
Вверялось сердце без защиты,
Но он неверен; мы забыты.

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Когда покинет легкий сон,
Утешь меня улыбкой милой;
Увы, такой же сладкой силой
Повелевал душе и он.
Но сколь он знал, к моей напасти,
Что всё его покорно власти!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Мое он сердце распалил,
Чтобы сразить его изменой;

Почто с своею переменой
Он и его не изменил?
Моя тоска неутолима;
Люблю, хотя и нелюбима.

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье:
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Его краса в твоих чертах;
Открытый вид, живые взоры;
Его услышу разговоры
Я скоро на твоих устах!
Но, ах, красой очарователь,
Мой сын, не будь, как он, предатель!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

В слезах у люльки я твоей —
А ты с улыбкой почиваешь!
О дай, творец, да не узнаешь
Печаль подобную моей!
От милых горе нестерпимо!
Да пройдет страшный жребий мимо!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах! тяжко и одно страданье!

Навек для нас пустыня свет,
К надежде нам пути закрыты,
Когда единственным забыты,
Нам сердца здесь родного нет,
Не нам веселие земное;
Во всей природе мы лишь двое!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Пойдем мой сын, путем одним,
Две жертвы рока злополучны.
О, будем в мире неразлучны,
Сносней страдание двоим!
Я нежных лет твоих хранитель,
Ты мне на старость утешитель!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой!
Ах, тяжко и одно страданье.

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг, я всё земное совершила;
Я на земле любила и жила.

Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?
Без страха верь: обмана сердцу нет;
Сбылося всё: я в стороне свиданья;
И знаю *здесь*, сколь *ваш* прекрасен свет.

Друг, на *земле* великое не тщетно;
Будь тверд, а *здесь* тебе не изменят;
О милый, *здесь* не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Не унывай: минувшее с тобою;
Незрима *я*, но в мире мы одном;
Будь верен мне прекрасною душою;
Сверши *один* начатое *вдвоем*.

ПЕСНЯ

Розы расцветают,
Сердце, отдохни;
Скоро засияют
Благодатны дни;
Всё с зимой ненастной
Грустное пройдет;
Сердце будет ясно;
Розою прекрасной
Счастье расцветет.

Розы расцветают —
Сердце, уповай;
Есть, нам обещают,
Где-то лучший край.
Вечно молодая
Там весна живет;
Там, в долине рая,
Жизнь для нас иная
Розой расцветет.

ПЕСНЯ

К востоку, всё к востоку
Стремление земли —
К востоку, всё к востоку
Летит моя душа;
Далеко на востоке,
За синевой лесов,
За синими горами
Прекрасная живет.

И мне в разлуке с нею
Всё мнится, что она
Прекрасное преданье
Чудесной старины,
Что мне она явилась
Когда-то в древни дни,
Что мне об ней остался
Один блаженный сон.

ПЕСНЯ

Где фиалка, мой цветок?
Прошлою весною
Здесь поил ее поток
Свежею струёю?..
Нет ее; весна прошла,
И фиалка отцвела.

Розы были там в сени
Рощицы тенистой;
Оживляли дол они
Красотой душистой...
Лето быстрое прошло,
Лето розы унесло.

Где фиалку я видал,
Там поток игривой
Сердце в думу погружал
Струйкой говорливой...
Пламень лета был жесток;
Истощенный смолк поток.

Где видал я розы, там
Рощица, бывало,
В зной приют давала нам...
Что с приютом стало?
Ветр осенний бушевал,
И приютный лист опал.

Здесь нередко по утрам
Мне певец встречался,
И живым его струнам
Отзыв откликался...
Нет его; певец увял;
С ним и отзыв замолчал.

ПЕСНЯ

Птичкой певицею
Быть бы хотел;
С юной денницею
Я б прилетел
Первый к твоим дверям;
В них бы порхнул,
И к молодым грудям
Милой прильнул.

Будь я сиянием
Дневных лучей,
Слитых с пыланием
Ярких очей,
Щеки б румяные
Жарко лобзал,
В перси бы рдяные
Вкравшись, пылал.

Если б я сладостным
Был ветерком,
Веяньем радостным
Тайно кругом
Милой летал бы я;
С долов, с лугов
К ней привевал бы я
Запах цветов.

Стал бы я, стал бы я
Эхом лесов;
Всё повторял бы я
Милой: *любовь*...
Ах! но напрасное
Я загадал;
Тайное, страстное
Кто выражал?

Птичка, небесный цвет,
Бег ветерка,
Эха лесной привет
Издалека —
Быстры, но ясное
Нам без речей,
Тайное, страстное
Всё их быстрей.

ВОСПОМИНАНИЕ

Прошли, прошли вы, дни очарованья!
Подобных вам уж сердцу не нажить!
Ваш след в одной тоске воспоминанья!
Ах! лучше б вас совсем мне позабыть!

К вам часто мчит привычное желанье —
И слез любви нет сил остановить!
Несчастие — об вас воспоминанье!
Но более несчастье — вас забыть!

О, будь же грусть заменой упованья!
Отрада нам — о счастье слезы лить!
Мне умереть с тоски воспоминанья!
Но можно ль жить, — увы! и позабыть!

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Легкий, легкий ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Что с тобой к ней возвратилось,
Перелетная весна?
Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют,
И, сияя, улетают
За далекие леса.

Иль опять от вышины
Весть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голос старины?
Или там, куда летит
Птичка, странник поднебесный,
Всё еще сей неизвестный
Край *желанного* сокрыт?..
Кто ж к неведомым брегам
Путь неведомый укажет?
Ах! найдется ль, кто мне скажет,
Очарованное *Там*?

ПЕСНЯ

Кольцо души-девицы
Я в море уронил;
С моим кольцом я счастье
Земное погубил.

Мне, дав его, сказала:
«Носи! не забывай!
Пока твое колечко,
Меня своей считай!»

Не в добрый час я невод
Стал в море полоскать;
Кольцо юркнуло в воду;
Искал... но где сыскать!..

С тех пор мы как чужие!
Приду к ней — не глядит!
С тех пор мое веселье
На дне морском лежит!

О ветер полуночный,
Проснися! будь мне друг!
Схвати со дна колечко
И выкати на луг.

Вчера ей жалко стало:
Нашла меня в слезах!
И что-то, как бывало,
Зажглось у ней в глазах!

Ко мне подсела с лаской,
Мне руку подала;
И что-то ей хотелось
Сказать, но не могла!

На что твоя мне ласка!
На что мне твой привет!
Любви, любви хочу я...
Любви-то мне и нет!

Ищи, кто хочет, в море
Богатых янтарей...
А мне мое колечко
С надеждою моей.

СОН

Заснув на холме луговом,
Вблизи большой дороги,
Я унесен был легким сном
Туда, где жили боги.

Но я проснулся, наконец,
И смутно озирался:
Дорогой шел младой певец
И с пеньем удалялся.

Вдали пропал за рощей он —
Но струны всё звенели.
Ах! не они ли дивный сон
Мне на душу напели?

ПЕСНЯ БЕДНЯКА

Куда мне голову склонить?
Покинут я и сир;
Хотел бы весело хоть раз
Взглянуть на божий мир.

И я в семье моих родных
Когда-то счастлив был;
Но горе спутник мой с тех пор,
Как я их схоронил.

Я вижу зáмки богачей
И их сады кругом...
Моя ж дорога мимо их
С заботой и трудом.

Но я счастливых не дичусь;
Моя печаль в тиши;
Я всем веселым рад сказать:
Бог помочь! от души.

О щедрый бог, не вовсе ж я
Тобою позабыт;
Источник милости твоей
Для всех равно открыт.

В селенье каждом есть твой храм
С сияющим крестом,
С молитвой сладкой и с твоим
Доступным алтарём.

Мне светит солнце и луна;
Любуюсь на зарю;
И, слыша благовест, с тобой,
Создатель, говорю.

И знаю: будет добрым пир
В небесной стороне;
Там буду праздновать и я;
Там место есть и мне.

СЧАСТИЕ ВО СНЕ

Дорогой шла девица;
С ней друг ее младой:
Болезненны их лица;
Наполнен взор тоской.

Друг друга лобызают
И в очи и в уста —
И снова расцветают
В них жизнь и красота.

Минутное веселье!
Двух колоколов звон:
Она проснулась в *келье*;
В *тюрьме* проснулся он.

УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ

Скажи, что так задумчив ты?
Всё весело вокруг;
В твоих глазах печали след;
Ты, верно, плакал, друг?

«О чем грущу, то в сердце мне
Запало глубоко;
А слезы... слезы в радость нам;
От них душе легко».

К тебе ласкаются друзья,
Их ласки не дичись;
И что бы ни утратил ты,
Утратой поделись.

«Как вам, счастливцам, то понять,
Что понял я тоской?
О чем... но нет! оно мое,
Хотя и не со мной».

Не унывай же, ободрись;
Еще ты в цвете лет;
Ищи — найдешь; отважным, друг,
Несбыточного нет.

«Увы! напрасные слова!
Найдешь — сказать легко;
Мне до него, как до звезды
Небесной далеко».

На что ж искать далеких звезд?
Для неба их краса;
Любуйся ими в ясну ночь,
Не мысля в небеса.

«Ах! я любуюсь в ясный день;
Нет сил и глаз отвесть;
А ночью... ночью плакать мне
Покуда слезы есть».

К МЕСЯЦУ

Снова лес и дол покрыл
Блеск туманный твой:
Он мне душу растворил
Сладкой тишиной.

Ты блеснул... и просветлел
Тихо темный луг:
Так улыбкой наш удел
Озаряет друг.

Скорбь и радость давних лет
Отозвались мне,
И минувшего привет
Слышу в тишине.

Лейся, мой ручей, стремись!
Жизнь уж отцвела;
Так надежды пронеслись;
Так любовь ушла.

Ах! то было и моим,
Чем так сладко жить,
То, чего, расставшись с ним,
Вечно не забыть.

Лейся, лейся, мой ручей,
И журчанье струй
С одинокою моей
Лирой согласуй.

Счастлив, кто от хлада лет
Сердце охранил,
Кто без ненависти свет
Бросил и забыл,

Кто делит с душой родной,
Втайне от людей,
То, что презрено толпой,
Или чуждо ей.

МИНА

Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит...
Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Там светлый дом! на мраморных столбах
Поставлен свод; чертог горит в лучах;
И ликов ряд недвижимых стоит;
И, мнится, их молчанье говорит...
Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Гора там есть с заоблачной тропой!
В туманах мул там путь находит свой;
Драконы там мутят ночную мглу;
Летит скала и воды на скалу!..
О друг, пойдем! туда! туда
Мечта зовет!.. Но быть ли там когда?

НОВАЯ ЛЮБОВЬ — НОВАЯ ЖИЗНЬ

Что с тобой вдруг, сердце, стало?
Что ты ноешь? Что опять
Закипело, запылало?
Как тебя растолковать?
Всё исчезло, чем ты жило,
Чем так сладостно грустило!
Где беспечность? где покой?..
Ах! что сделалось с тобой?

Расцветающая ль младость,
Речи ль, полные душой,
Взора ль пламенная сладость
Овладели так тобой?
Захочу ли ободриться,
Оторваться, удалиться —
Бросить томный, томный взгляд!
Ах! я к ней лечу назад!

Я неволен, очарован!
Я к неволе золотой,
Обессиленный, прикован
Шелковинкою одной!
И бежать очарованья
Нет ни силы, ни желанья!
Рад тоске! хочу любить!..
Видно, сердце, так и быть!

ВЕРНОСТЬ ДО ГРОБА

Младый Рогер свой острый меч берет:
За веру, честь и родину сразиться!
Готов он в бой... но к милой он идет:
В последний раз с прекрасною проститься.
«Не плачь: над нами щит творца;
Еще нас небо не забыло;
Я буду верен до конца
Свободе, мужеству и милой».

Сказал, свой шлем надвинул, поскакал;
Дружина с ним; кипят сердца их боем;
И скоро строй неустрашимых стал
Перед врагов необозримым строем.
«Сей вид не страшен для бойца;
И смерть ли небо мне судило —
Останусь верен до конца
Свободе, мужеству и милой».

И на врага взор мести бросив, он
Влетел в ряды, как пламень-истребитель;
И вспыхнул бой и враг уж истреблен;
Но... победив, сражен и победитель.
Он почесть бранного венца
Приял с безвременной могилой,
И был он верен до конца
Свободе, мужеству и милой.

Но где же ты, певец великих дел?
Иль песнь твоя твоей судьбою стала?..
Его уж нет; он в край тот улетел,
Куда давно мечта его летала.
Он пал в бою — и глас певца
Бессмертно дело освятило;
И он был верен до конца
Свободе, мужеству и милой.

ГОРНАЯ ДОРОГА

Над страшною бездной дорога бежит,
Меж жизнью и смертию мчится;
Толпа великанов ее сторожит;
Погибель над нею гнездится.
Страшись пробужденья лавины ужасной:
В молчаньи пройди по дороге опасной.

Там *мост* через бездну отважной дугой
С скалы на скалу перегнулся;
Не смертною был он поставлен рукой —
Кто смертный к нему бы коснулся?
Поток под него разъяренный бежит;
Сразить его рвется и ввек не сразит.

Там, грозно раздавшись, стоят *ворота*;
Мнишь: область теней пред тобою;
Пройди их — долина, долин красота,
Там осень играет с весною.
Приют сокровенный! желанный предел!
Туда бы от жизни ушел, улетел.

Четыре *потока* оттуда шумят —
Не зрели их выхода очи.
Стремятся они на восток, на закат;
Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе; родясь, расстаются;
Бегут без возврата и ввек не сольются.

Там в блеске небес два *утеса* стоят,
Превыше всего, что земное:
Кругом облака золотые кипят,
Эфира семейство младое;
Ведут хороводы в стране голубой;
Там не был, не будет свидетель земной.

Царица сидит высоко и светло
    На вечно-незыблемом троне;
Чудесной красой обвивает чело,
    И блещет в алмазной короне;
Напрасно там солнцу сиять и гореть;
Ее золотит, но не может согреть.

МЕЧТА

Ах! если б мой милый был роза-цветок,
Его унесла бы я в свой уголок;
И там украшал бы мое он окно;
И с ним я душой бы жила заодно.

К нему бы в окно ветерок прилетал,
И свежий мне запах на грудь навевал;
И я б унывала, им сладко дыша,
И с милым бы, тая, сливалась душа.

Его бы и ранней и поздней порой
Я, нежа, поила струей ключевой;
Ко мне прилипая, живые листы
Шептали б: я милый, а милая ты.

Не села бы пчелка на милый мой цвет;
Сказала б я: меду для пчелки здесь нет;
Для пчелки-летуньи есть шелковый луг;
Моим без раздела останься, мой друг.

Сильфиды бы легкой слетелись толпой
К нему любоваться его красотой;
И мне бы шепнули, целуя листы:
Мы любим, что мило, мы любим, как ты.

Тогда б встрепенулся мой милый цветок,
С цветка сорвался бы румяный листок,
К моей бы щеке распаленной пристал,
И пурпурным жаром на ней заиграл.

Родная б спросила: что, друг мой, с тобой?
Ты вся разгорелась, как день молодой.
«Родная, родная, сказала бы я,
Мне в душу свой запах льет роза моя».

ПЕСНЯ

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?
Шепнул душе привет бывалой;
Душе блеснул знакомый взор;
И зримо ей минуту стало
Незримое с давнишних пор.

О милый гость, святое *Прежде*,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать: *живи*, надежде?
Скажу ль тому, что было: *будь*?
Могу ль узреть во блеске новом
Мечты увядшей красоту?
Могу ль опять одеть покровом
Знакомой жизни наготу?

Зачем душа в тот край стремится,
Где были дни, каких уж нет?
Пустынный край не населится;
Не узрит он минувших лет;
Там есть *один* жилец безгласный,
Свидетель милой старины;
Там вместе с ним все дни прекрасны
В единый гроб положены.

УТЕШЕНИЕ

Светит месяц; на кладбище
Дева в черной власянице
Одинокая стоит,
И слеза любви дрожит
На густой ее реснице.

«Нет его; на том он свете;
Сердцу смерть его утешна:
Он достался небесам,
Будет чистый ангел там —
И любовь моя безгрешна».

Скорбь ее к святому лику
Богоматери подводит:
Он стоит в огне лучей,
И на деву из очей
Милость тихая нисходит.

Пала дева пред иконой
И безмолвно упованья
От пречистыя ждала...
И душою перешла
Неприметно в мир свиданья.

К ЭММЕ

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины,
Неприступною звездою
Ты мелькаешь с вышины!
Ах! звезды не приманить!
Счастью бывшему не быть!

Если б жадною рукою
Смерть тебя от нас взяла,
Ты была б моей тоскою,
В сердце всё бы ты жила!
Ты живешь в сияньи дня!
Ты живешь не для меня!

То, что нас одушевляло,
Эмма, как то пережить?
Эмма, то, что миновало,
Как тому любовью быть!
Небом в сердце зажжено,
Умирает ли оно!

К МИМОПРОЛЕТЕВШЕМУ ЗНАКОМОМУ ГЕНИЮ

Скажи, кто ты, пленитель безымянной?
С каких небес примчался ты ко мне?
Зачем опять влечешь к обетованной,
Давно, давно покинутой стране?

Не ты ли тот, который жизнь младую
Так сладостно мечтами усыплял
И в старину про гостью неземную —
Про милую надежду ей шептал?

Не ты ли тот, кем всё во дни прекрасны
Так жило там в счастливых тех краях,
Где луг душист, где воды светло-ясны,
Где весел день на чистых небесах?

Не ты ль во грудь с живым весны дыханьем
Таинственной унылостью влетал,
Ее теснил томительным желаньем
И трепетным весельем волновал?

Поэзии священным вдохновеньем
Не ты ль с душой носился в высоту,
Пред ней горел божественным виденьем,
Разоблачал ей жизни красоту?

В часы утрат, в часы печали тайной,
Не ты ль всегда беседой сердца был,
Его смирял утехою случайной
И тихою надеждою целил?

И не тебе ль всегда она внимала
В чистейшие минуты бытия,
Когда судьбы святыню постигала,
Когда лишь бог свидетель был ея?

Какую ж весть принес ты, мой пленитель?
Или опять мечтой лишь поманишь
И, прежних дум напрасный пробудитель,
О счастии шепнешь и замолчишь?

О Гений мой, побудь еще со мною;
Бывалый друг, отлетом не спеши;
Останься, будь мне жизнию земною;
Будь ангелом-хранителем души.

ЖИЗНЬ

Отуманенным потоком
Жизнь унылая плыла;
Берег в сумраке глубоком;
На холодном небе мгла;
Тьмою звезды обложило;
Бури нет — один туман;
И вдали ревет уныло
Скрытый мглою океан.

Было время — был день ясный,
Были пышны берега,
Были рощи сладкогласны,
Были зелены луга.
И за *ней* вились толпою
Светлокрылые друзья:
Юность легкая с *Мечтою*
И живых *Надежд* семья.

К ней теснились, услаждали
Мирный путь ее игрой
И над нею расстилали
Благодатный парус свой.
К ней *Фантазия* летала
В блеске радужных лучей
И с небес к ней прикликала
Очарованных гостей:

Вдохновение с звездою
Над возвышенной главой
И *Хариту* с молодою
Музой, Гения сестрой;
И она, их внемля пенье,
Засыпала в тишине
И ловила привиденье
Счастья милого во сне!..

Всё пропало, изменило;
Разлетелися друзья;
В бездне брошена унылой
Одинокая ладья;
Року странница послушна,
Не желает и не ждет
И прискорбно-равнодушна
В беспредельное плывет.

Что же вдруг затрепетало
Над поверхностью зыбей?
Что же прелестью бывалой
Вдруг повеяло над ней?
Легкой птичкой встрепенулся
Пробужденный ветерок;
Сонный парус развернулся;
Дрогнул руль; быстрей челнок.

Смотрит... ангелом прекрасным
Кто-то светлый прилетел,
Улыбнулся, взором ясным
Подарил и в лодку сел;
И запел он песнь надежды;
Жизнь очнулась, ожила
И с волненьем робки вежды
На красавца подняла.

Видит... мрачность разлетелась;
Снова зеркальна вода;
И приветно загорелась
В небе яркая звезда;
И в нее проникла радость,
Прежней веры тишина,
И как будто снова младость
С упованьем отдана.

О хранитель, небом данной!
Пой, небесный, и ладьей
Правь ко пристани желанной
За попутною звездой.
Будь сиянье, будь ненастье;
Будь, что надобно судьбе;
Всё *для Жизни* будет счастье,
Добрый спутник, при тебе.

ПЕСНЯ

Отымает наши радости
Без замены хладный свет;
Вдохновенье пылкой младости
Гаснет с чувством жертвой лет;
Не одно ланит пылание
Тратим с юностью живой —
Видим сердца увядание
Прежде юности самой.

Наше счастие разбитое
Видим мы игрушкой волн;
И в далекий мрак сердитое
Море мчит наш бедный чёлн;
Стрелки нет путеводительной,
Иль вотще ее магнит
В бурю к пристани спасительной
Челн беспарусный манит?

Хлад, как будто ускоренная
Смерть, заходит в душу к нам;
К наслажденью охлажденная,
Охладев к самим бедам,
Без стремленья, без желания,
В нас душа заглушена
И навек очарования
Слез отрадных лишена.

На минуту ли улыбкою
Мертвый лик наш оживет,
Или *прежнее* ошибкою
В сердце сонное зайдет —
То обман; то плющ играющий
По развалинам седым;
Сверху лист благоухающий —
Прах и тление под ним.

Оживите сердце вялое,
Дайте быть по старине;
Иль оплакивать *бывалое*
Слез *бывалых* дайте мне.
Сладко, сладко появление
Ручейка в пустой глуши;
Так и слезы — освежение
Запустевшия души.

ЛАЛЛА РУК

Милый сон, души пленитель,
Гость прекрасный с вышины,
Благодатный посетитель
Поднебесной стороны,
Я тобою насладился
На минуту, но вполне:
Добрым вестником явился
Здесь небесного ты мне.

Мнил я быть в обетованной
Той земле, где вечный мир;
Мнил я зреть благоуханный
Безмятежный Кашемир;
Видел я: торжествовали
Праздник розы и весны
И пришелицу встречали
Из далёкой стороны.

И блистая, и пленяя —
Словно ангел неземной —
Непорочность молодая
Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
Оттенял ее черты,
И застенчиво склоняла
Взор умильный с высоты.

Всё — и робкая стыдливость
Под сиянием венца,
И младенческая живость,
И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
С безмятежной тишиной —
Всё в ней было без искусства
Неописанной красой.



С. А. Самойлова (1822).

Я смотрел — а призрак мимо
(Увлекая душу вслед)
Пролетал невозвратимо;
Я за ним — его уж нет!
Посетил, как упованье;
Жизнь минуту озарил;
И оставил лишь преданье,
Что когда-то в жизни был.

Ах! не с нами обитает
Гений чистый красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он.

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам,
И приносит откровенья,
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой;

И во всем, что *здесь* прекрасно,
Что наш мир животворит,
Убедительно и ясно
Он с душою говорит;
А когда нас покидает,
В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

ЯВЛЕНИЕ ПОЭЗИИ
В ВИДЕ ЛАЛЛА РУК

К востоку я стремлюсь душою!
Прелестная впервые там
Явилась в блеске над землёю
Обрадованным небесам.

Как утро юного творенья,
Она пленительна пришла,
И первый пламень вдохновенья
Струнами первыми зажгла.

Везде любовь ее встречает;
Цветет ей каждая страна;
Но всюду милый сохраняет
Обычай родины она.

Так пролетела здесь, блистая
Востока пламенным венцом,
Богиня песней молодая
На паланкине золотом.

Как свежей утренней порою
В жемчуге утреннем цветы,
Она пленяла красотою,
Своей не зная красоты.

И нам с своей улыбкой ясной,
В своей веселости младой,
Она казалася прекрасной
Всеобновляющей весной.

Сама гармония святая
Ее нам мнилось бытие,
И мнилось, душу разрешая,
Манила в рай она ее.

При ней все мысли наши — пенье!
И каждый звук ее речей,
Улыбка уст, лица движенье,
Дыханье, взгляд — всё песня в ней.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Сто красавиц светлооких
Председали на турнире.
Все — цветочки полевые;
А моя одна как роза.
На нее глядел я смело,
Как орел глядит на солнце.
Как от щек моих горячих
Разгоралося забрало!
Как рвалось пробиться сердце
Сквозь тяжелый, твердый панцырь!
Светлых взоров тихий пламень
Стал душе моей пожаром;
Сладкошепчущие речи
Стали сердцу бурным вихрем;
И она — младое утро —
Стала мне грозой могучей;
Я помчался, я ударил —
И ничто не устояло.

НОЧЬ

Уже утомившийся день
Склонился в багряные воды,
Темнеют лазурные своды,
Прохладная стелется тень;
И ночь молчаливая мирно
Пошла по дороге эфирной,
И Геспер летит перед ней
С прекрасной звездою своей.

Сойди, о небесная, к нам
С волшебным твоим покрывалом,
С целебным забвенья фиалом,
Дай мира усталым сердцам.
Своим миротворным явленьем,
Своим усыпительным пеньем,
Томимую душу тоской,
Как матерь дитя, успокой.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

Кто ты, призрак, гость прекрасной?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно,
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?

Не Надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты, с нею мимо
Пролетел и бросил нас.

Не Любовь ли нам собою
Тайно ты изобразил?..
Дни любви, когда одною
Мир для нас прекрасен был,
Ах! тогда сквозь покрывало
Неземным казался он...
Снят покров; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье — сон.

Не волшебница ли Дума
Здесь в тебе явилась нам?
Удаленная от шума,
И мечтательно к устам
Приложивши перст, приходит
К нам, как ты, она порой,
И в минувшее уводит
Нас безмолвно за собой.

Иль в тебе сама святая
Здесь Поэзия была?..
К нам, как ты, она из рая
Два покрова принесла:
Для небес лазурно-ясный,
Чистый, белый для земли:
С ней всё близкое прекрасно;
Всё знакомо, что вдали.

Иль Предчувствие сходило
К нам во образе твоем
И понятно говорило
О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
Кто-то светлый к нам летит,
Подымает покрывало
И в далекое манит.

МОТЫЛЕК И ЦВЕТЫ

Поляны мирной украшение,
Благоуханные цветы,
Минутное изображение
Земной, минутной красоты;
Вы равнодушно расцветаете,
Глядяся в воды ручейка,
И равнодушно упрекаете
В непостоянстве мотылька.

Во дни весны с востока ясного,
Младой денницей пробуждён,
В пределы бытия прекрасного
От высоты спустился он.
Исполненный воспоминанием
Небесной, чистой красоты,
Он вашим радостным сиянием
Пленился, милые цветы.

Он мнил, что вы с ним однородные
Переселенцы с вышины,
Что вам, как и ему, свободные
И крылья и душа даны:
Но вы к земле, цветы, прикованы;
Вам на земле и умереть;
Глаза лишь вами очарованы,
А сердца вам не разогреть.

Не рождены вы для внимания;
Вам непонятен чувства глас;
Стремишься к вам без упования;
Без горя забываешь вас.
Пускай же к вам резвясь ласкается,
Как вы, минутный ветерок;
Иною прелестью пленяется
Бессмертья вестник мотылёк.

Но есть меж вами два избранные,
Два ненадменные цветка:
Их имена, им сердцем данные,
К ним привлекают мотылька.
Они без пышного сияния;
Едва приметны красотой:
Один есть цвет воспоминания,
Сердечной думы цвет другой.

О милое воспоминание
О том, чего уж в мире нет!
О дума сердца — упование
На лучший, неизменный свет!
Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил,
И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл.

ЗАМОК НА БЕРЕГУ МОРЯ

Ты видел ли зáмок на бреге морском?
Играют, сияют над ним облака;
Лазурное море прекрасно кругом.

«Я зáмок тот видел на бреге морском;
Сияла над ним одиноко луна;
Над морем клубился холодный туман».

Шумели ль, плескали ль морские валы?
С их шумом, с их плеском сливался ли глас
Веселого пенья, торжественных струн?

«Был ветер спокоен; молчала волна;
Мне слышалась в зáмке печальная песнь;
Я плакал от жалобных звуков ея».

Царя и царицу ты видел ли там?
Ты видел ли с ними их милую дочь,
Младую, как утро весеннего дня?

«Царя и царицу я видел... вдвоем
Безгласны, печальны сидели они;
Но милой их дочери не было там».

НОЧНОЙ СМОТР

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы-егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под Русских снегов,
С роскошных полей Италийских,
Встают с Африканских степей,
С горючих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сертук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;

И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.

И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И *Франция* — тот их пароль,
Тот лозунг — *Святая Елена*.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает Император усопший.

ЛЮДМИЛА

«Где ты, милый? Что с тобою?
С чужеземною красою,
Знать, в далекой стороне
Изменил, неверный, мне;
Иль безвременно могила
Светлый взор твой угасила».
Так Людмила, приуныв,
К персям очи преклонив,
На распутии вздыхала.
«Возвратится ль он — мечтала —
Из далеких чуждых стран
С грозной ратию Славян?»

Пыль туманит отдаленье;
Светит ратных ополченье;
Топот, ржание коней;
Трубный треск и стук мечей;
Прахом панцыри покрыты;
Шлемы лаврами обвиты;
Близко, близко ратных строй;
Мчатся шумною толпой
Жены, чада, обрученны...
«Возвратились незабвенны!..»
А Людмила?.. Ждет-пождет...
«Там дружину он ведет;

Сладкий час — соединенье!..»
Вот проходит ополченье;
Миновался ратных строй...
Где ж, Людмила, твой герой?
Где твоя, Людмила, радость?
Ах! прости, надежда-сладость!
Всё погибло: друга нет.
Тихо в терем свой идет,

Томну голову склонила:
«Расступись, моя могила;
Гроб, откройся; полно жить;
Дважды сердцу не любить». —

«Что с тобой, моя Людмила? —
Мать со страхом возопила. —
О, спокой тебя творец!» —
«Милый друг, всему конец;
Что прошло — невозвратимо;
Небо к нам неумолимо;
Царь небесный нас забыл...
Мне ль он счастья не сулил?
Где ж обетов исполненье?
Где святое провиденье?
Нет, немилостив творец;
Всё прости; всему конец». —

«О Людмила, грех роптанье;
Скорбь — создателя посланье;
Зла создатель не творит;
Мертвых стон не воскресит». —
«Ах! родная, миновалось!
Сердце верить отказалось!
Я ль, с надеждой и мольбой,
Пред иконою святой
Не точила слез ручьями?
Нет, бесплодными мольбами
Не призвать минувших дней;
Не цвести душе моей.

Рано жизнью насладилась,
Рано жизнь моя затмилась,
Рано прежних лет краса.
Что взирать на небеса?
Что молить неумолимых?
Возвращу ль невозвратимых?» —
«Царь небес, то скорби глас!
Дочь, воспомни смертный час;
Кратко жизни сей страданье;
Рай — смиренным воздаянье,
Ад — бунтующим сердцам;
Будь послушна небесам». —

«Что, родная, муки ада?
Что небесная награда?
С милым вместе — всюду рай;
С милым розно — райский край
Безотрадная обитель.
Нет, забыл меня спаситель!» —
Так Людмила жизнь кляла,
Так творца на суд звала...
Вот уж солнце за горами;
Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол, и мрачен лес.

Вот и месяц величавой
Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зыбких вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!.. полночный час звучит.

Потряслись дубов вершины;
Вот повеял от долины
Перелетный ветерок...
Скачет по полю ездок:
Борзый конь и ржет и пышет.
Вдруг... идут... (Людмила слышит)
На чугунное крыльцо...
Тихо брякнуло кольцо...
Тихим шопотом сказали...
(Все в ней жилки задрожали)
То знакомый голос был,
То ей милый говорил:

«Спит иль нет, моя Людмила?
Помнит друга, иль забыла?
Весела, иль слезы льет?
Встань, жених тебя зовёт». —

«Ты ль? Откуда в час полночи?
Ах! едва прискорбны очи
Не потухнули от слез.
Знать, тронулся царь небес
Бедной девицы тоскою?
Точно ль милый предо мною?
Где же был? Какой судьбой
Ты опять в стране родной?» —

«Близ Наревы дом мой тесный.
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет —
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.
Поздно я пустился в путь.
Ты моя; моею будь...
Чу! совы пустынной крики.
Слышишь? Пенье, брачны лики.
Слышишь? Борзый конь заржал.
Едем, едем, час настал». —

«Переждем хоть время ночи;
Ветер встал от полуночи;
Хладно в поле, бор шумит;
Месяц тучами закрыт». —
«Ветер буйный перестанет;
Стихнет бор, луна проглянет;
Едем, нам сто верст езды.
Слышишь? конь грызет бразды,
Бьет копытом с нетерпенья.
Миг нам страшен замедленья;
Краткий, краткий дан мне срок;
Едем, едем, путь далёк». —

«Ночь давно ли наступила?
Полночь только что пробила.
Слышишь? Колокол гудит». —
«Ветер стихнул; бор молчит;
Месяц в водный ток глядится;
Мигом борзый конь домчится». —
«Где ж, скажи, твой тесный дом?» —
«Там, в Литве, краю чужом:





Иллюстрации к шотландскому изданию «Lenore» Бюргера.

Хладен, тих, уединенный,
Свежим дерном покровенный;
Саван, крест, и шесть досок.
Едем, едем, путь далёк». —

Мчатся всадник и Людмила.
Робко дева обхватила
Друга нежною рукой,
Прислонясь к нему главой.
Скоком, лётом по долинам,
По буграм и по равнинам;
Пышет конь, земля дрожит;
Брызжут искры от копыт;
Пыль катится вслед клубами;
Скачут мимо них рядами
Рвы, поля, бугры, кусты;
С громом зыблются мосты.

«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?» —
«Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом земли утроба». —
«Чу! в лесу потрясся лист.
Чу! в глуши раздался свист.
Черный ворон встрепенулся;
Вздрогнул конь и отшатнулся;
Вспыхнул в поле огонёк». —
«Близко ль, милый?» — «Путь далёк».

Слышут шорох тихих теней:
В час полуночных видений,
В дыме облака, толпой,
Прах оставя гробовой
С поздним месяца восходом,
Легким, светлым хороводом
В цепь воздушную свились;
Вот за ними понеслись;
Вот поют воздушны лики:
Будто в листьях павилики
Вьется легкий ветерок;
Будто плещет ручеек.

«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?» —
«Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом земли утроба». —
«Конь, мой конь, бежит песок;
Чую ранний ветерок;
Конь, мой конь, быстрее мчися;
Звезды утренни зажглися,
Месяц в облаке потух.
Конь, мой конь, кричит петух». —

«Близко ль, милый?» — «Вот примчались».
Слышут: сосны зашатались;
Слышут: спал с ворот запор;
Борзый конь стрелой на двор.
Что же, что в очах Людмилы?
Камней ряд, кресты, могилы,
И среди них божий храм.
Конь несется по гробам;
Стены звонкий вторят топот;
И в траве чуть слышный шопот,
Как усопших тихий глас...
Вот денница занялась.

Что же чудится Людмиле?..
К свежей конь примчась могиле,
Бух в нее и с седоком.
Вдруг — глухой подземный гром;
Страшно доски затрещали;
Кости в кости застучали;
Пыль взвилася; обруч хлоп;
Тихо, тихо вскрылся гроб...
Что же, что в очах Людмилы?..
Ах, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой — гроб; жених — мертвец.

Видит труп оцепенелый:
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.
Страшен милый прежде вид;

Впалы мертвые ланиты;
Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.
Вдруг привстал... манит перстом...
«Кончен путь: ко мне, Людмила;
Нам постель — темна могила;
Завес — саван гробовой;
Сладко спать в земле сырой».

Что ж Людмила?.. Каменеет,
Меркнут очи, кровь хладеет,
Пала мертвая на прах.
Стон и вопли в облаках;
Визг и скрежет под землёю;
Вдруг усопшие толпою
Потянулись из могил;
Тихий, страшный хор завыл:
«Смертных ропот безрассуден;
Царь всевышний правосуден;
Твой услышал стон творец;
Час твой бил, настал конец».

КАССАНДРА

Всё в обители Приама
 Возвещало брачный час,
Запах роз и фимиама,
 Гимны дев и лирный глас.
Спит гроза минувшей брани,
 Щит, и меч, и конь забыт,
Облечен в пурпурны ткани
 С Поликсеною Пелид.

Девы, юноши четами
 По узорчатым коврам,
Украшенные венками,
 Идут веселы во храм;
Стогны дышут фимиамом;
 В злато царский дом одет;
Снова счастье над Пергамом...
 Для Кассандры счастья нет.

Уклонясь от лирных звонов,
 Нелюдима и одна,
Дочь Приама в Аполлонов
 Древний лес удалена.
Сводом лавров осененна,
 Сбросив жреческий покров,
Провозвестница священна
 Так роптала на богов:

«Там шумят веселых волны;
 Всем душа оживлена;
Мать, отец надеждой полны;
 В храм сестра приведена.
Я одна мечты лишенна;
 Ужас мне — что радость там;
Вижу, вижу: окриленна
 Мчится Гибель на Пергам.

Вижу факел — он светлеет
Не в Гименовых руках;
И не жертвы пламя рдеет
На сгущенных облаках;
Зрю пиров уготовленье...
Но... горе́, по небесам
Слышно бога приближенье,
Предлетящего бедам.

И вотще мое стенанье,
И печаль моя мне стыд:
Лишь с пустынями страданье
Сердце сирое делит.
От счастливых отчужденна,
Веселящимся позор,
Я тобой всех благ лишенна,
О предведения взор!

Что Кассандре дар вещанья
В сем жилище скромных чад
Безмятежного незнанья,
И блаженных им стократ?
Ах! почто она предвидит
То, чего не отвратит?..
Неизбежное приидет,
И грозящее сразит.

И спасу ль их, открывая
Близкий ужас их очам?
Лишь незнанье — жизнь прямая;
Знанье — смерть прямая нам.
Феб, возьми твой дар опасной,
Очи мне спеши затмить;
Тяжко истины ужасной
Смертною скуделью быть...

Я забыла славить радость,
Став пророчицей твоей,
Слепоты погибшей сладость,
Мирный мрак минувших дней,
С вами скрылись наслажденья!
Он мне будущее дал,

Но веселие мгновенья
Настоящего отнял.

Никогда покров венчальный
Мне главы не осенит:
Вижу факел погребальный;
Вижу: ранний гроб открыт.
Я с родными скучну младость
Всю утратила в тоске —
Ах, могла ль делить их радость,
Видя скорбь их вдалеке?

Их ласкает ожиданье;
Жизнь, любовь передо мной;
Всё окрест очарованье —
Я одна мертва душой.
Для меня весна напрасна;
Мир цветущий пуст и дик...
Ах! сколь жизнь тому ужасна,
Кто во глубь ее проник!

Сладкий жребий Поликсены!
С женихом рука с рукой,
Взор любовью распаленный,
И гордясь сама собой,
Благ своих не постигает:
В сновидениях златых,
И бессмертья не желает
За один с Пелидом миг.

И моей любви открылся
Тот, кого мы ждем душой:
Милый взор ко мне стремился
Полный страстною тоской...
Но — для нас перед богами
Брачный гимн не возгремит;
Вижу: грозно между нами
Тень Стигийская стоит.

Духи, бледною толпою
Покидая мрачный ад,
Вслед за мной и предо мною,
Неотступные летят;

В резвы юношески лики
    Вносят ужас за собой;
Внемля радостные клики,
    Внемлю их надгробный вой.

Там сокрытый блеск кинжала;
    Там убийцы взор горит;
Там невидимого жала
    Яд погибелью грозит.
Всё предчувствуя и зная,
    В страшный путь сама иду:
Ты падешь, страна родная;
    Я в чужбине гроб найду...»

И слова еще звучали...
    Вдруг... шумит священный лес...
И зефиры глас примчали:
    «Пал великий Ахиллес!»
Машут Фурии змиями,
    Боги мчатся к небесам...
И карающий громами
    Грозно смотрит на Пергам.

СВЕТЛАНА

А. А. ВОЕЙКОВОЙ

Раз в Крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат,
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Тускло светится луна
В сумраке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
«Что, подруженька, с тобой?
Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе колечко.
Пой, красавица: «кузнец,
Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом налое».—

«Как могу, подружки, петь?
Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.

Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит...
Иль не вспомнишь обо мне?
Где, в какой ты стороне?
Где твоя обитель?
Я молюсь и слезы лью!
Утоли печаль мою,
Ангел-утешитель».

Вот, в светлице стол накрыт
Белой пеленою;
И на том столе стоит
Зеркало с свечою;
Два прибора на столе.
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой:
Стукнет в двери милый твой
Легкою рукою;
Упадет с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;
К зеркалу садится;
С тайной робостью она
В зеркало глядится;
Темно в зеркале; кругом
Мертвое молчанье;
Свечка трепетным огнём
Чуть лиет сиянье...
Робость в ней волнует грудь,
Страшно ей назад взглянуть,
Страх туманит очи...
С треском пыхнул огонёк,
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи.

Подпершися локотком,
Чуть Светлана дышит...

Вот... легохонько замком
Кто-то стукнул, слышит;
Робко в зеркало глядит:
За ее плечами
Кто-то, чудилось, блестит
Яркими глазами...
Занялся от страха дух...
Вдруг, в ее влетает слух
Тихий, легкий шопот:
«Я с тобой, моя краса;
Укротились небеса;
Твой услышан ропот!»

Оглянулась... милый к ней
Простирает руки.
«Радость, свет моих очей,
Нет для нас разлуки.
Едем! Поп уж в церкви ждет
С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
Храм блестит свечами».
Был в ответ умильный взор;
Идут на широкий двор,
В ворота тесовы;
У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут
Повода шелковы.

Сели... кони с места враз;
Пышут дым ноздрями;
От копыт их поднялась
Вьюга над санями.
Скачут... пусто всё вокруг;
Степь в очах Светланы,
На луне туманный круг;
Чуть блестят поляны.
Сердце вещее дрожит;
Робко дева говорит:
«Что ты смолкнул, милый?»
Ни полслова ей в ответ:
Он глядит на лунный свет,
Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм;
Топчут снег глубокий...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокий;
Двери вихорь отворил;
Тьма людей во храме;
Яркий свет паникадил
Тускнет в фимиаме;
На средине черный гроб;
И гласит протяжно поп;
«Буди взят могилой!»
Пуще девица дрожит;
Кони мимо; друг молчит,
Бледен и унылой.

Вдруг мятелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Ворон каркает: *печаль*!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Подымая гривы;
Брезжет в поле огонёк;
Виден мирный уголок,
Хижинка под снегом.
Кони борзые быстрей,
Снег взрывая, прямо к ней
Мчатся дружным бегом.

Вот примчалися... и вмиг
Из очей пропали:
Кони, сани и жених,
Будто не бывали.
Одинокая в потьмах
Брошена от друга
В страшных девица местах;
Вкруг мятель и вьюга.
Возвратиться — следу нет...
Виден ей в избушке свет:
Вот перекрестилась;
В дверь с молитвою стучит...

Дверь шатнулася... скрыпит...
Тихо растворилась.

Что ж?.. В избушке гроб; накрыт
Белою запоной;
Спасов лик в ногах стоит;
Свечка пред иконой...
Ах! Светлана, что с тобой?
В чью зашла обитель?
Страшен хижины пустой
Безответный житель.
Входит с трепетом, в слезах;
Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась;
И с крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.

Всё утихло... вьюги нет...
Слабо свечка тлится,
То прольет дрожащий свет,
То опять затмится...
Всё в глубоком мертвом сне,
Страшное молчанье...
Чу, Светлана!.. в тишине
Легкое журчанье...
Вот, глядит: к ней в уголок
Белоснежный голубок
С светлыми глазами,
Тихо вея, прилетел,
К ней на перси тихо сел,
Обнял их крылами.

Смолкло всё опять кругом...
Вот, Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мертвый шевелится...
Сорвался покров; мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворены очи.
Вдруг... в устах сомкнутых стон;
Силится раздвинуть он,

Руки охладелы...
Что же девица?.. Дрожит...
Гибель близко... но не спит
Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул
Легкие он крилы;
К мертвецу на грудь вспорхнул...
Всей лишенный силы,
Простонав, заскрежетал
Страшно он зубами,
И на деву засверкал
Грозными очами...
Снова бледность на устах;
В закатившихся глазах
Смерть изобразилась...
Глядь, Светлана... о творец!
Милый друг ее — мертвец!
Ах!.. и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала, одна
Посреди светлицы;
В тонкий занавес окна
Светит луч денницы;
Шумным бьет крылом петух,
День встречая пеньем;
Всё блестит... Светланин дух
Смутен сновиденьем.
«Ах! ужасный, грозный сон!
Не добро вещает он —
Горькую судьбину;
Тайный мрак грядущих дней,
Что сулишь душе моей,
Радость иль кручину?»

Села (тяжко ноет грудь)
Под окном Светлана;
Из окна широкий путь
Виден сквозь тумана;
Снег на солнышке блестит,
Пар алеет тонкий...
Чу!.. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий;

На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
Санки кони рьяны;
Ближе; вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идёт...
Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; всё тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,
Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
Милы разговоры.
Отворяйся ж, божий храм;
Вы летите к небесам,
Верные обеты;
Собирайтесь стар и млад,
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте: многи леты!

Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.
Взором счастливый твоим,
Не хочу и славы;
Слава — нас учили — дым;
Свет судья лукавый.
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».

О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана...
Будь, создатель, ей покров!
Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;

В ней душа — как ясный день;
    Ах! да пронесется
Мимо — Бедствия рука;
Как приятный ручейка
    Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь её светла,
Будь веселость, как была,
    Дней ее подруга.

ПУСТЫННИК

«Веди меня, пустыни житель,
Святой анахорет;
Близка желанная обитель;
Приветный вижу свет.

Устал я: тьма кругом густая;
Запал в глуши мой след;
Безбрежней, мнится, степь пустая,
Чем дале я вперед».—

«Мой сын (в ответ пустыни житель),
Ты призраком прельщён:
Опасен твой путеводитель —
Над бездной светит он.

Здесь чадам нищеты бездомным
Отверзта дверь моя,
И скудных благ уделом скромным
Делюсь от сердца я.

Войди в гостеприимну келью;
Мой сын, перед тобой
И брашно с жесткою постелью,
И сладкий мой покой.

Есть стадо... но безвинных кровью
Руки я не багрил:
Меня творец своей любовью
Щадить их научил.

Обед снимаю непорочный
С пригорков и полей;
Деревья плод дают мне сочный,
Питье дает ручей.

Войди ж в мой дом — забот там чужды;
Нет блага в суете:
Нам малые даны здесь нужды,
На малый миг и те».

Как свежая роса денницы,
Был сладок сей привет;
И робкий гость, склоня зеницы,
Идет за старцем вслед.

В дичи глухой, непроходимой
Его таился кров —
Приют для сироты гонимой,
Для странника покров.

Непышны в хижине уборы,
Там бедность и покой;
И скрыпнули дверей растворы
Пред мирною четой.

И старец зрит гостеприимной,
Что гость его уныл,
И светлый огонек он в дымной
Печурке разложил.

Плоды и зелень предлагает
С приправой добрых слов;
Беседой скуку озлащает
Медлительных часов.

Кружится резвый кот пред ними;
В углу кричит сверчок;
Трещит меж листьями сухими
Блестящий огонёк.

Но молчалив пришлец угрюмый;
Печаль в его чертах;
Душа полна прискорбной думы;
И слезы на глазах.

Ему пустынник отвечает
Сердечною тоской.
«О юный странник, что смущает
Так рано твой покой?

Иль быть убогим и бездомным
Творец тебе судил?
Иль предан другом вероломным
Или вотще любил?

Увы! спокой себя: презренны
Утехи благ земных;
А тот, кто плачет, их лишенный,
Еще презренней их.

Приманчив дружбы взор лукавой:
Но ах! как тень, вослед
Она за счастием, за славой,
И прочь от хилых бед.

Любовь... любовь Прелест игрою;
Отрава сладких слов;
Незрима в мире; лишь порою
Живет у голубков.

Но, друг, ты робостью стыдливой
Свой нежный пол открыл».
И очи странник торопливой,
Краснея, опустил.

Краса сквозь легкий проникает
Стыдливости покров;
Так утро тихое сияет
Сквозь завес облаков.

Трепещут перси; взор склоненный;
Как роза, цвет ланит...
И деву-прелесть изумленный
Отшельник в госте зрит.

«Простишь ли, старец, дерзновенье,
Что робкою стопой,
Вошла в твое уединенье,
Где бог один с тобой?

Любовь надежд моих губитель,
Моих виновник бед;

Ищу покоя, но мучитель
Тоска за мною вслед.

Отец мой знатностию, славой
И пышностью гремел;
Я дней его была забавой;
Он всё во мне имел.

И рыцари стеклись толпою:
Мне предлагали в дар,
Те чистый, сходный с их душою,
А те притворный жар.

И каждый лестью вероломной
Привлечь меня мечтал...
Но в их толпе Эдвин был скромной;
Эдвин, любя, молчал.

Ему с смиренной нищетою
Судьба одно дала:
Пленять высокою душою;
Она моей была.

Роса на розе, цвет душистой
Фиалки полевой
Едва сравниться могут с чистой
Эдвиновой душой.

Но цвет, с небесною росою,
Живут единый миг:
Он одарен был их красою,
Я легкостию их.

Я гордой, хладною казалась;
Но мил он втайне был;
Увы! любя, я восхищалась,
Когда он слезы лил.

Несчастный! он не снес презренья;
В пустыню он помчал
Свою любовь, свои мученья —
И там в слезах увял.

Но я виновна; мне страданье;
    Мне увядать в слезах;
Мне будь пустыня та изгнанье,
    Где скрыт Эдвинов прах.

Над тихою его могилой
    Конец свой встречу я —
И приношеньем тени милой
    Пусть будет жизнь моя». —

«Мальвина!» — старец восклицает,
    И пал к ее ногам...
О чудо! их Эдвин лобзает;
    Эдвин пред нею сам.

«Друг незабвенный, друг единой!
    Опять, навек я твой!
Полна душа моя Мальвиной —
    И здесь дышал тобой.

Забудь о прошлом; нет разлуки;
    Сам бог вещает нам:
Всё в жизни, радости и муки,
    Отныне пополам.

Ах! будь и самый час кончины
    Для двух сердец один:
Да с милой жизнию Мальвины
    Угаснет и Эдвин».

АДЕЛЬСТАН

День багрянил, померкая,
Скат лесистых берегов;
Реин, в зареве сияя,
Пышен тек между холмов.

Он летучей влагой пены
Замок Аллен орошал;
Терема зубчаты стены
Он в потоке отражал.

Девы красные толпою
Из растворчатых ворот
Вышли на берег — игрою
Встретить месяца восход.

Вдруг плывет, к ладье прикован
Белый лебедь по реке;
Спит, как будто очарован
Юный рыцарь в челноке.

Алым парусом играет
Легкокрылый ветерок,
И ко брегу приплывает
С спящим рыцарем челнок.

Белый лебедь встрепенулся
Распустил криле свои;
Дивный плаватель проснулся —
И выходит из ладьи.

И по Реину обратно,
С очарованной ладьей,
Поплыл тихо лебедь статной
И сокрылся из очей.

Рыцарь в зáмок Аллен входит:
Всё в нем прелесть — взор и стан;
В изумленье всех приводит
Красотою Адельстан.

Меж красавицами Лора
В замке Аллена была
Видом ангельским для взора,
Для души душой мила.

Графы, герцоги толпою
К ней стеклись из дальних стран —
Но умом и красотою
Всех был краше Адельстан.

Он у всех залог победы
На турнирах похищал;
Он вечерние беседы
Всех милее оживлял.

И приветны разговоры,
И приятный блеск очей
Влили нежность в сердце Лоры —
Милый стал супругом ей.

Исчезает сновиденье —
Вслед за днями мчатся дни:
Их в сердечном упоенье
И не чувствуют они.

Лишь случается порою,
Что, на воды взор склонив,
Рыцарь бродит над рекою,
Одинок и молчалив.

Но при взгляде нежной Лоры
Возвращается покой;
Оживают тусклы взоры
С оживленною душой.

Невидимкой пролетает
Быстро время — наконец,

Улыбаясь, возвещает
    Другу Лора: ты отец!

Но безмолвно и уныло
    На младенца смотрит он.
Ах! — он мыслит — ангел милой,
    Для чего ты в свет рожден?

И когда обряд крещенья
    Патер должен был свершить,
Чтоб водою искупленья
    Душу юную омыть:

Как преступник перед казнью,
    Адольстан затрепетал;
Взор наполнился боязнью;
    Хлад по членам пробежал.

Запинаясь, умоляет
    День обряда отложить.
«Сил недуг меня лишает
    С вами радость разделить!»

Солнце спряталось за гору;
    Окропился луг росой;
Он зовет с собою Лору
    Встретить месяц над рекой.

«Наш младенец будет с нами:
    При дыханье ветерка,
Тихоструйными волнами
    Усыпит его река».

И пошли рука с рукою...
    День на холмах догорал;
Молча, сумрачен душою,
    Рыцарь сына лобызал.

Вот уж поздно; солнце село;
    Отуманился поток;
Черен берег опустелой;
    Холодеет ветерок.

Рыцарь всё молчит, печален;
Всё идет вдоль по реке;
Лоре страшно; замок Аллен
С час как скрылся вдалеке.

«Поздно, милый; уж седеет
Мгла сырая над рекой;
С вод холодный ветер веет;
И дрожит младенец мой». —

«Тише, тише! Пусть седеет
Мгла сырая над рекой;
Грудь моя младенца греет;
Сладко спит младенец мой». —

«Поздно, милый; поневоле
Страх в мою теснится грудь;
Месяц бледен; сыро в поле;
Долог нам до замка путь». —

Но молчит, как очарован,
Рыцарь, глядя на реку...
Лебедь там плывет, прикован
Легкой цепью к челноку.

Лебедь к берегу — и с сыном
Рыцарь сесть в челнок спешит;
Лора вслед за паладином...
Обомлела и дрожит.

И, осанясь, лебедь статной
Легкой цепию повлёк
Вдоль по Реину обратно
Очарованный челнок.

Небо в Реине дрожало,
И луна из дымных туч
На ладью сквозь парус алой
Проливала темный луч.

И плывут они безмолвны;
За кормой струя бежит;

Тихо плещут в лодку волны;
    Парус вздулся и шумит.

И на береге молчанье;
    И на месяце туман;
Лора в робком ожиданье;
    В смутной думе Адельстан.

Вот уж ночи половина;
    Вдруг... младенец стал кричать.
«Адельстан, отдай мне сына!» —
    Возопила в страхе мать.

«Тише, тише; он с тобою.
    Скоро... ах! кто даст мне сил?
Я ужасною ценою
    За блаженство заплатил.

Спи, невинное творенье;
    Мучит душу голос твой.
Спи, дитя; еще мгновенье,
    И навек тебе покой».

Лодка к брегу — рыцарь с сыном
    Выйти на берег спешит;
Лора вслед за паладином,
    Пуще млеет и дрожит.

Страшен берег обнаженный;
    Нет ни жила, ни древес;
Черен, дик, уединенный,
    В стороне стоит утес.

И пещера под скалою —
    В ней не зрело око дна;
И чернеет пред луною
    Страшным мраком глубина.

Сердце Лоры замирает;
    Смотрит робко на утес.
Звучно к бездне восклицает
    Паладин: я дань принес.

В бездне звуки отразились;
Отзыв грянул вдоль реки;
Вдруг... из бездны появились
Две огромные руки.

К ним приблизил рыцарь сына...
Цепенеющая мать,
Возопив, у паладина
Жертву бросилась отнять.

И воскликнула: спаситель!..
Глас достигнул к небесам:
Жив младенец, а губитель
Ниспровергнут в бездну сам.

Страшно, страшно застонало
В грозных сжавшихся когтях...
Вдруг всё пусто, тихо стало
В глубине и на скалах.

ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

На Посидонов пир веселый,
Куда стекались чада Гелы
Зреть бег коней и бой певцов,
Шел Ивик, скромный друг богов.
Ему с крылатою мечтою
Послал дар песней Аполлон:
И с лирой, с легкою клюкою,
Шел, вдохновенный, к Истму он.

Уже его открыли взоры
Вдали Акрокоринф и горы,
Слиянны с синевой небес.
Он входит в Посидонов лес...
Всё тихо: лист не колыхнется;
Лишь журавлей по вышине
Шумящая станица вьется
В страны полуденны к весне.

«О спутники, ваш рой крылатый,
Досель мой верный провожатый,
Будь добрым знамением мне.
Сказав: прости! родной стране,
Чужого брега посетитель,
Ищу приюта, как и вы;
Да отвратит Зевес-хранитель
Беду от странничьей главы».

И с твердой верою в Зевеса
Он в глубину вступает леса;
Идет заглохшею тропой...
И зрит убийц перед собой.
Готов сразиться он с врагами;
Но час судьбы его приспел:
Знакомый с лирными струнами,
Напрячь он лука не умел.

К богам и к людям он взывает...
Лишь эхо стоны повторяет —
В ужасном лесе жизни нет.
«И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И не оплакан от друзей;
И сим врагам не будет мщенья,
Ни от богов, ни от людей».

И он боролся уж с кончиной...
Вдруг... шум от стаи журавлиной;
Он слышит (взор уже угас)
Их жалобно-стенящий глас.
«Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову!
Да грянет, привлеченный вами,
Зевесов гром на их главу».

И труп узрели обнаженный:
Рукой убийцы искаженны
Черты прекрасного лица.
Коринфский друг узнал певца.
«И ты ль недвижим предо мною?
И на главу твою, певец,
Я мнил торжественной рукою
Сосновый положить венец».

И внемлют гости Посидона,
Что пал наперсник Аполлона...
Вся Греция поражена;
Для всех сердец печаль одна.
И с диким ревом исступленья
Пританов окружил народ,
И вопит: «Старцы, мщенья, мщенья!
Злодеям казнь, их сгибни род!»

Но где их след? Кому приметно
Лицо врага в толпе несметной
Притекших в Посидонов храм?
Они ругаются богам.
И кто ж — разбойник ли презренный,
Иль тайный враг удар нанес?

Лишь Гелиос то зрел священный,
Всё озаряющий с небес.

С подъятой, может быть, главою,
Между шумящею толпою,
Злодей сокрыт в сей самый час,
И хладно внемлет скорби глас;
Иль в капище, склонив колени,
Жжет ладан гнусною рукой;
Или теснится на ступени
Амфитеатра за толпой,

Где, устремив на сцену взоры
(Чуть могут их сдержать подпоры),
Пришед из ближних, дальних стран,
Шумя, как смутный океан,
Над рядом ряд, сидят народы;
И движутся, как в бурю лес,
Людьми кипящи переходы,
Всходя до синевы небес.

И кто сочтет разноплеменных,
Сим торжеством соединенных?
Пришли отвсюду: от Афин,
От древней Спарты, от Микин,
С пределов Азии далёкой,
С Эгейских вод, с Фракийских гор...
И сели в тишине глубокой,
И тихо выступает хор.

По древнему обряду, важно,
Походкой мерной и протяжной,
Священным страхом окружён,
Обходит вкруг театра он.
Не шествуют так персти чада;
Не здесь их колыбель была.
Их стана дивная громада
Предел земного перешла.

Идут с поникшими главами,
И движут тощими руками
Свечи, от коих темный свет;
И в их ланитах крови нет;

Их мертвы лица, очи впалы;
И свитые меж их власов
Эхидны движут с свистом жалы,
Являя страшный ряд зубов.

И стали вкруг, сверкая взором;
И гимн запели диким хором,
В сердца вонзающий боязнь;
И в нем преступник слышит: *казнь*!
Гроза души, ума смутитель,
Эринний страшный хор гремит;
И, цепенея, внемлет зритель;
И лира, онемев, молчит:

«Блажен, кто незнаком с виною,
Кто чист младенчески душою!
Мы не дерзнем ему вослед;
Ему чужда дорога бед...
Но вам, убийцы, горе, горе!
Как тень, за вами всюду мы,
С грозою мщения во взоре,
Ужасные созданья тьмы.

Не мните скрыться — мы с крылами;
Вы в лес, вы в бездну — мы за вами;
И, спутав вас в своих сетях,
Растерзанных бросаем в прах.
Вам покаянье не защита;
Ваш стон, ваш плач — веселье нам;
Терзать вас будем до Коцита,
Но не покинем вас и там».

И песнь ужасных замолчала;
И над внимавшими лежала,
Богинь присутствием полна,
Как над могилой, тишина.
И тихой, мерною стопою
Они обратно потекли,
Склонив главы, рука с рукою,
И скрылись медленно вдали.

И зритель — зыблемый сомненьем
Меж истиной и заблужденьем —

Со страхом мнит о силе той,
Которая, во мгле густой
Скрываяся, неизбежима,
Вьет нити роковых сетей,
Во глубине лишь сердца зрима,
Но скрыта от дневных лучей.

И всё, и всё еще в молчанье...
Вдруг на ступенях восклицанье:
«Парфений, слышишь?.. Крик вдали —
То Ивиковы журавли!..»
И небо вдруг покрылось тьмою;
И воздух весь от крыл шумит;
И видят... черной полосою
Станица журавлей летит.

«Что? Ивик!..» Всё поколебалось —
И имя Ивика помчалось
Из уст в уста... шумит народ,
Как бурная пучина вод.
«Наш добрый Ивик! наш сраженный
Врагом незнаемым поэт!..
Что, что в сем слове сокровенно?
И что сих журавлей полет?»

И всем сердцам в одно мгновенье,
Как будто свыше откровенье,
Блеснула мысль: «Убийца тут;
То Эвменид ужасных суд;
Отмщенье за певца готово;
Себе преступник изменил.
К суду и тот, кто молвил слово,
И тот, кем он внимаем был!»

И бледен, трепетен, смятенный,
Незапной речью обличенный,
Исторгнут из толпы злодей:
Перед седалище судей
Он привлечен с своим клевретом;
Смущенный вид, склоненный взор,
И тщетный плач был их ответом;
И смерть была им приговор.

БАЛЛАДА
В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ОДНА СТАРУШКА ЕХАЛА НА ЧЕРНОМ КОНЕ ВДВОЕМ, И КТО СИДЕЛ ВПЕРЕДИ

На кровле вран печально прокричал...
Старушка слышит и бледнеет!
Ужасну весть ей черный вран сказал...
Над ней час смерти тяготеет.

И вопит скорбно: «Где мой сын чернец?
Ему сказать мне слово дайте!
Увы! я гибну! близок мой конец!
Скорей! скорей! не опоздайте!»

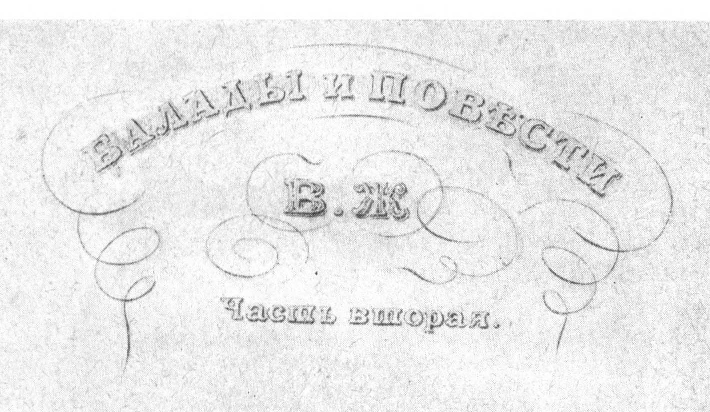
И к матери идет чернец святой —
Ее услышать покаянье!
И тайные дары несет с собой,
Чтоб утолить ее страданье!

Но лишь пришел к одру с дарами он,
Старушка в трепете завыла;
Как смерти крик, ее протяжный стон...
«Не приближайся! — возопила. —

Не подноси ко мне святых даров!
Уже не в пользу покаянье!»
Был страшен вид ее седых власов!
И страшно груди колыханье.

Дары святые сын отнес назад,
И к страждущей приходит снова;
Кругом бродил ее потухший взгляд;
Язык искал, немея, слова:

«Вся жизнь моя в грехах погребена!
Меня отвергнул искупитель!
Твоя ж душа молитвой спасена!
Ты будь души моей спаситель!





САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1831.

Титульный лист отдельного издания Баллад и повестей.

Здесь вместо дня была мне ночи мгла!
Я кровь младенцев похищала,
Власы невест в огне волшебном жгла,
И кости мертвых отрывала.

И казнь лукавый обольститель мой
Уж мне готовит в адской злобе!
И я, смутив чужих гробов покой,
В своем не успокоюсь гробе.

Ах! не забудь моих последних слов:
Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.

Чтоб из свинца мой крепкий гроб был слит,
Семью окован обручами,
Во храм внесен, у алтаря прибит
К помосту крепкими цепями.

И цепи окропи святой водой!
Чтобы священники собором
И день и ночь стояли надо мной
И пели панихиду хором.

Чтоб пятьдесят на клиросах дьячков
За ними в черных рясах пели;
Чтоб день и ночь свечи у образов
Из воску белого горели;

Чтобы звучней во все колокола
С молитвой день и ночь звонили;
Чтоб заперта во храме дверь была;
Чтоб дьяконы пред ней кадили;

Чтоб крепок был запор церковных врат;
Чтобы с полуночного бденья
Он ни на миг с растворов не был снят
До солнечного восхожденья!

С обрядом тем молитеся три дня,
Три ночи сряду надо мною:

Чтоб не достиг губитель до меня,
Чтоб прах мой принят был землею».

И глас ее быть слышен перестал;
Померкши очи закатились;
Последний вздох в груди затрепетал;
Уста, охолодев, раскрылись.

И хладный труп, и саван гробовой,
И гроб под черной пеленою
Священники с приличною мольбой
Опрыскали святой водою.

Семь обручей на гроб положены;
Три цепи тяжкими винтами
Вонзились в гроб и с ним утверждены
В помост пред царскими дверями.

И вспрыснуты они святой водой!
И все священники в собранье!
Чтоб день и ночь душе на упокой
Свершать во храме поминанье!

Поют дьячки все в черных стихарях
Медлительными голосами;
Горят свечи надгробны в их руках,
Горят свечи пред образами.

Протяжный глас, и бледный лик певцов,
Печальный, страшный сумрак храма,
И тихий гроб, и длинный ряд попов
В тумане зыбком фимиама,

И горестный чернец пред алтарем,
Творящий до земли поклоны,
И в высоте дрожащим свеч огнем
Чуть озаренные иконы...

Ужасный вид! колокола звонят!
Уж час полуночного бденья...
И заперлись растворы тяжких врат
По совершении моленья.

И в перву ночь от свеч веселый блеск!..
И вдруг... к полночи за вратами
Ужасный вой, ужасный гром и треск!
И слышалось: гремят цепями;

Железных врат затвор, стуча, дрожит!
Звонят на колокольне звонче;
Молитву клир усерднее творит,
И пение поющих громче!

Гудят колокола, дьячки поют,
Попы молитвы вслух читают,
Чернец в слезах, в кадилах ладан жгут,
И свечи яркие пылают.

Запел петух — и смолкнувши бегут
Враги, не совершив ловитвы —
Смелей дьячки на клиросах поют;
Смелей попы творят молитвы.

В другую ночь... от свеч темнее свет!
И слабо теплются кадилы!
И гробовой у всех на лицах цвет,
Как будто встали из могилы.

И снова стук, и рев, и треск у врат;
Грызут замок, в затворы рвутся!
Как будто вихрь, как будто шумный град,
Как будто воды с гор несутся.

Пред алтарем чернец на землю пал!
Священники творят поклоны!
И дым от свеч туманных побежал,
И потемнели все иконы.

Сильнее стук! звучней колокола,
И трепетней поющих голос:
В крови их хлад; объемлет очи мгла;
Дрожат колени; дыбом волос.

Петух запел... и прочь враги бегут
Опять не совершив ловитвы;

И стихло всё! дьячки смелей поют,
Попы смелей вторят молитвы.

На третью ночь свечи едва горят!
И дым густой и запах серный!
Как ряд теней, попы во мгле стоят;
Чуть виден гроб во мраке черный!

И звонари от страха чуть звонят,
И руки им служить невольны;
Час-от-часу страшнее гром у врат,
И звон слабее колокольный.

Дрожа, упал чернец пред алтарем;
Молиться силы нет; во прахе
Лежит, к земле приникнувши лицом;
Главу поднять не смеет в страхе.

И певчих хор, доселъ согласный, стал
Нестройным криком от смятенья!
Им чудилось, что церковь зашатал
Как бы удар землетрясенья.

И раздалось... как будто оный глас,
Который грянет над гробами;
И храма дверь со стуком затряслась
И на пол рухнула с петлями.

И *он* предстал... весь в пламени очам.
Свирепый, мрачный, разъяренной!
И вкруг его огромный божий храм
Казался печью раскаленной!

Едва сказал: исчезните! цепям —
Они рассыпались золою;
Едва рукой коснулся к обручам —
Они истлели под рукою.

И вскрылся гроб! *Он* к телу вопиёт:
Восстань! иди вослед владыке!
И проступил от слов сих хладный пот
На мертвом, неподвижном лике!

И тихо труп со стоном тяжким встал,
Покорен страшному призванью;
И никогда здесь смертный не слыхал
Подобного тому стенанью!

И ко вратам пошла она с врагом!
Там зрелся конь чернее ночи!
Храпит и ржет, и пышет он огнём!
И как пожар пылали очи!

И на коня добычу взбросил враг!
И сел вперед! и быстротечно
Конь полетел, взвивая дым и прах!..
И слух об ней пропал навечно!

Никто не зрел, как с нею мчался *он*...
Лишь страшный след нашли на прахе!
Лишь внемля крик, всю ночь сквозь тяжкий сон,
Младенцы вздрагивали в страхе.

ВАРВИК

Никто не зрел, как ночью бросил в волны
Эдвина злой Варвик;
И слышали одни брега безмолвны
Младенца жалкий крик.

От подданных погибшего губитель
Владыкой признан был —
И в Ирлингфор уже, как повелитель,
Торжественно вступил.

Стоял среди цветущия равнины
Старинный Ирлингфор,
И пышные с высот его картины
Повсюду видел взор.

Авон, шумя под древними стенами,
Их пеной орошал,
И низкий брег с лесистыми холмами
В струях его дрожал.

Там пламенел брегов на тихом склоне
Закат сквозь редкий лес;
И трепетал во дремлющем Авоне
С звездами свод небес.

Вдали, вблизи рассыпанные села
Дымились по утрам;
От резвых стад равнина вся шумела,
И вторил лес рогам.

Спешил, с пути прохожий совратяся,
На Ирлингфор взглянуть,
И, красотой картин его пленяся,
Он забывал свой путь.

Один Варвик был чужд красам природы:
Вотще в его глазах
Цветут леса, вияся блещут воды,
И радость на лугах.

И устремить, трепещущий, не смеет
Он взора на Авон:
Оттоль зефир во слух убийцы веет
Эдвинов жалкий стон.

И в тишине безмолвной полуночи
Всё тот же слышен крик,
И чудятся блистающие очи,
И бледный, страшный лик.

Вотще Варвик с родных брегов уходит —
Приюта в мире нет:
Страшилищем ужасным совесть бродит
Везде за ним вослед.

И он пришел опять в свою обитель:
А сладостный покой,
И бедности веселый посетитель,
В дому его чужой.

Часы стоят, окованы тоскою;
А месяцы бегут...
Бегут — и день убийства за собою
Невидимо несут.

Он наступил; со страхом провожает
Варвик ночную тень:
Дрожи! (ему глас совести вещает)
Эдвинов смертный день!

Ужасный день: от молний небо блещет;
Отвсюду вихрей стон;
Дождь ливмя-льет; волнами с воем плещет
Разлившийся Авон.

Вотще Варвик, среди веселий шума,
Цедит в бокал вино:

С ним за столом садится рядом Дума:
Питье отравлено.

Тоскующий и грозный призрак бродит
В толпе его гостей;
Везде пред ним: с лица его не сводит
Пронзительных очей.

И день угас... Варвик спешит на ложе...
Но и в тиши ночной,
И на одре уединенном то же;
Там сон, а не покой.

И мнит он зреть пришельца из могилы,
Тень брата пред собой!
В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый,
И голос гробовой.

Таков он был, когда встречал кончину;
И тот же слышен глас,
Каким молил он быть отцом Эдвину
Варвика в смертный час:

«Варвик, Варвик, свершил ли данно слово?
Исполнен ли обет?
Варвик, Варвик, возмездие готово;
Готов ли твой ответ?»

Воспрянул он — глас смолкнул — разъяренно
Один во мгле ночной
Ревел Авон — но для души смятенной
Был сладок бури вой.

Но вдруг — и въявь, средь шума и волненья
Раздался смутный крик:
«Спеши, Варвик, спастись от потопленья;
Беги, беги, Варвик!»

И к берегу он мчится — под стеною
Уже Авон кипит;
Глухая ночь; одето небо мглою;
И месяц в тучах скрыт.

И молит он с подъятыми руками:
«Спаси, спаси, творец!»
И вдруг — мелкнул челнок между волнами;
И в челноке пловец.

Варвик зовет, Варвик манит рукою —
Не внемля шума волн,
Пловец сидит спокойно над кормою,
И правит к брегу челн.

И с трепетом Варвик в челнок садится —
Стрелой помчался он...
Молчит пловец... молчит Варвик... вот, мнится,
Им слышен тяжкий стон.

На спутника уставил кормщик очи;
«Не слышался ли крик?» —
«Нет; просвистал в твой парус ветер ночи, —
Смутясь, сказал Варвик. —

Правь, кормщик, правь, не скоро челн домчится,
Гроза со всех сторон».
Умолкнули... плывут... вот, снова мнится,
Им слышен тяжкий стон.

«Младенца крик! он борется с волною;
На помощь он зовет!» —
«Правь, кормщик, правь, река покрыта мглою;
Кто там его найдет?» —

«Варвик, Варвик, час смертный зреть ужасно;
Ужасно умирать;
Варвик, Варвик, младенцу ли напрасно
Тебя на помощь звать?» —

«Во мгле ночной он бьется меж водами;
Облит он хладом волн;
Еще его не видим мы очами;
Но он... наш видит челн!»

И снова крик слабеющий, дрожащий,
И близко челнока...

Вдруг в высоте рог месяца блестящий
Прорезал облака;

И с яркими слиялася лучами,
Как дым прозрачный, мгла,
Зрят на скале дитя между волнами,
И тонет уж скала.

Пловец гребет; челнок летит стрелою;
В смятении Варвик;
И озарен младенца лик луною;
И страшно бледен лик.

Варвик дрожит — и руку, страха полный,
К младенцу протянул —
И, со скалы спрыгнув младенец в волны,
К его руке прильнул.

И вмиг... дитя, челнок, пловец незримы;
В руках его мертвец:
Эдвинов труп, холодный, недвижимый,
Тяжелый, как свинец.

Утихло всё — и небеса и волны:
Исчез в водах Варвик;
Лишь слышали одни брега безмолвны
Убийцы страшный крик.

АЛИНА И АЛЬСИМ

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали —
Всему конец.
Что пользы в платье золотое
Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить.

Когда случится, жизни в цвете,
Сказать душой
Ему: *ты будь моя на свете*;
А ей: *ты мой*;
И вдруг придется для другого
Любовь забыть —
Что жребия страшней такого?
И льзя ли жить?

Алина матери призналась:
«Мне мил Альсим;
Давно я втайне поменялась
Душою с ним;
Давно *люблю* ему сказала;
Дай счастье нам». —
«Нет, дочь моя, за генерала
Тебя отдам».

И в монастырь святой Ирины
Отвозит дочь.
Тоска-печаль в душе Алины
И день и ночь.
Три года длилося изгнанье;
Не усладил
Ни разу друг ее страданье:
Но всё он мил.

Однажды... о! как свет коварен!..
Сказала мать:
«Любовник твой неблагодарен»,
И ей читать
Она дает письмо Альсима.
Его черты:
Прости; другая мной любима;
Свободна ты.

Готово всё: жених приходит;
Идут во храм;
Вокруг налоя их обводит
Священник там.
Увы! Алина, что с тобою?
Кто твой супруг?
Ты сердца не дала с рукою —
В нем прежний друг!

Как смирный агнец на закланье,
Вся убрана;
Вокруг веселье, ликованье —
Она грустна.
Алмазы, платья, ожерелья
Ей мать дарит:
Напрасно... прежнего веселья
Не возвратит.

Но как же дни свои смиренно
Ведет она!
Вся жизнь семье уединенной
Посвящена.
Алины сердце покорилось
Судьбе своей;
Супругу ж то, что сохранилось
От сердца ей.

Но всё, попрежнему, печали
Душа полна;
И что бы взоры ни встречали —
Всё мысль одна.
Так безутешная томила
Пять лет себя,

Всё упрекая, что любила,
И всё любя.

Разлуки жизнь воспоминанье;
Им полон свет;
Хотеть прогнать его — страданье,
А пользы нет.
Всё поневоле улетаем
К мечте своей;
Твердя: забудь! напоминаем
Душе об ней.

Однажды, приуныв, Алина
Сидела; вдруг
Купца к ней вводит армянина
Ее супруг.
«Вот цепи, дорогие шали,
Жемчуг, коралл;
Они лекарство от печали:
Я так слыхал.

На что нам деньги? На веселье.
Кому их жаль?
Купи, что хочешь: ожерелье,
Цепочку, шаль,
Или жемчуг у армянина;
Вот кошелёк;
Я скоро возвращусь, Алина;
Прости, дружок».

Товары перед ней открывши,
Купец молчит;
Алина голову склонивши,
Как не глядит.
Он, взор потупя, разбирает
Жемчуг, алмаз;
Подносит, молча; но вздыхает
Он каждый раз.

Блистала красота младая
В его чертах;
Но бледен; борода густая;
Печаль в глазах.

Мила для взора живость цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.

Она не видит, не внимает —
Мысль далеко.
Но часто, часто он вздыхает,
И глубоко.
Что (мыслит) он такой унылой?
Чем огорчён?
Ах! если потерял, что мило,
Как жалок он!

«Скажи, что сделалось с тобою?
О чем печаль?
Не от любви ль?.. Ах! всей душою
Тебя мне жаль».—
«Что пользы? Горя нам словами
Не утолить!
И невозвратного слезами
Не возвратить.

Одно сокровище бесценно
Я в мире знал;
Подобного творец вселенной
Не создавал.
И я одно имел в предмете:
Им обладать.
За то бы рад был всё на свете —
И жизнь отдать.

Как было сладко любоваться
Им в день сто раз!
И в мыслях я не мог расстаться
С ним ни на час.
Но року вздумалось лихому
Мне повредить,
И счастие мое другому
С ним подарить.

Всех в жизни радостей лишенный,
С моей тоской

Я побежал, как осужденный,
На край земной:
Но ах! от сердца то, что мило
Кто оторвет?
Что раз оно здесь полюбило,
С тем и умрет».—

«Скажи же, что твоя утрата?
Златой бокал?»—
«О нет: оно милее злата!»—
«Рубин, коралл?»—
«Не тяжко потерять их!» — «Что же?
Царев алмаз?»—
«Нет, нет, алмазов всех дороже
Оно сто раз.

С тех пор, как я всё то, что льстило,
В нем погубил,
Я сам, на память, образ милой
Изобразил.
И на черты его прелестны
Смотрю в слезах:
Мои все блага поднебесны
В его чертах».

Алина слушала уныло
Его рассказ.
«Могу ль на этот образ милый
Взглянуть хоть раз?»
Алине, молча, как убитый,
Он подает
Парчею досканец обвитый,
Сам слезы льет.

Алина робкою рукою
Парчу сняла;
Дощечка с надписью златою;
Она прочла:
Здесь всё, что я осиротелой
Моим зову;
Что мне от счастья уцелело:
Всё, чем живу.

Дощечку с трепетом раскрыла —
И что же там?
Что новое судьба явила
Ее очам?
Дрожит, дыханье прекратилось...
Какой предмет!
И в ком бы сердце не смутилось?..
Ее портрет.

«Алина, пробудись, друг милой;
С тобою я.
Ничто души не изменило;
Она твоя:
В последний раз: люблю Алину,
Пришел сказать;
Тебя покинуть, жизнь покину,
Чтоб не страдать».

Алина с горем и тоскою
Ему в ответ:
«Альсим, я верной быть женою
Дала обет.
Хоть долг и тяжкой и постылой:
Всё покорись:
А ты — не умирай, друг милой;
Но... удались».

Алине руку на прощанье
Он подает;
Она берет ее в молчанье
И к сердцу жмет.
Вдруг входит муж; как в исступленье
Он задрожал,
И им во грудь в одно мгновенье
Вонзил кинжал.

Альсима нет; Алина дышит:
«Невинна я
(Так говорит) всевышний слышит
Нас судия.
За что ж рука твоя пронзила
Алине грудь?

Но бог с тобой; я всё простила;
Ты всё забудь».

Убийца с той поры томится
И ночь и день:
Повсюду вслед за ним влачится
Алины тень;
Обагрена кровавым током
Вся грудь ея;
И говорит ему с упрёком:
Невинна я.

ЭЛЬВИНА И ЭДВИН

В излучине долины сокровенной,
Там, где блестит под рощею поток,
Стояла хижина, смиренной
Покоя уголок.

Эльвина там красавица таилась —
В ней зрела мать подпору дряхлых дней,
И только об одном молилась:
«Все блага жизни ей».

Как лилия, была чиста душою,
И пламенел румянец на щеках —
Так разливается весною
Денница в облаках.

Всех юношей Эльвина восхищала;
Для всех подруг красой была страшна,
И, чудо прелестей, не знала
Об них одна она.

Пришел Эдвин. Без всякого искусства
Эдвинова пленяла красота:
В очах веселых пламень чувства,
А в сердце простота.

И заключен святой союз сердцами:
Душе легко в родной душе читать;
Легко, что сказано очами,
Устами досказать.

О! сладко жить, когда душа в покое,
И с тем, кто мил, начав, кончаешь день;
Вдвоем и радости все вдвое...
Но ах! они как тень.

Лишь золото любил отец Эдвина;
Для жалости он сердца не имел;
Эльвине же дала судьбина
Одну красу в удел.

С холодностью смотрел старик суровой
На их любовь — на счастье двух сердец.
«Расстаньтесь!» — роковое слово
Сказал он наконец.

Увы, Эдвин! В какой борьбе в нем страсти!
И ни одной нет силы победить...
Как не признать отцовской власти?
Но как же не любить?

Прелестный вид, пленительные речи,
Восторг любви — всё было только сон;
Он розно с ней; он с ней и встречи
Бояться осуждён.

Лишь по утрам, чтоб видеть след Эльвины,
Он из кустов смотрел, когда она
Шла по излучине долины,
Печальна и одна;

Или, когда являя месяц роги,
Туманный свет на рощи наводил,
Он, грустен, вдоль большой дороги
До полночи бродил.

Задумчивый, он часто по кладбищу
При склоне дня ходил среди крестов:
Его тоске давало пищу
Спокойствие гробов.

Знать, гроб ему предчувствие сулило!
Уже ланит румяный цвет пропал;
Их горе бледностью покрыло...
Несчастный увядал.

И не спасут его младые леты;
Вотще в слезах над ним его отец;

Вотще и вопли и обеты!..
Всему, всему конец.

И молит он: «Друзья, из сожаленья!..
Хотя бы раз мне на нее взглянуть!..
Ах! дайте, дайте от мученья
При ней мне отдохнуть».

Она пришла: но взор любви всесильный
Уже тебя, Эдвин, не воскресит:
Уже готов покров могильный,
И гроб уже открыт.

Смотри, смотри, несчастная Эльвина,
Как изменил его последний час:
Ни тени прежнего Эдвина;
Лик бледный, слабый глас.

В знак верности он подает ей руку,
И на нее взор томный устремил:
Как сильно вечную разлуку
Сей взор изобразил!

И в тьме ночной, покинувши Эдвина,
Домой одна вблизи кладбища шла,
Души не чувствуя, Эльвина;
Кругом густела мгла.

От севера подъемлясь, ветер хладной
Качал, свистя во мраке, дерева;
И выла на стене оградной
Полночная сова.

И вся душа в Эльвине замирала;
И взор ее во всем его встречал;
Казалось — тень его летала;
Казалось — он стонал.

Но... вот и въявь уж слышится Эльвине:
Вдали провыл уныло тяжкий звон;
Как смерти голос, по долине
Промчавшись, стихнул он.

И к матери без памяти вбежала —
Бледна, и свет в очах ее темнел.
«Прости, всё кончилось! — сказала: —
Мой ангел улетел!

Благослови... зовут... иду к Эдвину...
Но для тебя мне жаль покинуть свет».
Умолкла... мать зовет Эльвину...
Эльвины больше нет.

АХИЛЛ

Отуманилася Ида;
Омрачился Илион;
Спит во мраке стан Атрида;
На равнине битвы сон.
Тихо всё... курясь, сверкает
Пламень гаснущих костров,
И протяжно окликает
Стражу стража близ шатров.

Над Эгейских вод равниной
Светел всходит рог луны;
Звезды спящею пучиной
И брега отражены;
Виден в поле опустелом
С колесницею Приам:
Он за Гекторовым телом
От шатров идет к стенам.

И на бреге близ кургана
Зрится сумрачный Ахилл;
Он один, далек от стана,
Он главу на длань склонил.
Смотрит в даль — там с колесницей
На пути Приама зрит:
Отирает багряницей
Слезы бедный царь с ланит.

Лиру взял; ударил в струны;
Тих его печальный глас:
«Старец, пал твой Гектор юный;
Свет души твоей угас;
И Гекуба, Андромаха
Ждут тебя у градских врат
С ношей милого им праха...
Жизнь и смерть им твой возврат.

И с денницею печальной
    Воскурится фимиам,
Огласятся погребальной
    Песнью каждый дом и храм;
Мать, отец, вдова с мольбою
    Пепел в урну соберут,
И молитвы их герою
    Мир в стране теней дадут.

О Приам, ты пред Ахиллом
    Здесь во прах главу склонял;
Здесь молил о сыне милом,
    Здесь, несчастный, ты лобзал
Руку, слез твоих причину...
    Ах! не сетуй; глас небес
Нам одну изрек судьбину:
    И меня постиг Зевес.

Близок час мой; роковая
    Приготовлена стрела;
Парка, жребию внимая,
    Дни мои уж отвила;
И скрипят врата Аида;
    И вещает грозный глас:
Всё свершилось для Пелида;
    Факел дней его угас!

Верный друг мой взят могилой;
    Брата бой меня лишил —
Вслед за ним с земли унылой
    Удалится и Ахилл.
Так судил мне Рок жестокой:
    Я паду в весне моей
На чужом брегу, далёко
    От Пелеевых очей.

Ах! и сердце запрещает
    Доле жить в земном краю,
Где уж друг не услаждает
    Душу сирую мою.
Гектор пал — его паденьем
    Тень Патрокла я смирил;

Но себе за друга мщеньем
    Путь к Тенару проложил.

Ты не жди, Менетий, сына;
    Не придет он в отчий дом...
Здесь Эгейская пучина
    Пред его шумит холмом;
Спит он... смерть сковала длани,
    Позабыл ко славе путь;
И призывный голос брани
    Не вздымает хладну грудь.

И Ахилл не возвратится;
    В доме отчем пустота
Скоро, скоро водворится...
    О Пелей, ты сирота.
Пронесется буря брани —
    Ты Ахилла будешь ждать,
И чертог свой в новы ткани
    Для приема убирать;

Будешь с берега уныло
    Ты смотреть — в пустой дали
Не белеет ли ветрило,
    Не плывут ли корабли?
Корабли придут от Трои —
    А меня ни на одном;
Там, где билися герои,
    Буду спать — и вечным сном.

Тщетно, смертною борьбою
    Мучим, будешь сына звать,
И хладеющей рукою
    Вкруг себя его искать —
С милым светом разлученья
    Глас его не усладит;
И на брег воды забвенья
    Зов отца не долетит.

Край отчизны, светлы воды,
    Очарованны места,
Мирт, олив и лавров своды,
    Пышных долов красота,

Расцветайте, убирайтесь,
Как и прежде, красотой;
Как и прежде, оглашайтесь
Кликом радости одной;

Но Патрокла и Ахилла
Никогда вам не видать!
Воды Сперхия, сулила
Вам рука моя отдать
Волоса с моей, от брани
Уцелевшей головы...
Все Патроклу в дар, и дани
Уж моей не ждите вы.

Кони быстрые, из боя
(Тайный рок вас удержал)
Вы не вынесли героя —
И на щит он мертвый пал;
Кони бодрые, ретивы,
Что ж теперь так мрачны вы?
По земле влачатся гривы;
Наклонилися главы;

Позабыта пища вами;
Груди мощные дрожат;
Слышу стон ваш, и слезами
Очи гордые блестят.
Знать, Ахиллов пред собою
Зрите вы последний час;
Знать, внушен был вам судьбою
Мне конец вещавший глас...

Скоро!.. лук свой напрягает
Неизбежный Аполлон,
И пришельца ожидает
К Стиксу черному Харон.
И Патрокл с брегов забвенья
В полуночной тишине
Легкой тенью сновиденья
Прилетал уже ко мне.

Как Зефирово дыханье,
Он провеял надо мной;

Мне послышалось призванье,
Сладкий глас души родной;
В нежном взоре скорбь разлуки,
И следы минувших слез...
Я простер ко брату руки...
Он во мгле пустой исчез.

От Скироса вдаль влекомый,
Поплывет Неоптолем;
Брег увидит незнакомый,
И зеленый холм на нем;
Кормщик юноше укажет,
Полный думы, на курган —
«Вот Ахиллов гроб (он скажет);
Там вблизи был греков стан.

Там, ужасный на ограде
Нам явился он в ночи —
Нестерпимый блеск во взгляде,
С шлема грозные лучи —
И трикраты звучным кликом
На врага он грянул страх,
И Троянец с бледным ликом
Бросил щит и меч во прах.

Там Атриду дав десницу,
С ним союз запечатлел;
Там, гремящий, в колесницу
Прянув, к Трое полетел;
Там по праху за собою
Тело Гекторово мчал,
И на трепетную Трою
Взглядом мщения сверкал!»

И сойдешь на брег священный
С корабля, Неоптолем,
Чтоб на холм уединенный
Положить и меч и шлем;
Вкруг уж пусто... смолкли бои;
Тихи Ксант и Симоис;
И уже на грудах Трои
Плющ и терние свились.

Обойдешь равнину брани...
    Там, где ратовал Ахилл,
Уж стадятся робки лани
    Вкруг оставленных могил;
И услышишь над собою
    Двух невидимых полет...
Это мы... рука с рукою...
    Мы, друзья минувших лет.

Вспомяни тогда Ахилла:
    Быстро в мире он протек;
Здесь судьба ему сулила
    Долгий, но бесславный век;
Он мгновение со славой,
    Хладну жизнь презрев, избрал,
И на друга труп кровавой,
    До могилы верный, пал».

Он умолк... в тумане Ида;
    Отуманен Илион;
Спит во мраке стан Атрида;
    На равнине битвы сон;
И, курясь, едва сверкает
    Пламень гаснущих костров;
И протяжно окликает
    Стража стражу близ шатров.

ЭОЛОВА АРФА

Владыко Морвены,
Жил в дедовском замке могучий Ордал;
Над озером стены
Зубчатые замок с холма возвышал;
Прибрежны дубравы
Склонялись к водам,
И стлался кудрявый
Кустарник по злачным окрестным холмам.

Спокойствие сеней
Дубравных там часто лай псов нарушал;
Рогатых еленей
И вепрей и ланей могучий Ордал
С отважными псами
Гонял по холмам;
И долы с холмами,
Шумя, отвечали зовущим рогам.

В жилище Ордала
Веселость из ближних и дальних краев
Гостей собирала;
И убраны были чертоги пиров
Еленей рогами;
И в память отцам
Висели рядами
Их шлемы, кольчуги, щиты по стенам.

И в дружных беседах
Любил за бокалом рассказы Ордал
О древних победах,
И взоры на брони отцов устремлял:
Чеканны их латы
В глубоких рубцах;
Мечи их зубчаты;
Щиты их и шлемы избиты в боях.

Младая Минвана
Красой озаряла родительский дом;
Как зыби тумана,
Зарею златимы над свежим холмом,
Так кудри густые
С главы молодой
На перси младые,
Виясь, бежали струей золотой.

Приятней денницы
Задумчивый пламень во взорах сиял:
Сквозь темны ресницы
Он сладкое в душу смятенье вливал;
Потока журчанье —
Приятность речей;
Как роза, дыханье;
Душа же прекрасней и прелестей в ней.

Гремела красою
Минвана и в ближних и в дальних краях;
В Морвену толпою
Стекалися витязи, славны в боях;
И дщерью гордился
Пред ними отец...
Но втайне делился
Душою с Минваной Арминий-певец!

Младой и прекрасный,
Как свежая роза — утеха долин,
Певец сладкогласный...
Но родом не знатный, не княжеский сын;
Минвана забыла
О сане своем,
И сердцем любила,
Невинная, сердце невинное в нем. —

На темные своды
Багряным щитом покатилась луна;
И озера воды
Струистым сияньем покрыла она;
От за̀мка, от сеней
Дубрав по брегам

Огромные теней
Легли великаны по гладким волнам.

На холме, где чистым
Потоком источник бежал из кустов,
Под дубом ветвистым —
Свидетелем тайных свиданья часов —
Минвана младая
Сидела одна,
Певца ожидая,
И в страхе таила дыханье она.

И с арфою стройной
Ко древу к Минване приходит певец.
Всё было спокойно,
Как тихая радость их юных сердец:
Прохлада и нега,
Мерцанье луны,
И ропот у брега
Дробимыя с легким плесканьем волны.

И долго, безмолвны,
Певец и Минвана с унылой душой
Смотрели на волны,
Златимые тихо блестящей луной.
«Как быстрые воды
Поток свой лиют —
Так быстрые годы
Веселье младое с любовью несут». —

«Что ж сердце уныло?
Пусть воды лиются, пусть годы бегут;
О верный! о милой!
С любовию годы и жизнь унесут!» —
«Минвана, Минвана,
Я бедный певец;
Ты ж царского сана,
И предками славен твой гордый отец». —

«Что в славе и сане?
Любовь — мой высокий, мой царский венец.
О милый, Минване
Всех витязей краше смиренный певец.



Фронтиспис второго тома пятого издания «Стихотворений» В. А. Жуковского (1849)

Зачем же уныло
На радость глядеть?
Всё близко, что мило;
Оставим годам за годами лететь». —

«Минутная сладость
Веселого *вместе,* помедли, постой;
Кто скажет, что радость
Навек не умчится с грядущей зарёй!
Проглянет денница —
Блаженству конец;
Опять ты царица,
Опять я ничтожный и бедный певец». —

«Пускай возвратится
Веселое утро, сияние дня;
Зарей озарится
Тот свет, где мой милый живет для меня.
Лишь царским убором
Я буду с толпой;
А мыслию, взором
И сердцем, и жизнью, о милый, с тобой». —

«Прости, уж бледнеет
Рассветом далекий, Минвана, восток;
Уж утренний веет
С вершины кудрявых холмов ветерок!» —
«О нет! то зарница
Блестит в облаках;
Не скоро денница;
И тих ветерок на кудрявых холмах». —

«Уж в зáмке проснулись;
Мне слышался шорох и звук голосов». —
«О нет! встрепенулись
Дремавшие пташки на ветвях кустов». —
«Заря уж багряна».—
«О милый, постой».—
«Минвана, Минвана,
Почто ж замирает так сердце тоской?»

И арфу унылой
Певец привязал под наклоном ветвей:

«Будь, арфа, для милой
Залогом прекрасных минувшего дней;
И сладкие звуки
Любви не забудь;
Услада разлуки
И вестник души неизменныя будь.

Когда же мой юный,
Убитый печалию, цвет опадет,
О верные струны,
В вас с прежней любовью душа перейдет.
Как прежде, взыграет
Веселие в вас,
И друг мой узнает
Привычный, зовущий к свиданию глас.

И думай, их пенью
Внимая вечерней, Минвана, порой,
Что легкою тенью,
Всё верный, летает твой друг над тобой;
Что прежние муки:
Превратности страх,
Томленье разлуки,
Всё с трепетной жизнью он бросил во прах.

Что, жизнь переживши,
Любовь лишь одна не рассталась с душой;
Что робко любивший
Без робости любит и более твой.
А ты, дуб ветвистый,
Ее осеняй;
И, ветер душистый,
На грудь молодую дышать прилетай».

Умолк — и с прелестной
Задумчивых долго очей не сводил...
Как бы неизвестный
В нем голос: *навеки прости!* говорил.
Горячей рукою
Ей руку пожал,
И, тихой стопою
От ней удаляся, как призрак, пропал...

Луна воссияла...
Минвана у древа... но где же певец?
Увы! предузнала
Душа, унывая, что счастью конец;
Молва о свиданье
Достигла отца...
И мчит уж в изгнанье
Ладья через море младого певца.

И поздно, и рано
Под древом свиданья Минвана грустит.
Уныло с Минваной
Один лишь нагорный поток говорит;
Всё пусто; день ясный
Взойдет и зайдет —
Певец сладкогласный
Минваны под древом свиданья не ждет.

Прохладою дышет
Там ветер вечерний и в листьях шумит,
И ветви колышет,
И арфу лобзает... но арфа молчит.—
Творения радость,
Настала весна —
И в свежую младость,
Красу и веселье земля убрана.

И ярким сияньем
Холмы осыпал вечереющий день:
На землю с молчаньем
Сходила ночная, росистая тень;
Уж синие своды
Блистали в звездах;
Сравнялися воды;
И ветер улегся на спящих листах.

Сидела уныло
Минвана у древа... душой вдалеке...
И тихо всё было...
Вдруг... к пламенной что-то коснулось щеке:
И что-то шатнуло
Без ветра листы;

И что-то прильнуло
К струнам, невидимо слетев с высоты...

И вдруг... из молчанья
Поднялся протяжно задумчивый звон;
И тише дыханья
Играющей в листьях прохлады был он.
В ней сердце смутилось:
То друга привет!
Свершилось, свершилось!..
Земля опустела, и милого нет.

От тяжкия муки
Минвана упала без чувства на прах,
И жалобней звуки
Над ней застенали в смятенных струнах.
Когда ж возвратила
Дыханье она,
Уже восходила
Заря, и над нею была тишина.

С тех пор, унывая,
Минвана, лишь вечер, ходила на холм,
И, звукам внимая,
Мечтала о милом, о свете другом,
Где жизнь без разлуки,
Где всё не на час —
И мнились ей звуки,
Как будто летящий от родины глас.

«О милые струны,
Играйте, играйте... мой час не далёк;
Уж клонится юный
Главой недоцветший ко праху цветок.
И странник унылый
Заутра придет,
И спросит: где милый
Цветок мой?.. и боле цветка не найдет».

И нет уж Минваны...
Когда от потоков, холмов и полей
Восходят туманы,

И светит, как в дыме, луна без лучей —
Две видятся тени:
Слиявшись, летят
К знакомой им сени...
И дуб шевелится, и струны звучат.

МЩЕНИЕ

Изменой слуга паладина убил:
Убийце завиден сан рыцаря был.

Свершилось убийство ночною порой —
И труп поглощен был глубокой рекой.

И шпоры и латы убийца надел,
И в них на коня паладинова сел.

И мост на коне проскакать он спешит:
Но конь поднялся на дыбы и храпит.

Он шпоры вонзает в крутые бока:
Конь бешеный сбросил в реку седока.

Он выплыть из всех напрягается сил:
Но панцырь тяжелый его утопил.

ГАРАЛЬД

Перед дружиной на коне
Гаральд, боец седой,
При свете полныя луны,
Въезжает в лес густой.

Отбиты вражьи знамена
И веют и шумят,
И гулом песней боевых
Кругом холмы гудят.

Но что порхает по кустам?
Что зыблется в листах?
Что налетает с вышины,
И плещется в волнах?

Что так ласкает, так манит?
Что нежною рукой
Снимает меч, с коня влечет
И тянет за собой?

То Феи... в легкий хоровод
Слетелись при луне.
Спасенья нет; уж все бойцы
В волшебной стороне.

Лишь он, бесстрашный вождь Гаральд,
Один не побеждён:
В нетленный с ног до головы
Булат закован он.

Пропали спутники его;
Там брошен меч, там щит,
Там ржет осиротелый конь
И дико в лес бежит.

И едет сумрачно-уныл
Гаральд, боец седой,
При свете полныя луны
Один сквозь лес густой.

Но вот шумит, журчит ручей —
Гаральд с коня спрыгнул,
И снял он шлем, и влаги им
Студеной зачерпнул.

Но только жажду утолил:
Вдруг обессилел он;
На камень сел, поник главой,
И погрузился в сон.

И веки на утесе том,
Главу склоня, он спит:
Седые кудри, борода;
У ног копье и щит.

Когда ж гроза и молний блеск,
И лес ревет густой —
Сквозь сон хватается за меч
Гаральд, боец седой.

ТРИ ПЕСНИ

Споет ли мне песню веселую Скальд?
Спросил, озираясь, могучий Освальд.
И Скальд выступает на царскую речь,
Под мышкою арфа, на поясе меч.

«Три песни я знаю: в одной старина!
Тобою, могучий, забыта она;
Ты сам ее в лесе дремучем сложил;
Та песня: *отца моего ты убил.*

Есть песня другая: ужасна она;
И мною под бурей ночной сложена;
Пою ее ранней и поздней порой;
И песня та: *бейся, убийца, со мной!*»

Он в сторону арфу, и меч наголо;
И бешенство грозные лица зажгло;
Запрыгали искры по звонким мечам —
И рухнул Освальд — голова пополам.

«Раздайся ж, последняя песня моя;
Ту песню и утром и вечером я
Греметь не устану пред девой любви;
Та песня: *убийца повержен в крови*».

ДВЕНАДЦАТЬ СПЯЩИХ ДЕВ

СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ

В ДВУХ БАЛЛАДАХ

Опять ты здесь, мой благодатный Гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, Мечта, к душе моей...
Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей,
Побудь со мной, продли очарованья,
Дай сладкого вкусить воспоминанья.

Ты образы веселых лет примчала —
И много милых теней восстает;
И то, чем жизнь столь некогда пленяла,
Что Рок, отняв, назад не отдает,
То всё опять душа моя узнала;
Проснулась Скорбь, и Жалоба зовет
Сопутников, с пути сошедших прежде,
И здесь вотще поверивших надежде.

К ним не дойдут последней песни звуки;
Рассеян круг, где первую я пел;
Не встретят их простертые к ним руки;
Прекрасный сон их жизни улетел.
Других умчал могущий Дух разлуки;
Счастливый край, их знавший, опустел;
Разбросаны по всем дорогам мира —
Не им поет задумчивая лира.

И снова в томном сердце воскресает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как Гения полет;

И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Всё близкое мне зрится отдаленным,
Отжившее, как прежде, оживленным.

БАЛЛАДА ПЕРВАЯ

ГРОМОБОЙ

Leicht aufzuritzen ist das Reich der Geister;
Sie liegen wartend unter dünher Decke
Und, leise hörend, stürmee sie herauf.

Sohiller[1]

Александре Андреевне Воейковой

Моих стихов желала ты —
Желанье исполняю;
Тебе досуг мой и мечты
И лиру посвящаю.
Вот повесть прадедовских лет.
Еще ж одно — желанье:
Цвети, мой несравненный цвет,
Сердец очарованье;
Печаль по слуху только знай;
Будь радостию света;
Моих стихов хоть не читай,
Но другом будь поэта.

Над пенистым Днепром-рекой,
Над страшною стремниной,
В глухую полночь Громобой
Сидел один с кручиной;
Окрест него дремучий бор;
Утесы под ногами;
Туманен вид полей и гор;
Туманы над водами;
Подернут мглою свод небес;
В ущельях ветер свищет;
Ужасно шепчет темный лес,
И волк во мраке рыщет.

[1] Нам в области духов легко проникнуть;
Нас ждут они и молча стерегут,
И, тихо внемля, в бурях вылетают.
— Перевод Жуковского (из «Орлеанской девы» Шиллера). *Ред.*

Сидит с поникшей головой,
И думает он думу:
«Печальный, горький жребий мой!
Кляну судьбу угрюму:
Дала мне крест тяжелый несть;
Всем людям жизнь отрада:
Тем злато, тем покой и честь —
А мне сума награда;
Нет крова защитить главу
От бури, непогоды...
Устал я, в помощь вас зову,
Днепровски быстры воды».

Готов он прянуть с крутизны...
И вдруг пред ним явленье:
Из темной бора глубины
Выходит привиденье,
Старик с шершавой бородой,
С блестящими глазами,
В дугу сомкнутый над клюкой,
С хвостом, когтьми, рогами.
Идет, приблизился, грозит
Клюкою Громобою...
И тот, как вкопанный, стоит,
Зря диво пред собою.

«Куда?» — неведомый спросил.
«В волнах скончать мученья». —
«Почто ж, бессмысленный, забыл
Во мне искать спасенья?» —
«Кто ты?» — воскликнул Громобой,
От страха цепенея.
«Заступник, друг, спаситель твой:
Ты видишь Асмодея». —
«Творец небесный!» — «Удержись!
В молитве нет отрады;
Забудь о боге — мне молись;
Мои верней награды.

Прими от дружбы, Громобой,
Полезное ученье:
Постигнут ты судьбы рукой,
И жизнь тебе мученье;

Но всем бедам найти конец
Я способы имею;
К тебе нежалостлив творец,
Прибегни к Асмодею.
Могу тебе я силу дать,
И честь и много злата,
И грудью буду я стоять
За друга и за брата.

Клянусь... свидетель ада бог,
Что клятвы не нарушу;
А ты, мой друг, за то в залог
Свою отдай мне душу».
Невольно вздрогнул Громобой,
По членам хлад стремится;
Земли не взвидел под собой,
Нет сил перекреститься.
«О чем задумался, глупец?» —
«Страшусь мучений ада». —
«Но рано ль, поздно ль... наконец
Всё ад твоя награда.

Тебе на свете жить — беда;
Покинуть свет — другая;
Останься здесь — поди туда —
Везде погибель злая.
Ханжи-причудники твердят:
Лукавый бес опасен.
Не верь им — бредни; весел ад;
Лишь в сказках он ужасен.
Мы жизнь приятную ведем;
Наш ад не хуже рая;
Ты скажешь сам, ликуя в нем:
Лишь в аде жизнь прямая.

Тебе я терем пышный дам
И тьму людей на службу;
К боярам, витязям, князьям
Тебя введу я в дружбу;
Досель красавиц ты пугал —
Придут к тебе толпою;
И словом — вздумал, загадал,
И всё перед тобою.

И вот в задаток кошелёк:
В нем вечно будет злато.
Но десять лет — не боле — срок
Тебе так жить богато.

Когда ж последний день от глаз
Исчезнет за горою;
В последний полуночный час
Приду я за тобою».
Стал думу думать Громобой,
Подумал, согласился,
И обольстителю душой
За злато поклонился.
Разрезав руку, написал
Он кровью обещанье;
Лукавый принял — и пропал,
Сказавши: до свиданья!

И вышел в люди Громобой —
Откуда что взялося!
И счастье на него рекой
С богатством полилося;
Как княжеский, разубран дом;
Подвалы полны злата;
С заморским выходы вином
И редкостей палата;
Пиры — хоть пост, хоть мясоед;
Музыка роговая;
Для всех — чужих, своих — обед
И чаша круговая.

Возможно всё в его очах,
Всему он повелитель:
И сильным бич, и слабым страх,
И хищник и грабитель.
Двенадцать дев похитил он
Из отческой их сени;
Презрел невинных жалкий стон
И родственников пени;
И в год двенадцать дочерей
Имел от обольщенных;
И был уж чужд своих детей
И крови уз священных.

Но чад оставленных щитом
Был ангел их хранитель:
Он дал им пристань — божий дом,
Смирения обитель.
В святых стенах монастыря
Сокрыл их с матерями:
Да славят вышнего царя
Невинных уст мольбами.
И горней благодати сень
Была над их главою;
Как вешний ароматный день,
Цвели они красою.

От ранних колыбельных лет
До юности златыя,
Им ведом был лишь божий свет,
Лишь подвиги благие;
От сна вставая с юным днем,
Стекалися во храме;
На клиросе, пред алтарем,
Кадильниц в фимиаме,
В священный литургии час,
Их слышалося пенье —
И сладкий непорочных глас
Внимало провиденье.

И слезы нежных матерей
С молитвой их сливались,
Когда во храме близ мощей
Они распростирались.
«О! дай им кров, небесный царь
(То было их моленье);
Да будет твой святой алтарь
Незлобных душ спасенье;
Покинул их родной отец,
Дав бедным жизнь постылу;
Но призри ты сирот, творец,
И грешника помилуй...»

Но вот... настал десятый год;
Уже он на исходе;
И грешник горьки слезы льёт:
Всему он чужд в природе.



Фронтиспис к изданию «Баллад и повестей» 1831 года

Опять украшены весной
Луга, пригорки, долы;
И пахарь весел над сохой,
И счастья полны сёлы;
Не зрит лишь он златой весны:
Его померкли взоры;
В туман для них погребены
Луга, долины, горы.

Денница ль красная взойдет —
«Прости, гласит, денница».
В дубраве ль птичка пропоет —
«Прости, весны певица...
Прости, и мирные леса,
И нивы золотые,
И неба светлая краса,
И радости земные».
И вспомнил он забытых чад;
К себе их призывает;
И мнит: они творца смягчат;
Невинным бог внимает.

И вот... настал последний день;
Уж солнце за горою;
И стелется вечерня тень
Прозрачной пеленою;
Уж сумрак... смерклось... вот луна
Блеснула из-за тучи;
Легла на горы тишина;
Утих и лес дремучий;
Река сравнялась в берегах;
Зажглись светила ночи;
И сон глубокий на полях;
И близок час полночи...

И мучим смертною тоской,
У спасовой иконы
Без веры ищет Громобой
От ада обороны.
И юных чад к себе призвал —
Сердца их близки раю —
«Увы! молитесь (вопиял),
Молитесь, погибаю!»

Младенца внятен небу стон:
Невинные молились;
Но вдруг... на них находит сон...
Замолкли... усыпились.

И всё в ужасной тишине;
Окрестность как могила;
Вот... каркнул ворон на стене;
Вот... стая псов завыла;
И вдруг... протяжно полночь бьет;
Нашли на небо тучи;
Река надулась; бор ревет;
И мчится прах летучий.
Увы!.. последний страшный бой
Отгрянул за горами...
Гул тише... смолк... и Громобой
Зрит беса пред очами.

«Ты видел, — рек он, — день из глаз
Сокрылся за горою;
Ты слышал: бил последний час;
Пришел я за тобою». —
«О! дай, молю, хоть малый срок;
Терзаюсь, ад ужасен». —
«Свершилось! неизбежен рок,
И поздний вопль напрасен». —
«Минуту!» — «Слышишь? Цепь звучит». —
«О страшный час! помилуй!» —
«И гроб готов, и саван сшит,
И роют уж могилу.

Заутра день взойдет во мгле:
Подымутся стенанья;
Увидят труп твой на столе,
Недвижный, без дыханья;
Кадил и свеч в дыму густом,
При тихом ликов пенье,
Тебя запрут в подземный дом
Навеки в заточенье;
И страшно заступ застучит
Над кровлей гробовою;
И тихо клир провозгласит:
Усопший, мир с тобою!

И мир не будет твой удел:
Ты адово стяжанье!
Но время... идут... час приспел.
Внимай их завыванье;
Сошлись... призывный слышу клич...
Их челюсти зияют;
Смола клокочет... свищет бич...
Оковы разжигают». —
«Спаситель-царь, вонми слезам!» —
«Напрасное моленье!» —
«Увы! позволь хоть сиротам
Мне дать благословенье».

Младенцов спящих видит бес —
Сверкнули страшно очи!
«Лишить их царствия небес,
Предать их адской ночи...
Вот слава! мне восплещет ад
И с гордым Сатаною».
И, усмирив грозящий взгляд,
Сказал он Громобою:
«Я внял твоей печали глас;
Есть средство избавленья;
Покорен будь, иль в ад сейчас
На скорби и мученья.

Предай мне души дочерей
За временну свободу,
И дам, по милости своей,
На каждую по году». —
«Злодей! губить невинных чад!» —
«Ты медлишь? Приступите!
Низриньте грешника во ад!
На части разорвите!»
И вдруг отвсюду крик и стон;
Земля затрепетала;
И грянул гром со всех сторон;
И тьма бесов предстала.

Чудовищ адских грозный сонм;
Бегут, гремят цепями,
И стали грешника кругом
С разверзтыми когтями.

И ниц повергся Громобой,
Бесчувствен, полумертвый;
И вопит: «Страшный враг, постой!
Постой, готовы жертвы!»
И скрылись все. Он будит чад...
Он пишет их рукою...
О страх! свершилось... плещет ад
И с гордым Сатаною.

Ты казнь отсрочил, Громобой,
И дверь сомкнулась ада;
Но жить, погибнувши душой, —
Коль страшная отрада!
Влачи унылы дни, злодей,
В болезни ожиданья;
Веселья нет душе твоей,
И нет ей упованья;
Увы! и красный божий мир,
И жизнь ему постылы;
Он в людстве дик, в семействе сир;
Он вживе снедь могилы.

Напрасно веет ветерок
С душистыя долины;
И свет луны сребрит поток
Сквозь темны лип вершины;
И ласточка зари восход
Встречает щебетаньем;
И роща в тень свою зовет
Листочков трепетаньем;
И шум бегущих с поля стад,
С пастушьими рогами
Вечерний мрак животворят,
Теряясь за холмами...

Его доселе светлый дом
Уж сумрака обитель.
Угрюм, с нахмуренным лицом
Пиров веселых зритель,
Не пьет кипящего вина
Из чаши круговыя...
И страшен день; и ночь страшна;
И тени гробовыя

Он всюду слышит грозный вой;
И в час глубокой ночи
Бежит одра его покой;
И сон забыли очи.

И тьмы лесов страшится он:
Там бродит привиденье;
То чудится полночный звон,
То погребально пенье;
Страшит его и бури свист,
И грозных туч молчанье,
И с шорохом падущий лист,
И рощи содроганье.
Прокатится ль по небу гром —
Бледнеет, дыбом волос:
«То мститель, послан божеством;
То казни страшный голос».

И вид прелестный юных чад
Ему не наслажденье.
Их милый, чувства полный взгляд,
Спокойствие, смиренье,
Краса — веселие очей,
И гласа нежны звуки,
И сладость ласковых речей
Его сугубят муки.
Как роза — благовонный цвет
Под сению надежной,
Они цветут: им скорби нет;
Их сердце безмятежно.

А он?.. Преступник... он, в тоске
На них подъемля очи,
Отверзту видит вдалеке
Пучину адской ночи.
Он плачет; он судьбу клянет;
«О милые творенья,
Какой вас лютый жребий ждет!
И где искать спасенья?
Напрасно вам дана краса;
Напрасно сердцу милы;
Закрыт вам путь на небеса;
Цветете для могилы.

Увы! пора любви придет:
Вам сердце тайну скажет,
Для вас украсит божий свет,
Вам милого покажет;
И взор наполнится тоской,
И тихим грудь желаньем,
И, распаленные душой,
Влекомы ожиданьем,
Для вас взойдет краснее день,
И будет луг душистей,
И сладостней дубравы тень,
И птичка голосистей.

И дни блаженства не придут;
Страшитесь милой встречи;
Для вас не брачные зажгут,
А погребальны свечи.
Не в божий, гимнов полный, храм
Пойдете с женихами...
Ужасный гроб готовят нам;
Проклята небесами.
И наш удел тоска и стон
В обителях геэнны...
О грозный жребия закон,
О жертвы драгоценны!..»

Но взор возвел он к небесам
В душевном сокрушенье,
И мнит: «Сам бог вещает нам:
В раскаяньи спасенье.
Возносятся пред вышний трон
Преступников стенанья...»
И дом свой обращает он
В обитель покаянья:
Да странник там найдет покой,
Вдова и сирый друга,
Голодный сладку снедь, больной
Спасенье от недуга.

С утра до ночи у ворот
Служитель на стороже;
Он всех прохожих в дом зовёт:
«Есть хлеб-соль, мягко ложо».

И вот уже из всех краёв,
Влекомые молвою,
Идут толпы сирот и вдов
И нищих к Громобою;
И всех приемлет Громобой,
Всем дань его готова;
Он щедрой злато льет рукой
От имени Христова.

И божий он воздвигнул дом;
Подобье светла рая,
Обитель иноков при нем
Является святая;
И в той обители святой,
От братии смиренной
Увечный, дряхлый и больной,
И скорбью убиенный
Приемлют, именем творца,
Отраду, исцеленье:
Да воскрешаемы сердца
Узнают провиденье.

И славный мастер призван был
Из города чужого;
Он в храме лик изобразил
Угодника святого;
На той иконе Громобой
Был видим с дочерями,
И на молящихся святой
Взирал любви очами.
И день и ночь огонь пылал
Пред образом в лампаде:
В златом венце алмаз сиял,
И перлы на окладе.

И в час, когда редеет тень,
Еще дубрава дремлет,
И воцаряющийся день
Полнеба лишь объемлет;
И в час вечерней тишины —
Когда везде молчанье,
И свечи, в храме возжены,
Льют тихое сиянье —

В слезах раскаянья, с мольбой,
Пред образом смиренно
Распростирался Громобой,
Веригой отягченной...

Но быстро, быстро с гор текут
В долину вешни воды —
И невозвратные бегут
Дни, месяцы и годы.
Уж время с годом десять лет
Невидимо умчало;
Последнего двух третей нет —
И будто не бывало;
И некий неотступный глас
Вещает Громобою:
Всему конец! твой близок час!
Погибель над тобою!

И вот... недуг повергнул злой
Его на одр мученья.
Растерзан лютою рукой,
Не чая исцеленья,
Всечасно пред собой он зрит
Отверзту дверь могилы;
И у возглавия сидит
Над ним призра́к унылый.
И нет уж сил ходить во храм
К иконе чудотворной —
Лишь взор стремит он к небесам,
Молящий, но покорный.

Увы! уж и последний день
Край неба озлащает;
Сквозь темную дубравы сень
Блистанье проникает;
Всё тихо, весело, светло;
Всё негой сладкой дышит;
Река прозрачна, как стекло;
Едва, едва колышет
Листами легкий ветерок;
В полях благоуханье,
К цветку прилипнул мотылёк
И пьет его дыханье.

Но грешник сей встречает день
Со стоном и слезами:
«О рано ты, ночная тень,
Рассталась с небесами!
Сойдитесь, дети, одр отца
С молитвой окружите,
И пред судилище творца
Стенания пошлите.
Ужасен нам сей ночи мрак;
Взывайте: искупитель,
Смягчи грозящий гнева зрак;
Не будь нам строгий мститель!»

И страшного одра кругом —
Где бледен, измożденный,
С обезображенным челом,
Все кости обнаженны,
Брада до чресл, власы горой,
Взор дикий, впалы очи,
Вопил от муки Громобой
С утра до поздней ночи —
Стеклися девы, ясный взор
На небо устремили,
И в тихий к провиденью хор
Сердца совокупили.

О вид, угодный небесам!
Так ангелы спасенья,
Вонмя раскаянья слезам,
С улыбкой примиренья,
В очах отрада и покой,
От горнего чертога
Нисходят с милостью святой,
Предшественники бога,
К одру болезни в смертный час...
И, утомлен страданьем,
Сын гроба слышит тихий глас:
Отыди с упованьем!

И девы, чистые душой,
Подъемля к небу руки,
Смиренной мыслили мольбой
Отца спокоить муки;

Но ужас близкого конца
Над ним уже носился;
Язык коснеющий творца
Еще молить стремился;
Тоскуя, взором он искал
Сияния денницы...
Но взор недвижный угасал,
Смыкалися зеницы.

«О дети, дети, гаснет день». —
«Нет, утро; лишь проснулась
Заря на холме; черна тень
По долу протянулась;
И нивы пусты... в высоте
Лишь жаворонок вьется». —
«Увы! заутра в красоте
Опять сей день проснется!
Но мы... уж скрылись от земли;
Уже нас гроб снедает;
И место, где поднесь цвели,
Нас боле не признает.

Несчастные, дерзну ль на вас
Изречь благословенье?
И в самой вечности для нас
Погибло примиренье.
Но не сопутствуйте отцу
С проклятием в могилу;
Молитесь, воззовем к творцу:
Разгневанный, помилуй!»
И дети, страшных сих речей
Не всю объемля силу,
С невинной ясностью очей
Воскликнули: помилуй!

«О дети, дети, ночь близка». —
«Лишь полдень наступает;
Пастух у вод для холодка
Со стадом отдыхает;
Молчат поля; в долине сон;
Пылает небо знойно». —
«Мне чудится надгробный стон». —
«Всё тихо и спокойно;

Лишь свежий ветерок, порой
Подъемлясь с поля, дует;
Лишь иволга в глуши лесной
Повременно воркует». —

«О дети, светлый день угас». —
«Уж солнце за горою;
Уж по закату разлилась
Багряною струею
Заря, и с пламенных небес
Спокойный вечер сходит,
На зареве чернеет лес,
В долине сумрак бродит». —
«О вечер сумрачный, постой!
Помедли, день прелестной!
Помедли, взор не узрит мой
Тебя уж в поднебесной!..

О дети, дети, ночь близка». —
«Заря уж догорела;
В туман оделася река;
Окрестность побледнела;
И на распутии пылят
Стада, спеша к селенью». —
«Спасите! полночь бьет!» — «Звонят
В обители к моленью:
Отцы поют хвалебный глас;
Огнями храм блистает». —
«При них и грешник в страшный час
К тебе, творец, взывает!..

Не тмится ль, дети, неба свод?
Не мчатся ль черны тучи?
Не вздул ли вихорь бурных вод?
Не вьется ль прах летучий?» —
«Всё тихо... служба отошла;
Обитель засыпает;
Луна полнеба протекла;
И божий храм сияет
Один с холма в окрестной мгле;
Луга, поля безмолвны;
Огни потухнули в селе;
И рощи спят и волны».

И всюду тишина была;
И вся природа, мнилось,
Предустрашенная ждала,
Чтоб чудо совершилось...
И вдруг... как будто ветерок
Повеял от востока,
Чуть тронул дремлющий листок,
Чуть тронул зыбь потока...
И некий глас промчался с ним...
Как будто над звездами
Коснулся арфы серафим
Эфирными перстами.

И тихо, тихо божий храм
Отверзся... Неизвестный
Явился старец дев очам;
И лик красы небесной,
И кротость благостных очей
Рождали упованье;
Одеян ризою лучей,
Окрест главы сиянье,
Он не касался до земли
В воздушном приближенье...
Пред ним незримые текли
Надежда и Спасенье.

Сердца их ужас обуял...
«Кто этот, в славе зримый?»
Но близ одра уже стоял
Пришлец неизъяснимый.
И к девам прикоснулся он
Полой своей одежды:
И тихий во мгновенье сон
На их простерся вежды.
На искаженный старца лик
Он кинул взгляд укора:
И трепет в грешника проник
От пламенного взора.

«О! кто ты, грозный сын небес?
Твой взор мне наказанье».
Но страшный строгостью очес
Пришлец хранит молчанье...

«О дай, молю, твой слышать глас!
Одно надежды слово!
Идет неотразимый час!
Событие готово!» —
«Вы лик во храме чтили мой;
И в том изображенье
Моя десница над тобой
Простерта во спасенье». —

«Ах! что ж могущий повелел?» —
«Надейся и страшися». —
«Увы! какой нас ждет удел?
Что жребий их?» — «Молися». —
И, руки положив крестом
На грудь изнеможенну,
Пред неиспытанным творцом
Молитву сокрушенну
Умолкший пролиял в слезах;
И тяжко грудь дышала,
И в призывающих очах
Вся скорбь души сияла...

Вдруг начал тмиться неба свод —
Мрачнее и мрачнее;
За тучей грозною ползёт
Другая вслед грознее;
И страшно сшиблись над главой;
И небо заклубилось;
И вдруг... повсюду с черной мглой
Молчанье воцарилось...
И близок час полночи был...
И ризою святою
Угодник спящих дев накрыл,
Отступника — десною.

И, устремленны на восток,
Горели старца очи...
И вдруг, сквозь сон и мрак глубок,
В пучине черной ночи,
Завыл протяжно вещий бой —
Окрестность с ним завыла;
Вдруг... страшной молния струёй
Свод неба раздвоила,

По тучам вихорь пробежал,
И с сильным грома треском,
Ревущей буре бес предстал,
Одеян адским блеском.

И змеи в пламенных власах —
Клубясь, шипят и свищут;
И радость злобная в очах —
Кругом, сверкая, рыщут;
И тяжкой цепью он гремел —
Увлечь добычу льстился;
Но старца грозного узрел —
Утихнул и смирился;
И вмиг гордыни блеск угас;
И, смутен, вопрошает:
«Что, мощный враг, тебя в сей час
К сим падшим призывает?» —

«Я зрел мольбу их пред собой». —
«Они мое стяжанье». —
«Перед небесным судией
Всесильно покаянье». —
«И час суда его притек:
Их жребий совершися». —
«Еще ко благости не рек
Он в гневе: удалися!» —
«Он прав — и я владыка им». —
«Он благ — я их хранитель». —
«Исчезни! ад неотразим». —
«Ответствуй, искупитель!»

И гром с востока полетел;
И бездну туч трикраты
Рассек браздами ярких стрел
Перун огнекрылатый;
И небо с края в край зажглось,
И застонало в страхе;
И дрогнула земная ось...
И, воющий во прахе,
Творца грядуща слышит бес;
И молится хранитель...
И стал на высоте небес.
Средь молний ангел-мститель.

«Гряду! и вечный божий суд
Несет моя десница!
Мне казнь и благость предтекут...
Во прах, чадоубийца!»
О всемогущество словес!
Уже отступник тленье;
Потух последний свет очес;
В костях оцепененье;
И лик кончиной искажен;
И сердце охладело;
И от сомкнувшихся устен
Дыханье отлетело.

«И праху обладатель ад,
И гробу отверженье,
Доколь на погубленных чад
Не снидет искупленье.
И чадам непробудный сон;
И тот, кто чист душою,
Кто, их не зревши, распален
Одной из них красою,
Придет, житейское презрев,
В забвенну их обитель;
Есть обреченный спящих дев
От неба искупитель.

И будут спать: и к ним века
В полете не коснутся;
И пройдет тления рука
Их мимо; и проснутся
С неизменившейся красой
Для жизни обновленной;
И низойдет тогда покой
К могиле искупленной;
И будет мир в его костях;
И претворенный в радость,
Творца постигнув в небесах,
Речет: господь есть благость!..»

Уж вестник утра в высоте;
И слышен громкий петел;
И день в воздушной красоте
Летит, как радость, светел...

Узрели дев, объятых сном,
И старца труп узрели;
И мертвый страшен был лицом,
Глаза, не зря, смотрели;
Как будто страждущ, прижимал
Он к хладным персям руки,
И на устах его роптал,
Казалось, голос муки.

И спящих лик покоен был:
Невидимо крылами
Их тихий ангел облачил;
И райскими мечтами
Чудесный был исполнен сон;
И сладким их дыханьем
Окрест был воздух растворён,
Как роз благоуханьем;
И расцветали их уста
Улыбкою прелестной,
И их являлась красота
В спокойствии небесной.

Но вот — уж гроб одет парчой;
Отверзлася могила;
И слышен колокола вой;
И теплются кадила;
Идут и стар и млад во храм;
Подъемлется рыданье;
Дают бесчувственным устам
Последнее лобзанье;
И грянул в гроб ужасный млат;
И взят уж гроб землёю;
И лик воспел: усопший брат,
Навеки мир с тобою!

И вот — и стар и млад пошли
Обратно в дом печали;
Но вдруг пред ними из земли
Вкруг дома грозно встали
Гранитны стены — верх зубчат,
Бока одеты лесом —
И, сгрянувшись, затворы врат
Задвинулись утесом.

И вспять погнал пришельцев страх;
Бегут, не озираясь;
«Небесный гнев на сих стенах!»
Вещают, содрогаясь.

И стала та страна с тех пор
Добычей запустенья;
Поля покрыл дремучий бор;
Рассыпались селенья.
И человечий глас умолк —
Лишь филин на утесе
И в ночь осенню гладный волк
Там воют в черном лесе;
Лишь дико меж седых брегов,
Спираема корнями
Изрытых бурею дубов,
Река клубит волнами.

Где древле окружала храм
Отшельников обитель,
Там грозно свищет по стенам
Змея, развалин житель;
И гимн по сводам не гремит —
Лишь, веющий порою,
Пустынный ветер шевелит
В развалинах травою;
Лишь, отторгаяся от стен,
Катятся камни с шумом,
И гул, на время пробужден,
Шумит в лесу угрюмом.

И на туманистом холме
Могильный зрится камень:
Над ним всегда в полночной тьме
Сияет бледный пламень.
И крест поверженный обвит
Листами павилики:
На нем угрюмый вран сидит,
Могилы сторож дикий.
И всё, как мертвое, окрест:
Ни лист не шевелится,
Ни зверь близ сих не пройдет мест,
Ни птица не промчится.

Но полночь лишь сойдет с небес —
Вран черный встрепенется,
Зашепчет пробужденный лес,
Могила потрясется;
И видима бродяща тень
Тогда в пустыне ночи:
Как бледный на тумане день,
Ее сияют очи;
То взор возводит к небесам,
То, с видом тяжкой муки,
К непроницаемым стенам,
Моля, подъемлет руки.

И в недре неприступных стен
Молчание могилы;
Окрест их, мглою покровен,
Седеет лес унылый:
Там ветер не шумит в листах,
Не слышно вод журчанья,
Ни благовония в цветах,
Ни в травке нет дыханья.
И девы спят — их сон глубок;
И жребий искупленья,
Безвестно, близок иль далёк:
И нет им пробужденья.

Но в час, когда поля заснут,
И мглой земля одета
(Между торжественных минут
Полночи и рассвета),
Одна из спящих восстаёт —
И, странник одинокой,
Свой срочный начинает ход
Кругом стены высокой;
И смотрит вдаль, и ждет с тоской:
«Приди, приди, спаситель!»
Но даль покрыта черной мглой...
Нейдет, нейдет спаситель!

Когда ж исполнится луна,
Чреда приходит смены;
В урочный час пробуждена,
Одна идет на стены,

Другая к ней со стен идет,
Встречается, и руку,
Вздохнув, пришелице дает
На долгую разлуку;
Потом к почиющим сестрам,
Задумчива, отходит,
А та печально по стенам
Одна до смены бродит.

И скоро ль? Долго ль?.. Как узнать?
Где вестник искупленья?
Где тот, кто властен побеждать
Все ковы обольщенья,
К прелестной прилеплен мечте?
Кто мог бы, чист душою,
Небесной верен красоте,
Непобедим земною,
Всё предстоящее презреть,
И с верою смиренной,
Надежды полон, в даль лететь
К награде сокровенной?..

БАЛЛАДА ВТОРАЯ

ВАДИМ

Du musst glauben, du musst wagen,
Denn die Götter leih'n kein Pfand:
Nur ein Wunder kann dich tragen
In das schöne Wunderland.

Schiller[1]

Дмитрию Николаевичу Блудову

Вот повести моей конец —
И другу посвященье;
Певцу ж смиренному венец
Будь дружбы одобренье.
Вадим мой рос в твоих глазах;
Твой вкус был мне учитель;
В моих запутанных стихах,
Как тайный вождь-хранитель,
Он путь мне к цели проложил.
Но в пользу ли услуга?
Не знаю... Дев я разбудил,
Не усыпить бы друга.

В великом Новграде Вадим
Пленял всех красотою,
И дерзким мужеством своим,
И сердца простотою.
Его утеха — по лесам
Скитаться за зверями;
Ужасный вепрям и волкам
Разящими стрелами,

---

[1] Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес:
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.
— Перевод Жуковского (см. его «Желание»). *Ред.*

В осенний хлад и летний зной
Он с верным псом на ловле;
Ему постелей — мох лесной,
А свод небесный — кровлей.

Уже двадцатая весна
Вадимова настала;
И, чувства тайного полна,
Душа в нем унывала.
«Чего искать? В каких странах?
К чему стремить желанье?»
Но всё — и тишина в лесах,
И быстрых вод журчанье,
И дня меняющийся вид
На облаке небесном,
Всё, всё Вадиму говорит
О чем-то неизвестном.

Однажды, ловлей утомлён,
Близ Волхова на бреге
Он погрузился в легкий сон...
Струи в свободном беге
Шумели, по корням древес,
С плесканьем разливаясь;
Душой весны был полон лес;
Листочки, развиваясь,
Дышали жизнью молодой;
Всё благовонно было...
И солнце с тверди голубой
К холмам уж нисходило.

И к утру видит сон Вадим:
Одеян ризой белой,
Предстал чудесный муж пред ним —
Во взоре луч веселой,
Лик важный светел, стан высок,
На сединах блистанье,
В руке серебряный звонок,
На персях крест в сиянье;
Он шел, как будто бы летел,
И, осенив перстами,
Благовестящими воззрел
На юношу очами.

«Вадим, желанное вдали;
Верь небу; жди смиренно;
Всё изменяет на земли,
А небо неизменно;
Стремись, я провожатый твой!»
Сказал — и в то ж мгновенье
Вдали явилось голубой
Прелестное виденье:
Младая дева, лик закрыт
Завесою туманной,
И на главе ее лежит
Венок благоуханной.

Вздыхая жалобно, рукой
Манило привиденье
Итти Вадима за собой...
И юноша в смятенье,
К ней, сердцем вспыхнув, полетел...
Но вдруг... призрак сокрылся,
Вдали звонок един гремел,
И бледный луч светился;
И вместе с девою пропал
Старик в одежде белой...
Вадим проснулся: день сиял,
А в вышине... звенело.

Он смотрит вдаль на светлый юг:
Там ясно всё и чисто;
Оттоль через обширный луг
Струею серебристой
Катился Волхов; небеса
Сливались там с землёю;
Туда, за холмы, за леса,
Мчал облака толпою
Летучий, вешний ветерок...
Смятенный, в ожиданье,
Он смотрит, слушает... звонок
Умолк — и всё в молчанье.

Три сряду утра тот же сон;
Душа его в волненье.
«О что же ты, — взывает он, —
Прекрасное явленье?

Куда зовешь, волшебный глас?
Кто ты, пришлец священный?
Ах! где она? Увижу ль вас?
И сердцу откровенный
Предел откроется ль очам?»
Но тщетно он очами
Летит к далеким небесам...
Туман под небесами.

И целый мир его мечтой
Пред ним одушевился.
Восток ли свежею красой
Денницы золотился —
Ему являлся там покров
На образе прелестном.
Дышал ли запахом цветов —
В нем скорбь о неизвестном,
Стремленье вдаль, любви тоска,
Томление разлуки;
И в каждом шуме ветерка
Звонка призывны звуки.

И он, невластный победить
Могущего стремленья,
К отцу и к матери просить
Идет благословенья.
«Куда (печальная в слезах
Сказала матерь сыну)?
В чужих испытывать странах
Неверную судьбину?
Постой; на родине твоей
Дом отчий безопасный;
Здесь сладостна любовь друзей;
Здесь девицы прекрасны». —

«Увы! желанного здесь нет;
Спокой себя, родная;
Меня от вас в далекий свет
Ведет рука святая.
И не задремлет ни на час
Хранитель постоянный.
Но где он? Чей я слышал глас?
Кто вождь сей безымянный?

Куда ведет? Какой стезёй?
Не знаю — и напрасен
В незнаньи страх... жив спутник мой;
Путь веры безопасен».

Надев на сына крест златой,
Ответствует родная:
«Прости, да будет над тобой
Его любовь святая!»
Снимает со стены отец
Свои доспехи ратны:
«Прости, вот меч мой кладенец,
Мой щит и шлем булатный».
Сын в землю матери, отцу;
Целует образ; плачет;
Конь борзый подведен к крыльцу;
Он сел — он крикнул — скачет...

И пыльный по дороге след
Поднял конь быстроногой;
Но вот уже и следу нет;
И пыль слилась с дорогой...
Вздохнул отец; со вздохом мать
Пошла в свою светлицу;
Ей долго ночь в слезах встречать,
В слезах встречать денницу;
Перед владычицей зажгла
С молитвою лампаду:
Чтобы ему покров была,
Чтоб ей дала отраду.

Вот на распутии Вадим.
Весь мир неизмеримый
Ему открыт; за ним, пред ним
Поля необозримы;
В чужбине он; в желанный край
Неведома дорога.
«Что ж медлишь? Верь — не выбирай;
Вперед, во имя бога;
Куда и как привесть меня,
То вождь мой знает боле».
Так он подумал — и коня
Пустил бежать по воле.

И добрый конь как будто сам
Свою дорогу знает;
Он всё на юг; он по полям
Путь новый пробивает;
Поток ли встретит — и в поток;
Лишь только пена прыщет.
Ко рву ль примчится — разом скок,
Лишь только воздух свищет.
Заглох ли лес — с ним широка
Дорога в чаще леса;
Утес ли крут — он седока
Стрелой на круть утеса.

Бегут за днями дни; Вадим
Всё дале; конь послушный
Не устаёт; и всюду им
В пути прием радушный:
Ко граду ль случай заведёт,
К селу ль, к лачужке ль дымной —
Везде пришельцу у ворот
Привет гостеприимной;
Везде заботливо дают
Хлеб-соль на подкрепленье,
На темну ночь святой приют,
На путь благословенье.

Когда ж застигнет мрак ночной
В лесу, иль в поле чистом —
Наш витязь, щит под головой,
Спит на ковре росистом
Благоуханной муравы;
Над ним катясь, сияют
Ночные звезды; вкруг главы
Младые сны летают;
И конь, не дремля, сторожит;
И к стороне той, мнится,
И зверь опасный не бежит,
И змей приползть боится.

И дни бегут — весна прошла,
И соловьи отпели,
И липа в рощах зацвела,
И нивы пожелтели.

Вадим всё дале; уж пред ним
Широкий Днепр сияет;
Он едет берегом крутым,
И взор его летает
С высот по злачным берегам:
Здесь видит луг цветущий,
Там златоверхий город, там
Близ вод рыбачьи кущи.

Однажды — вечер знойный рдел
На небе; лес дремучий
Сквозь пламень зарева синел,
И громовые тучи,
Вслед за багровою луной,
С востока поднимались,
И яркой молнии змеёй
В их недре извивались —
Вадим въезжает в темный лес;
Там всё в тени молчало;
Лишь трепетание древес
Грозу предвозвещало.

И дичь являлася кругом;
Чуть небеса сквозь сени
Светили гаснущим лучом;
И дерева, как тени,
Мелькали в бездне темноты
С развер̆зтыми ветвями.
Вадим вперед — хрустят кусты
Под конскими ногами;
Везде плетень из сучьев им
Дорогу задвигает...
Но их мечом крушит Вадим,
Конь грудью разрывает.

И едет он уж целый час;
Вдруг — жалобные крики;
То нежный и молящий глас,
То яростный и дикий.
Зажглась в нем кровь; на вопли он
Сквозь чащу ветвей рвется;
Конь пышет, лес трещит, и стон
Всё ближе раздается;

И вдруг под ним в дичи глухой,
Как будто из тумана,
Чуть освещенная луной,
Открылася поляна.

И что ж у витязя в глазах?
Шумя между кустами,
С медвежьей кожей на плечах,
С дубиной за плечами,
Огромный великан бежит,
И на руках могучих
Красавицу младую мчит;
Она, в слезах горючих,
То силится бороться с ним,
То скорбно вопит к богу...
«Стой!» — крикнул хищнику Вадим,
И заслонил дорогу.

Ни слова тот на грозну речь;
Как бешеный отпрянул,
Сорвал дубину с крепких плеч,
Взмахнул, в Вадима грянул,
И очи вспыхнули, как жар...
Конь легкий отшатнулся,
В корнистый дуб пришел удар,
И дуб, треща, погнулся;
Вадим всей силою меча
Ударил в исполина —
Рука отпала от плеча,
И в прах легла дубина.

И хищник, рухнув, захрипел
Под конскими ногами;
Рванулся встать; оцепенел,
И стих, грозя очами;
И смерть молчаньем заперла
Уста, вопить отверзты;
И, роя землю, замерла
Рука, разинув персты.
Спешит к похищенной Вадим;
Она, как лист, дрожала,
И, севши на коня за ним,
В слезах к нему припала.

«Скажи мне, девица, кто ты?
Кто буйный оскорбитель
Твоей девичьей красоты?
И где твоя обитель?» —
«Князь киевский родитель мой;
Град Киев не далёко;
Проедем скоро лес густой,
Увидим брег высокой:
Под брегом тем кипят, шумят
В скалах струи Днепровы,
На бреге том и Киев-град,
Озолоченны кровы.

Я там дни мирные вела,
Не знаяся с кручиной,
И в старости отцу была
Утехою единой.
Не в добрый час литовский князь,
Враг церкви православной,
Меня узрел и, распалясь
Душою звeронравной,
Послал к нам в Киев-град гонца,
Чтоб, тайною рукою
Меня похитив у отца,
Умчал в Литву с собою.

Он скрылся на Днепре-реке
В лесном уединеньи,
От Киева невдалеке;
О дерзком замышленьи
Никто и сонный не мечтал;
Губитель не встречался
В лесу ни с кем; как волк, он ждал
Добычи и — дождался.
Я нынче раннею порой
В луг вышла, полевые
Сбирать цветки; пошли со мной
Подружки молодые.

Мы ро́су брали на цветах,
Росою умывались,
И рвали ягоды в кустах
И громко окликались.

Уж солнце жгло с полунебес;
Я шла одна; кустами
Вилась дорожка; темный лес
Чернел перед глазами.
Вдруг шум... смотрю... злодей за мной;
Страх подкосил мне ноги;
Он сильною меня рукой
Схватил — и в лес с дороги.

Ах! что б в удел досталось мне,
Что было бы со мною,
Когда б не ты? В чужой стране
Изныла б сиротою.
От милых ближних вдалеке
Живет ли сердцу радость?
И в безутешной бы тоске
Моя увяла младость;
И с горем дряхлой мой отец
Повлекся бы ко гробу...
Но слабость защитил творец,
Сразил всевышний злобу».

Меж тем, с поляны в гущину
Въезжает витязь; тучи,
Толпясь, заволокли луну;
Стал душен лес дремучий...
Гроза сбиралась; меж листов
Дождь крупный пробивался,
И шум тяжелых облаков
С их ропотом мешался...
Вдруг вихорь набежал на лес
И взрыл дерев вершины,
И загорелися небес
Кипящие пучины.

И всё взревело... дождь рекой;
Гром страшный, треск за треском;
И шум воды, и вихря вой;
И поминутным блеском
Воспламеняющийся лес;
И встречу, справа, слева
Ряды валящихся древес;
Конь рвется; в страхе дева;

И, заслонив ее щитом,
Вадим смятенный ищет,
Где б приютиться... но кругом
Всё дичь, и буря свищет.

И вдруг уж нет дороги им;
Стена из камней мшистых;
Гром мчался по бокам крутым;
В расселинах лесистых
Спираясь, вихорь бушевал,
И молнии горели,
И в бездне бури груды скал
Сверкали и гремели.
Вадим назад... но вдруг удар!
Ель, треснув, запылала;
По ветвям пробежал пожар,
Окрестность заблистала.

И в зареве открылась им
Пещера под скалою,
Спешит к убежищу Вадим;
Заботливой рукою
Он снял сопутницу с коня,
Сложил с рамен кольчугу,
Зажег костер, и близ огня,
Взяв на руки подругу,
На броню сел. Дымясь, сверкал
В костре огонь трескучий;
Поверх пещеры гром летал,
И бунтовали тучи.

И, прислонив к груди своей
Вадим княжну младую,
Из золотых ее кудрей
Жал влагу дождевую;
И, к персям девственным уста
Прижав, их грел дыханьем;
И в них вливалась теплота;
И с тихим трепетаньем
Они касалися устам;
И девица молчала;
И, к юноши прильнув плечам,
Рука ее пылала.

Лазурны очи опустя,
В объятиях Вадима,
Она, как тихое дитя,
Лежала недвижима;
И что с невинною душой
Сбылось — не постигала;
Лишь сердце билось, и порой,
Вся вспыхнув, трепетала;
Лишь пламень гаснущий сиял
Сквозь тень ресниц склоненных,
И вздох невольный вылетал
Из уст воспламененных.

А витязь?.. Что с его душой?..
Увы! сих взоров сладость,
Сих чистых, под его рукой
Горящих персей младость,
И мягкий шелк кудрей густых,
По раменам разлитых,
И свежий блеск ланит младых,
И уст полуоткрытых
Палящий жар, и тихий глас,
И милое смятенье,
И ночи таинственный час,
И вкруг уединенье —

Всё чувства разжигало в нем...
О власть очарованья!
Уже, исполнены огнем
Кипящего лобзанья,
На девственных ее устах
Его уста горели,
И жарче розы на щеках
Дрожащей девы рдели;
И всё... но вдруг смутился он,
И в радостном волненьи
Затрепетал... знакомый звон
Раздался в отдаленьи.

И долго, жалобно звенел
Он в бездне поднебесной;
И кто-то, чудилось, летел
Незримый, но известный;

И взор, исполненный тоской,
Мелькал сквозь покрывало;
И под воздушной пеленой
Печальное вздыхало...
Но вдруг сильней потрясся лес,
И небо зашумело...
Вадим взглянул — призрак исчез;
А в вышине... звенело.

И вслед за милою мечтой
Душа его стремится;
Уже, подернувшись золой,
Едва, едва курится
В костре огонь; на небесах
Нет туч, не слышно рева;
Небрежно на его руках,
Припав к ним грудью, дева
Младенческий вкушает сон,
И тихо, тихо дышит;
И близок уж рассвет; а он
Не видит и не слышит.

Стал веять свежий ветерок,
Взошла звезда денницы,
И обагрянился восток,
И пробудились птицы;
Копытом топнув, конь заржал;
Вадим очнулся — ясно
Всё было вкруг; но сон смыкал
Глаза княжны прекрасной;
К ней тихо прикоснулся он;
Вздохнув, она одела
Власами грудь сквозь тонкий сон,
Взглянула — покраснела.

И витязь в шлеме и броне
Из-под скалы с княжною
Выходит. Солнце в вышине
Горело; под горою,
Сияя, пену расстилал
По камням Днепр широкий;
И лес кругом благоухал;
И благовест далекий

Был слышен. На коня Вадим,
Перекрестясь, садится;
Княжна попрежнему за ним;
И конь по брегу мчится.

Вдруг путь широкий меж древес:
Их чаща раздалася,
И в голубой дали небес,
Как звездочка, зажглася
Глава Печерская с крестом.
Конь скачет быстрым скоком;
Уж в граде он; уж пред дворцом;
И видят: на высоком
Крыльце великий князь стоит;
В очах его кручина;
Перед крыльцом народ кипит,
И строится дружина.

И смелых вызывает он
В погоню за княжною,
И избавителю свой трон
Сулит с ее рукою.
Но топот слышен в тишине;
Густая пыль клубится;
И видят, с девой на коне
Красивый всадник мчится.
Народ отхлынул, как волна;
Дружина расступилась;
И на руках отца княжна
При кликах очутилась.

Обняв Вадима, князь сказал:
«Я не нарушу слова;
В тебе господь мне сына дал
Заменою родного.
Я стар: будь хилых старца дней
Опорой и усладой;
А смелой доблести твоей
Будь дочь моя наградой.
Когда ж наступит мой конец,
Тогда мою державу
И светлый княжеский венец
Наследуй в честь и славу».

И громко, громко раздалось
Дружины восклицанье;
И зашумело, полилось
По граду ликованье;
Богатый пир на весь народ;
Весь город изукрашен;
Кипит в заздравных кружках мед,
Столы трещат от брашен;
Поют певцы; колокола
Гудят, не умолкая;
И от огней потешных мгла
Зарделася ночная.

Веселье всем; один Вадим
Не весел — мысль далёко.
Сердечной думою томим,
Безмолвен, одинокой,
Ни песням, ни приветам он
Не внемлет равнодушный;
Он ступит шаг — и слышит звон;
Подымет взор — воздушный
Призрáк летает перед ним
В знакомом покрывале;
Приклонит слух — твердят: Вадим,
Не забывайся, дале!

Идет к Днепровым берегам
Он тихими шагами,
И, смутен, взор склонил к водам...
Небесная с звездами
Была в них твердь отражена;
Вдали, против заката,
Всходила полная луна;
Вадим глядит... меж злата
Осыпанных луною волн
Как будто бы чернеет,
В зыбях ныряя, легкий челн,
За ним струя белеет.

Глядит Вадим... челнок плывет...
Натянуто ветрило;
Но без гребца весло гребет;
Без кормщика кормило;

Вадим к нему... к Вадиму он...
Садится... челн помчало...
И вдруг... как будто с юга звон;
И вдруг... всё замолчало...
Плывет челнок; Вадим глядит;
Сверкая, волны плещут;
Лесистый брег назад бежит;
Ночные звезды блещут.

Быстрей, быстрей в реке волна;
Челнок быстрей, быстрее;
Светлее на небе луна;
На бреге лес темнее.
И дале, дале... всё кругом
Молчит... как великаны,
Скалы нагнулись над Днепром;
И, черен, сквозь туманы
Глядится в реку тихий лес
С утесистой стремнины;
И уж луна почти небес
Дошла до половины.

Сидит, задумавшись, Вадим;
Вдруг... что-то пролетело;
И облачко луну, как дым
Невидимый, одело;
Луна посмеркла; по волнам,
По тихим сеням леса,
По брегу, по крутым скалам
Раскинулась завеса;
Шатнул ветрилом ветерок,
И руль зашевелился,
Ко брегу повернул челнок,
Доплыл, остановился.

Вадим на брег; от брега челн;
Ветрило заиграло;
И вдруг вдали, с зыбями волн
Смешавшись, всё пропало.
В недоумении Вадим;
Кругом скалы, как тучи;
Безмолвен, дик, необозрим,
По камням бор дремучий

С реки до брега вышины
Восходит: всё в молчанье...
И тускло падает луны
На мглу вершин сиянье.

И тихо по скалам крутым,
Влекомый тайной силой,
Наверх взбирается Вадим.
Он смотрит — всё уныло;
Как трупы, сосны под травой
Обрушенные тлеют;
На сучьях мох висит седой;
Разинувшись, чернеют
Расселины дуплистых пней,
И в них глазами блещет
Сова, иль чешуями змей,
Ворочаясь, трепещет.

И, мнится, жизни в той стране
От века не бывало;
Как бы с созданья в мертвом сне
Древа, и не смущало
Их сна ничто: ни ветерка
Перед денницей шопот,
Ни легкий шорох мотылька,
Ни вепря тяжкой топот.
Уже Вадим на вышине;
Вдруг бор редеет тёмный;
Раздвинулся... и при луне
Явился холм огромный.

И на вершине древний храм;
Блестящими крестами
Увенчаны главы, к дверям
Тяжелыми винтами
Огромный пригвожден затвор;
Вкруг храма переходы,
Столбы, обрушенный забор,
Растреснутые своды
Трапезы, келий ряд пустых,
И всюду по колени
Полынь, и длинные от них
По скату холма тени.

Вадим подходит: невдали
Могильный видит камень,
Крест наклонился до земли,
И легкий, бледный пламень,
Как свечка, теплится над ним;
И ворон, птица ночи,
На нем, как призрак, недвижим
Сидит, унылы очи
Вперив на месяц. Вдруг, крылом
Взмахнув, он пробудился,
Взвился... и на небе пустом,
Трикраты крикнув, скрылся.

Объял Вадима тайный страх;
Глядит в недоуменье —
И дивное тогда в глазах
Вадимовых явленье:
Он видит, некто приподнял
Иссохшими руками
Могильный камень, бледен встал,
Туманными очами
Блеснул, возвел их к небесам,
Как будто бы моляся,
Пошел, стучаться начал в храм...
Но дверь не отперлася.

Вздохнув, повлекся дале он,
И тихий под стопами
Был слышен шум, и долго, стон
Пуская, меж стенами,
Между обломками столбов,
Как бледный дым, мелькала
Бредуща тень... вдруг меж кустов
Вдали она пропала.
Там, бором покровен, утес
Вздымался, крут и страшен,
И при луне из-за древес
Являлись кровы башен.

Вадим туда: уединен
На груде скал мохнатых,
Над черным бором, обнесен
Оградой стен зубчатых,

Стоит там за́мок, тих, как сна
Безмолвное жилище,
И вся окрест его страна
Угрюма, как кладбище;
И башни по углам стоят,
Как призраки, седые,
И сгромоздилися у врат
Скалы сторожевые.

Душа Вадимова полна
Смятенным ожиданьем —
И светит сумрачным луна
Сквозь облако сияньем.
Но вдруг... слетел с луны туман,
И бор засеребрился,
И за́мок весь, как великан,
Над бором осветился;
И от востока ветерок
Подул передрассветный,
И чу!.. из-за стены звонок
Послышался приветный.

И что ж он видит? По стене
Как тень уединенна,
С восточной к западной стране,
Туманным облеченна
Покровом, девица идет;
Навстречу к ней другая;
И та, приближась, подает
Ей руку и, вздыхая,
Путь одинокий вдоль стены
На запад продолжает;
Другая ж, к за́мку с вышины
Спустившись, исчезает.

И за идущею вослед
Вадим летит очами;
Уж ясен молодой рассвет
Встает меж облаками;
Уж загорается восток...
Она всё дале, дале;
И тихо ранний ветерок
Играет в покрывале;

Идет — глаза опущены,
Глава на грудь склонилась —
Пришла на поворот стены;
Поворотилась; скрылась.

Стоит, как вкопанный, Вадим;
Душа в нем замирает:
Как будто лик свой перед ним
Судьба разоблачает.
Бледнее тусклая луна;
Светлей восток багровый;
И озаряется стена,
И ярко блещут кровы;
К восточной обратясь стране,
Ждет витязь... вдруг вспылала
В нем кровь... глядит... там на стене
Идущая предстала.

Идет; на темный смотрит бор;
Как будто ждет в волненье;
Как бы чего-то ищет взор
В пустынном отдаленье...
Вдруг солнце в пламени лучей
На крае неба стало...
И витязь в блеске перед ней!
Как облак покрывало
Слетело с юного чела —
Их встретилися взоры;
И пала от ворот скала,
И раздались их створы.

Стремится на ограду он;
Идет она с ограды;
Сошлись... о вещий, верный сон!
О час святой награды!
Свершилось! всё — и ранних лет
Прекрасные желанья,
И озаряющие свет
Младой души мечтанья,
И всё, чего мы здесь не зрим,
Что вере лишь открыто —
Всё вдруг явилось перед ним,
В единый образ слито!

Глядят на небо, слезы льют,
Восторгом слов лишенны...
И вдруг из терема идут
К ним девы пробужденны:
Как звезды блещут очеса;
На ясных лицах радость,
И искупления краса,
И новой жизни младость.
О сладкий воскресенья час!
Им мнилось: мир рождался!
Вдруг... звучно благовеста глас
В тиши небес раздался.

И что ж? храм божий отворен;
Там слышится моленье;
Они туда: храм освещен;
В кадильницах куренье;
Перед угодником горит,
Как в древни дни, лампада,
И благодатное бежит
Сияние от взгляда;
И некто, светел, в алтаре
Простерт перед потиром,
И возглашается горе
Хвала незримым клиром.

Молясь, с подругой стал Вадим
Пред царскими дверями,
И вдруг... святой налой пред ним;
Главы их под венцами;
В руках их свечи зажжены;
И кольца обручальны
На персты их возложены;
И слышен гимн венчальный...
И вдруг... всё тихо! гимн молчит;
Безмолвны своды храма;
Один лишь, таинствен, блестит
Алтарь средь фимиама.

И в сем молчаньи кто-то к ним
Приветный подлетает,
Их кличет именем родным,
Их нежно отзывает...

Куда же?.. о священный вид!
Могила перед ними;
И в ней спокойно; дерн покрыт
Цветами молодыми;
И дышит ветерок окрест,
Как дух бесплотный, вея;
И обвивает светлый крест
Прекрасная лилея.

Они упали ниц в слезах;
Их сердце вести ждало
И трепетом священный прах
Могилы вопрошало...
И было всё для них ответ:
И холм помолоделый,
И луга обновленный цвет,
И бег реки веселый,
И воскрешенны древеса
С вершинами живыми,
И, как бессмертье, небеса
Спокойные над ними...

Промчались веки вслед векам...
Где зáмок? где обитель?
Где чудом освященный храм?..
Всё скрылось... лишь, хранитель
Давно минувшего, живет
На прахе их преданье.
Есть место... там игривых вод
Пленительно сверканье;
Там вечно зелен пышный лес;
Там сладок ветра шопот,
И с тихим говором древес
Волны слиянный ропот.

На месте оном — так гласит
Правдивое преданье —
Был пепел инокинь сокрыт:
В посте и покаянье
При гробе грешника-отца
Они кончины ждали,
И примиренного творца
В молитвах прославляли...

И улетела к небесам
С земли их жизнь святая,
Как улетает фимиам
С кадил, благоухая.

На месте оном — в светлый час
Земли преображенья —
Когда, послышав утра глас,
С звездою пробужденья,
Востока ангел в тишине
На край небес взлетает,
И по туманной вышине
Зарю распростирает,
Когда и холм, и луг, и лес,
Всё оживленным зрится
И пред святилищем небес,
Как жертва, всё дымится, —

Бывают тайны чудеса,
Невиданные взором:
Отшельниц слышны голоса;
Горé хвалебным хором
Поют; сквозь занавес зари
Блистает крест; слиянны
Из света зрятся алтари;
И, яркими венчанны
Звездами, девы предстоят
С молитвой их святыне,
И серафимов тьмы кипят
В пылающей пучине.

РЫБАК

Бежит волна, шумит волна!
Задумчив, над рекой
Сидит рыбак; душа полна
Прохладной тишиной.
Сидит он час, сидит другой;
Вдруг шум в волнах притих...
И влажною всплыла главой
Красавица из них.

Глядит она, поет она:
«Зачем ты мой народ
Манишь, влечешь с родного дна,
В кипучий жар из вод?
Ах! если б знал, как рыбкой жить
Привольно в глубине,
Не стал бы ты себя томить
На знойной вышине.

Не часто ль солнце образ свой
Купает в лоне вод?
Не свежей ли горит красой
Его из них исход?
Не с ними ли свод неба слит
Прохладно-голубой?
Не в лоно ль их тебя манит
И лик твой молодой?»

Бежит волна, шумит волна...
На берег вал плеснул!
В нем вся душа, тоски полна,
Как будто друг шепнул!
Она поет, она манит —
Знать, час его настал!
К нему она, он к ней бежит...
И след навек пропал.

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ

«Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине —
И любви твоей страданье
Непонятно мне».

Он глядит с немой печалью —
Участь решена;
Руку сжал ей; крепкой сталью
Грудь обложена;
Звонкий рог созвал дружину;
Все уж на конях;
И помчались в Палестину,
Крест на раменах.

Уж в толпе врагов сверкают
Грозно шлемы их;
Уж отвагой изумляют
Чуждых и своих.
Тогенбург лишь выйдет к бою:
Сарацин бежит...
Но душа в нем всё тоскою
Прежнею болит.

Год прошел без утоленья...
Нет уж сил страдать;
Не найти ему забвенья —
И покинул рать.
Зрит корабль — шумят ветрилы,
Бьет в корму волна —
Сел и поплыл в край тот милый,
Где цветет она.

Но стучится к ней напрасно
	В двери пилигрим;
Ах, они с молвой ужасной
	Отперлись пред ним:
«Узы вечного обета
	Приняла она;
И, погибшая для света,
	Богу отдана».

Пышны праотцев палаты
	Бросить он спешит;
Навсегда покинул латы;
	Конь навек забыт;
Власяной покрыт одеждой,
	Инок в цвете лет,
Неукрашенный надеждой,
	Он оставил свет.

И в убогой келье скрылся
	Близ долины той,
Где меж темных лип светился
	Монастырь святой:
Там — сияло ль утро ясно,
	Вечер ли темнел —
В ожиданьи, с мукой страстной,
	Он один сидел.

И душе его унылой
	Счастье там одно:
Дожидаться, чтоб у милой
	Стукнуло окно,
Чтоб прекрасная явилась,
	Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
	Ангел тишины.

И дождавшися, на ложе
	Простирался он;
И надежда: *завтра то же!*
	Услаждала сон.
Время годы уводило...
	Для него ж одно:

Ждать, как ждал он, чтоб у милой
Стукнуло окно;

Чтоб прекрасная явилась;
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.
Раз — туманно утро было —
Мертв он там сидел,
Бледен ликом, и уныло
На окно глядел.

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник,
Обняв, его держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой». —
«О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».

«Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит». —
«О нет, мой младенец, ослышался ты,
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». —
«О нет, всё спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне».

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой». —
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».

Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.

ГРАФ ГАПСБУРГСКИЙ

Торжественным Ахен весельем шумел;
    В старинных чертогах, на пире
Рудольф, император избранный, сидел
    В сиянье венца и в порфире.
Там кушанья рейнский фальцграф разносил;
Богемец напитки в покалы цедил;
    И семь избирателей, чином
Устроенный древле свершая обряд,
Блистали, как звезды пред солнцем блестят,
    Пред новым своим властелином.

Кругом возвышался богатый балкон,
    Ликующим полный народом;
И клики, со всех прилетая сторон,
    Под древним сливалися сводом.
Был кончен раздор; перестала война;
Бесцарственны, грозны прошли времена;
    Судья над землею был снова;
И воля губить у меча отнята;
Не брошены слабый, вдова, сирота
    Могущим во власть без покрова.

И кесарь, наполнив покал золотой,
    С приветливым взором вещает:
«Прекрасен мой пир; всё пирует со мной;
    Всё царский мой дух восхищает...
Но где ж утешитель, пленитель сердец?
Придет ли мне душу растрогать певец
    Игрой и благим поученьем?
Я песней был другом, как рыцарь простой;
Став кесарем, брошу ль обычай святой
    Пиры услаждать песнопеньем?»

И вдруг из среды величавых гостей
    Выходит, одетый таларом,

Певец в красоте поседелых кудрей,
Младым преисполненный жаром.
«В струнах золотых вдохновенье живет.
Певец о любви благодатной поет,
О всем, что святого есть в мире,
Что душу волнует, что сердце манит...
О чем же властитель воспеть повелит
Певцу на торжественном пире?» —

«Не мне управлять песнопевца душой
(Певцу отвечает властитель);
Он высшую силу признал над собой;
Минута ему повелитель;
По воздуху вихорь свободно шумит;
Кто знает, откуда, куда он летит?
Из бездны поток выбегает:
Так песнь зараждает души глубина,
И темное чувство, из дивного сна
При звуках воспрянув, пылает».

И смело ударил певец по струнам,
И голос приятный раздался:
«На статном коне, по горам, по полям
За серною рыцарь гонялся;
Он с ловчим одним выезжает сам-друг
Из чащи лесной на сияющий луг
И едет он шагом кустами;
Вдруг слышат они: колокольчик гремит;
Идет из кустов понамарь и звонит;
И следом священник с дарами.

И набожный граф, умиленный душой,
Колена свои преклоняет,
С сердечною верой, с горячей мольбой
Пред тем, кто живит и спасает.
Но лугом стремился кипучий ручей;
Свирепо надувшись от сильных дождей,
Он путь заграждал пешеходу;
И спутнику пастырь дары отдает;
И обувь снимает и смело идет
С священною ношею в воду.

«Куда?» — изумившийся граф вопросил. —
«В село; умирающий нищий

Ждет в муках, чтоб пастырь его разрешил,
И алчет небесныя пищи.
Недавно лежал через этот поток
Сплетенный из сучьев для пеших мосток —
Его разбросало водою;
Чтоб душу святой благодатью спасти,
Я здесь неглубокий поток перейти
Спешу обнаженной стопою».

И пастырю витязь коня уступил,
И подал ноге его стремя,
Чтоб он облегчить покаяньем спешил
Страдальцу греховное бремя.
И к ловчему сам на седло пересел,
И весело в чащу на лов полетел;
Священник же, требу святую
Свершивши, при первом мерцании дня
Является к графу, смиренно коня
Ведя за узду золотую.

«Дерзну ли помыслить я, — граф возгласил,
Почтительно взоры склонивши, —
Чтоб конь мой ничтожной забаве служил,
Спасителю богу служивши?
Когда ты, отец, не приемлешь коня,
Пусть будет он даром благим от меня
Отныне тому, чье даянье
Все блага земные, и сила и честь,
Кому не помедлю на жертву принесть
И силу и честь и дыханье». —

«Да будет же вышний господь над тобой
Своей благодатью святою;
Тебя да почтит он в сей жизни и в той,
Как днесь он почтен был тобою;
Гельвеция славой сияет твоей;
И шесть расцветают тебе дочерей,
Богатых дарами природы:
Да будут же (молвил пророчески он)
Уделом их шесть знаменитых корон;
Да славятся в роды и роды».

Задумавшись, голову кесарь склонил:
Минувшее в нем оживилось.

Вдруг быстрый он взор на певца устремил —
И таинство слов объяснилось:
Он пастыря видит в певце пред собой;
И слезы свои от толпы золотой
Порфирой закрыл в умиленье...
Всё смолкло, на кесаря очи подняв,
И всяк догадался, кто набожный граф,
И сердцем почтил провиденье.

УЗНИК

«За днями дни идут, идут...
Напрасно;
Они свободны не ведут
Прекрасной;
Об ней тоскую и молюсь,
Ее зову, не дозовусь.

Смотрю в высокое окно
Темницы:
Всё небо светом зажжено
Денницы;
На свежих крыльях ветерка
Летают вольны облака.

И так все блага заменить
Могилой;
И бросить свет, когда в нем жить
Так мило;
Ах дайте в свете подышать;
Еще мне рано умирать.

Лишь миг весенним бытиём
Жила я;
Лишь миг на празднике земном
Была я;
Душа готовилась любить...
И всё покинуть, всё забыть!»

Так голос заунывный пел
В темнице...
И сердцем юноша летел
К певице.
Но он в неволе, как она;
Меж ними хладная стена.

И тщетно с ней он разлучён
Стеною:
Невидимую знает он
Душою;
И мысль об ней и день и ночь
От сердца не отходит прочь.

Всё видит он: во тьме она
Тюрёмной
Сидит, раздумью предана,
Взор томной;
Младенчески прекрасен вид;
И слезы падают с ланит.

И ночью, забывая сон,
В мечтанье,
Ее подслушивает он
Дыханье;
И на устах его горит
Огонь ее младых ланит.

Таясь, страдания одне
Делить с ней,
В одной темничной глубине
Молить с ней
Согласной думой и тоской
От неба участи одной —

Вот жизнь его: другой не ждет
Он доли;
Он, равнодушный, не зовет
И воли:
С ней розно в свете жизни нет;
Прекрасен только ею свет.

«Не ты ль — он мнит — давно была
Любима?
И не тебя ль душа звала,
Томима
Желанья смутного тоской,
Волненьем жизни молодой?

Тебя в пророчественном сне
Видал я;
Тобою в пламенной весне
Дышал я,
Ты мне цвела в живых цветах;
Твой образ веял в облаках.

Когда же сердце ясный взор
Твой встретит?
Когда, разрушив сей затвор,
Осветит
Свобода жизнь вдвоем для нас?
Лети, лети, желанный час».

Напрасно; час не прилетел
Желанный;
Другой создателем удел
Избранный
Достался узнице младой —
Небесно-тайный, не земной.

Раз слышит он: затворов гром,
Рыданье,
Звук цепи, голоса́... потом
Молчанье...
И ужас грудь его томит —
И тщетно ждет он... всё молчит.

Увы! удел его решен...
Угрюмый,
Навек грядущего лишен,
Все думы
За ней он в гроб переселил
И молит рок, чтоб поспешил.

Однажды — только занялась
Денница —
Его со стуком расперлась
Темница.
«О радость (мнит он) скоро к ней!»
И что ж... Свобода у дверей,

Но хладно принял он привет
Свободы:
Прекрасного уж в мире нет;
Дни, годы
Напрасно будут проходить...
Погибшего не возвратить.

Ах! слово милое об ней
Кто скажет?
Кто след ее забытых дней
Укажет?
Кто знает, где она цвела?
Где тот, кого *своим* звала?

И нет ему в семье родной
Услады;
Задумчив, грустию немой
Он взгляды
Сердечные встречает их;
Он в людстве сумрачен и тих.

Настанет день — ни с места он;
Безгласный,
Душой в мечтанье погружен,
Взор страстный
Исполнен смутного огня,
Стоит он, голову склоня.

Но тихо в сумраке ночей
Он бродит
И с неба темного очей
Не сводит:
Звезда знакомая там есть;
Она к нему приносит весть...

О милом весть и в мир иной
Призванье...
И делит с тайной он звездой
Страданье;
Ее краса оживлена:
Ему в ней светится *она*.

Он таял, гаснул, и угас...
И мнилось,
Что вдруг пред ним в последний час
Явилось
Всё то, чего душа ждала,
И жизнь в улыбке отошла.

ИВАНОВ ВЕЧЕР

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
Он коня, торопясь в Бротерстон.

Не с могучим Боклю совокупно спешил
На военное дело барон;
Не в кровавом бою переведаться мнил
За Шотландию с Англией он;

Но в железной броне он сидит на коне:
Наточил он свой меч боевой;
И покрыт он щитом; и топор за седлом
Укреплен двадцати-фунтовой.

Через три дни домой возвратился барон,
Отуманен и бледен лицом;
Через силу и конь, опенён, запылен,
Под тяжелым ступал седоком.

Анкрамморския битвы барон не видал,
Где потоками кровь их лилась,
Где на Эверса грозно Боклю напирал,
Где за родину бился Дуглас;

Но железный шелом был иссечен на нём,
Был изрублен и панцырь и щит,
Был недавнею кровью топор за седлом,
Но не английской кровью покрыт.

Соскочив у часовни с коня за стеной,
Притаяся в кустах, он стоял;
И три раза он свистнул — и паж молодой
На условленный свист прибежал.

«Подойди, мой малютка, мой паж молодой,
И присядь на колена мои;
Ты младенец, но ты откровенен душой,
И слова непритворны твои.

Я в отлучке был три дни, мой паж молодой;
Мне теперь ты всю правду скажи:
Что заметил? Что было с твоей госпожой?
И кто был у твоей госпожи?» —

«Госпожа по ночам к отдаленным скалам,
Где маяк, приходила тайком
(Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам
Не прокрасться во мраке ночном).

И на первую ночь непогода была,
И без умолку филин кричал;
И она в непогоду ночную пошла
На вершину пустынную скал.

Тихомолком подкрался я к ней в темноте;
И сидела одна — я узрел;
Не стоял часовой на пустой высоте;
Одиноко маяк пламенел.

На другую же ночь — я за ней по следам
На вершину опять побежал —
О творец, у огня одинокого там
Мне неведомый рыцарь стоял.

Подпершися мечом, он стоял пред огнём
И беседовал долго он с ней;
Но под шумным дождём, но при ветре ночном
Я расслушать не мог их речей.

И последняя ночь безненастна была,
И порывистый ветер молчал;
И к маяку она на свиданье пошла;
У маяка уж рыцарь стоял.

И сказала (я слышал): «В полуночный час,
Перед светлым Ивановым днём,

Приходи ты; мой муж неопасен для нас;
Он теперь на свиданьи ином;

Он с могучим Боклю ополчился теперь;
Он в сраженьи забыл про меня —
И тайком отопру я для милого дверь
Накануне Иванова дня». —

«Я не властен притти, я не должен притти,
Я не смею притти (был ответ);
Пред Ивановым днем одиноким путем
Я пойду... мне товарища нет». —

«О сомнение прочь! безмятежная ночь
Пред великим Ивановым днем
И тиха и темна и свиданьям она
Благосклонна в молчаньи своем.

Я собак привяжу, часовых уложу,
Я крыльцо пересыплю травой,
И в приюте моем, пред Ивановым днем,
Безопасен ты будешь со мной». —

«Пусть собака молчит, часовой не трубит,
И трава не слышна под ногой:
Но священник есть там; он не спит по ночам;
Он приход мой узнает ночной». —

«Он уйдет к той поре: в монастырь на горе
Панихиду он позван служить:
Кто-то был умерщвлён; по душе его он
Будет три дни поминки творить».

Он нахмурясь глядел, он как мертвый бледнел,
Он ужасен стоял при огне.
«Пусть о том, кто убит, он поминки творит:
То, быть может, поминки по мне.

Но полуночный час благосклонен для нас:
Я приду под защитою мглы».
Он сказал... и она... я смотрю... уж одна
У маяка пустынной скалы».

И Смальгольмский барон, поражен, раздражен,
И кипел и горел и сверкал.
«Но скажи, наконец, кто ночной сей пришлец?
Он, клянусь небесами, пропал!» —

«Показалося мне, при блестящем огне:
Был шелом с соколиным пером,
И палаш боевой на цепи золотой,
Три звезды на щите голубом». —

«Нет, мой паж молодой, ты обманут мечтой;
Сей полуночный, мрачный пришлец
Был не властен притти: он убит на пути;
Он в могилу зарыт, он мертвец». —

«Нет! не чудилось мне; я стоял при огне
И увидел, услышал я сам,
Как его обняла, как его назвала:
То был рыцарь Ричард Кольдингам».

И Смальгольмский барон, изумлен, поражен,
И хладел и бледнел и дрожал.
«Нет! в могиле покой; он лежит под землей,
Ты неправду мне, паж мой, сказал.

Где бежит и шумит меж утесами Твид,
Где подъемлется мрачный Эльдон,
Уж три ночи, как там твой Ричард Кольдингам
Потаенным врагом умерщвлен.

Нет! сверканье огня ослепило твой взгляд;
Оглушен был ты бурей ночной;
Уж три ночи, три дня, как поминки творят
Чернецы за его упокой».

Он идет в ворота, он уже на крыльце,
Он взошел по крутым ступеням
На площадку и видит: с печалью в лице
Одиноко-уныла там

Молодая жена — и тиха и бледна,
И в мечтании грустном глядит
На поля, небеса, на Мертонски леса,
На прозрачно бегущую Твид.

«Я с тобою опять, молодая жена».—
«В добрый час, благородный барон.
Что расскажешь ты мне? Решена ли война?
Поразил ли Боклю иль сражён?» —

«Англичанин разбит; англичанин бежит
С Анкрамморских кровавых полей;
И Боклю наблюдать мне маяк мой велит
И беречься недобрых гостей».

При ответе таком изменилась лицом,
И ни слова... ни слова и он;
И пошла в свой покой с наклоненной главой,
И за нею суровый барон.

Ночь покойна была, но заснуть не дала.
Он вздыхал, он с собой говорил:
«Не пробудится он; не подымется он;
Мертвецы не встают из могил».

Уж заря занялась; был таинственный час
Меж рассветом и утренней тьмой;
И глубоким он сном пред Ивановым днём
Вдруг заснул близ жены молодой.

Не спалося лишь ей, не смыкала очей...
И бродящим, открытым очам,
При лампадном огне, в шишаке и броне
Вдруг явился Ричард Кольдингам.

«Воротись, удалися», — она говорит.
«Я к свиданью тобой приглашен;
Мне известно, кто здесь, неожиданный, спит:
Не страшись, не услышит нас он.

Я во мраке ночном потаенным врагом
На дороге изменой убит;
Уж три ночи, три дня, как монахи меня
Поминают — и труп мой зарыт.

Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной!
И ужасный теперь ему сон!
И надолго во мгле на пустынной скале,
Где маяк, я бродить осуждён;

Где видалися мы под защитою тьмы,
Там скитаюсь теперь мертвецом:
И сюда с высоты не сошел бы... но ты
Заклинала Ивановым днем».

Содрогнулась она и, смятенья полна,
Вопросила: „Но что же с тобой?
Дай один мне ответ — ты спасен ли иль нет?..»
Он печально потряс головой.

«Выкупается кровью пролитая кровь —
То убийце скажи моему.
Беззаконную небо карает любовь —
Ты сама будь свидетель тому».

Он тяжелою шуйцей коснулся стола;
Ей десницею руку пожал —
И десница как острое пламя была,
И по членам огонь пробежал.

И печать роковая в столе вожжена:
Отразилися пальцы на нём;
На руке ж — но таинственно руку она
Закрывала с тех пор полотном.

Есть монахиня в древних Драйбургских стенах
И грустна и на свет не глядит;
Есть в Мельрозской обители мрачный монах:
И дичится людей и молчит.

Сей монах молчаливый и мрачный — кто он?
Та монахиня — кто же она?
То убийца, суровый Смальгольмский барон;
То его молодая жена.

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пал Приамов град священный;
Грудой пепла стал Пергам;
И победой насыщенны,
К острогрудым кораблям
Собрались Эллены — тризну
В честь минувшего свершить
И в желанную отчизну,
К берегам Эллады плыть.

Пойте, пойте гимн согласной:
Корабли обращены
От враждебной стороны
К нашей Греции прекрасной.

Брегом шла толпа густая
Илионских дев и жен:
Из отеческого края
Их вели в далекий плен.
И с победной песнью дикой
Их сливался тихий стон
По тебе, святой, великой,
Невозвратный Илион.

Вы, родные холмы, нивы,
Нам вас боле не видать;
Будем в рабстве увядать...
О, сколь мертвые счастливы!

И с предведеньем во взгляде
Жертву сам Калхас заклал:
Грады зиждущей Палладе
И губящей (он воззвал),
Буреносцу Посидону,
Воздымателю валов,
И носящему Горгону
Богу смертных и богов!

Суд окончен; спор решился;
Прекратилася борьба;
Всё исполнила Судьба:
Град великий сокрушился.

Царь народов, сын Атрея,
Обозрел полков число;
Вслед за ним на брег Сигея
Много, много их пришло...
И незапный мрак печали
Отуманил царский взгляд:
Благороднейшие пали...
Мало с ним пойдет назад.

Счастлив тот, кому сиянье
Бытия сохранено,
Тот, кому вкусить дано
С милой родиной свиданье!

И не всякий насладится
Миром, в свой пришедши дом:
Часто злобный ков таится
За домашним алтарем;
Часто Марсом пощаженный
Погибает от друзей
(Рек, Палладой вдохновенный,
Хитроумный Одиссей).

Счастлив тот, чей дом украшен
Скромной верностью жены!
Жены алчут новизны:
Постоянный мир им страшен.

И стоящий близ Елены
Менелай тогда сказал:
Плод губительный измены —
Ею сам изменник пал;
И погиб виной Парида
Отягченный Илион...
Неизбежен суд Кронида,
Всё блюдет с Олимпа он.

Злому злой конец бывает:
Гибнет жертвой Эвменид,
Кто безумно, как Парид,
Право гостя оскверняет.

Пусть веселый взор счастливых
(Оилеев сын сказал)
Зрит в богах богов правдивых;
Суд их часто слеп бывал:
Скольких бодрых жизнь поблёкла!
Скольких низких рок щадит!..
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит.

Смертный, царь Зевес Фортуне
Своенравной предал нас:
Уловляй же быстрый час,
Не тревожа сердца втуне.

Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь,
Ты, мой брат, ты, под удары
Подставлявший твердо грудь,
Ты, который нас, пожаром
Осажденных, защитил...
Но коварнейшему даром
Щит и меч Ахиллов был.

Мир тебе во тьме Эрева!
Жизнь твою не враг отнял:
Ты своею силой пал,
Жертва гибельного гнева.

О Ахилл! о мой родитель!
(Возгласил Неоптолем)
Быстрый мира посетитель,
Жребий лучший взял ты в нем.
Жить в любви племен делами —
Благо первое земли;
Будем вечны именами
И сокрытые в пыли!

Слава дней твоих нетленна;
В песнях будет цвесть она:
Жизнь живущих не верна,
Жизнь отживших неизменна!

Смерть велит умолкнуть злобе:
(Диомед провозгласил)
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Велєдушно пролил кровь;
Победившим — честь победы!
Охранявшему — любовь!

Кто, на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом:
Тот, почтенный и врагом,
Будет жить в преданьях славы.

Нестор, жизнью убеленный,
Нацедил вина фиал
И Гекубе сокрушенной
Дружелюбно выпить дал.
Пей страданий утоленье;
Добрый Вакхов дар вино:
И веселость и забвенье
Проливает в нас оно.

Пей, страдалица! печали
Услаждаются вином:
Боги жалостные в нём
Подкрепленье сердцу дали.

Вспомни матерь Ниобею:
Что изведала она!
Сколь ужасная над нею
Казнь была совершена!
Но и с нею, безотрадной,
Добрый Вакх недаром был:
Он струею виноградной
В миг тоску в ней усыпил.

Если грудь вином согрета,
И в устах вино кипит:
Скорби наши быстро мчит
Их смывающая Лета.

И вперила взор Кассандра,
Вняв шепнувшим ей богам,
На пустынный брег Скамандра,
На дымящийся Пергам.
Всё великое земное
Разлетается как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим...

Смертный, силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи;
Спящий в гробе, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущий.

КУБОК

«Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой
В ту бездну прыгнет с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой:
Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной».

Так царь возгласил и с высокой скалы,
Висевшей над бездной морской,
В пучину бездонной, зияющей мглы
Он бросил свой кубок златой.
«Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?»

Но рыцарь и латник недвижно стоят;
Молчанье — на вызов ответ;
В молчаньи на грозное море глядят;
За кубком отважного нет.
И в третий раз царь возгласил громогласно:
«Отыщется ль смелый на подвиг опасной?»

И все безответны... вдруг паж молодой
Смиренно и дерзко вперед;
Он снял епанчу, снял пояс он свой;
Их молча на землю кладет...
И дамы и рыцари мыслят, безгласны:
Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?

И он подступает к наклону скалы,
И взор устремил в глубину...
Из чрева пустыни бежали валы,
Шумя и гремя, в вышину;
И волны спирались, и пена кипела:
Как будто гроза, наступая, ревела.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
    Как влага мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
    Дымящимся пена столбом;
Пучина бунтует, пучина клокочет...
Не море ль из моря извергнуться хочет?

И вдруг, успокоясь, волненье легло;
    И грозно из пены седой
Разинулось черною щелью жерло;
    И воды обратно толпой
Помчались во глубь истощеннаго чрева;
И глубь застонала от грома и рева.

И он, упредя разъяренный прилив,
    Спасителя-бога призвал...
И дрогнули зрители, все возопив —
    Уж юноша в бездне пропал.
И бездна таинственно зев свой закрыла:
Его не спасет никакая уж сила.

Над бездной утихло... в ней глухо шумит...
    И каждый, очей отвести
Не смея от бездны, печально твердит:
    «Красавец отважный, прости!»
Всё тише и тише на дне ее воет...
И сердце у всех ожиданием ноет.

«Хоть брось ты туда свой венец золотой,
    Сказав: *кто венец возвратит,*
Тот с ним и престол мой разделит со мной!
    Меня твой престол не прельстит.
Того, что скрывает та бездна немая,
Ничья здесь душа не расскажет живая.

Не мало судов, закруженных волной,
    Глотала ее глубина:
Все мелкой назад вылетали щепой
    С ее неприступного дна...»
Но слышится снова в пучине глубокой
Как будто роптанье грозы недалёкой.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
    Как влага мешаясь с огнем,

Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом...
И брызнул поток с оглушительным ревом,
Извергнутый бездны зияющим зевом.

Вдруг... что-то сквозь пену седой глубины
Мелькнуло живой белизной...
Мелькнула рука и плечо из волны...
И борется, спорит с волной...
И видят — весь берег потрясся от клича —
Он левою правит, а в правой добыча.

И долго дышал он, и тяжко дышал,
И божий приветствовал свет...
И каждый с весельем «Он жив! — повторял: —
Чудеснее подвига нет!
Из темного гроба, из пропасти влажной
Спас душу живую красавец отважной».

Он на берег вышел; он встречен толпой;
К царевым ногам он упал;
И кубок у ног положил золотой;
И дочери царь приказал:
Дать юноше кубок с струей винограда;
И в сладость была для него та награда.

«Да здравствует царь! Кто живет на земле,
Тот жизнью земной веселись!
Но страшно в подземной таинственной мгле...
И смертный пред богом смирись:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, им мудро от нас сокровенной.

Стрелою стремглав полетел я туда...
И вдруг мне навстречу поток;
Из трещины камня лилася вода;
И вихорь ужасный повлек
Меня в глубину с непонятною силой...
И страшно меня там кружило и било.

Но богу молитву тогда я принес,
И он мне спасителем был:

Торчащий из мглы я увидел утес
И крепко его обхватил;
Висел там и кубок на ветви коралла:
В бездонное влага его не умчала.

И смутно всё было внизу подо мной
В пурпуровом сумраке там,
Всё спало для слуха в той бездне глухой;
Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груды,
Морской глубины несказанные чуды.

Я видел, как в черной пучине кипят,
В громадный свиваяся клуб:
И млат водяной, и уродливый скат,
И ужас морей однозуб;
И смертью грозил мне, зубами сверкая,
Мокой ненасытный, гиена морская.

И был я один с неизбежной судьбой,
От взора людей далеко;
Один меж чудовищ с любящей душой,
Во чреве земли, глубоко
Под звуком живым человечьего слова,
Меж страшных жильцов подземелья немова.

И я содрогался... вдруг слышу: ползёт
Стоногое грозно из мглы,
И хочет схватить, и разинулся рот...
Я в ужасе прочь от скалы!..
То было спасеньем: я схвачен приливом
И выброшен вверх водомета порывом».

Чудесен рассказ показался царю:
«Мой кубок возьми золотой;
Но с ним я и перстень тебе подарю,
В котором алмаз дорогой,
Когда ты на подвиг отважишься снова
И тайны все дна перескажешь морскова».

То слыша, царевна с волненьем в груди,
Краснея, царю говорит:

«Довольно, родитель, его пощади!
Подобное кто совершит?
И если уж должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младова».

Но царь, не внимая, свой кубок златой
В пучину швырнул с высоты:
«И будешь здесь рыцарь любимейший мой,
Когда с ним воротишься, ты;
И дочь моя, ныне твоя предо мною
Заступница, будет твоею женою».

В нем жизнью небесной душа зажжена;
Отважность сверкнула в очах;
Он видит: краснеет, бледнеет *она*;
Он видит: в *ней* жалость и страх...
Тогда неописанной радостью полный,
На жизнь и погибель он кинулся в волны...

Утихнула бездна... и снова шумит...
И пеною снова полна...
И с трепетом в бездну царевна глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно:
А юноши нет и не будет уж вечно.

ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ

На кровле он стоял высоко
И на Самос богатый око
С весельем гордым преклонял:
«Сколь щедро взыскан я богами!
Сколь счастлив я между царями!»
Царю Египта он сказал.

«Тебе благоприятны боги;
Они к твоим врагам лишь строги
И всех их предали тебе;
Но жив один, опасный мститель;
Пока он дышит... победитель,
Не доверяй своей судьбе».

Еще не кончил он ответа,
Как из союзного Милета
Явился присланный гонец:
«Победой ты украшен новой;
Да обовьет опять лавровый
Главу властителя венец;

Твой враг постигнут строгой местью;
Меня послал к вам с этой вестью
Наш полководец Полидор».
Рука гонца сосуд держала:
В сосуде голова лежала;
Врага узнал в ней царский взор.

И гость воскликнул с содроганьем:
«Страшись! Судьба очарованьем
Тебя к погибели влечет.
Неверные морские волны
Обломков корабельных полны:
Еще не в пристани твой флот».

Еще слова его звучали...
А клики брег уж оглашали,
Народ на пристани кипел;
И в пристань, царь морей крылатый,
Дарами дальних стран богатый,
Флот торжествующий влетел.

И гость, увидя то, бледнеет.
«Тебе Фортуна благодеет...
Но ты не верь, здесь хитрый ков,
Здесь тайная погибель скрыта:
Разбойники морские Крита
От здешних близко берегов».

И только выронил он слово,
Гонец вбегает с вестью новой:
«Победа, царь! Судьбе хвала!
Мы торжествуем над врагами:
Флот критский истреблен богами;
Его их буря пожрала».

Испуган гость нежданной вестью...
«Ты счастлив; но Судьбины лестью
Такое счастье мнится мне:
Здесь вечны блага не бывали,
И никогда нам без печали
Не доставалися оне.

И мне всё в жизни улыбалось;
Неизменяемо казалось,
Я силой вышней был храним;
Все блага прочил я для сына...
Его, его взяла Судьбина;
Я долг мой сыном заплатил.

Чтоб верной избежать напасти,
Моли невидимые власти
Подлить печали в твой фиал.
Судьба и в милостях мздоимец:
Какой, какой ее любимец
Свой век не бедственно кончал?

Когда ж в несчастьи Рок откажет,
Исполни то, что друг твой скажет:

Ты призови несчастье сам.
Твои сокровища несметны:
Из них скорей, как дар заветный,
Отдай любимое богам».

Он гостю внемлет с содроганьем:
«Моим избранным достояньем
Доныне этот перстень был;
Но я готов властям незримым
Добром пожертвовать любимым...»
И перстень в море он пустил.

На утро, только луч денницы
Озолотил верхи столицы,
К царю является рыбарь:
«Я рыбу, пойманную мною,
Чудовище величиною,
Тебе принес в подарок, царь!»

Царь изъявил благоволенье...
Вдруг царский повар в исступленье
С нежданной вестию бежит:
«Найден твой перстень драгоценный,
Огромной рыбой поглощенный,
Он в ней ножом моим открыт».

Тут гость, как пораженный громом,
Сказал: «Беда над этим домом!
Нельзя мне другом быть твоим;
На смерть ты обречен Судьбою:
Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою...»
Сказал и разлучился с ним.

ЖАЛОБА ЦЕРЕРЫ

Снова гений жизни веет;
Возвратилася весна;
Холм на солнце зеленеет;
Лед разрушила волна;
Распустившийся дымится
Благовониями лес,
И безоблачен глядится
В воды зеркальны Зевес;
Всё цветет — лишь мой единый
Не взойдет прекрасный цвет:
Прозерпины, Прозерпины
На земле моей уж нет.

Я везде ее искала,
В дневном свете и в ночи;
Все за ней я посылала
Аполлоновы лучи;
Но ее под сводом неба
Не нашел всезрящий бог;
А подземной тьмы Эреба
Луч его пронзить не мог:
Те брега недостижимы,
И богам их страшен вид...
Там она! неумолимый
Ею властвует Аид.

Кто ж мое во мрак Плутона
Слово к ней перенесет?
Вечно ходит челн Харона,
Но лишь тени он берет.
Жизнь подземного страшится;
Недоступен ад и тих;
И с тех пор, как он стремится,
Стикс не видывал живых;

Тьма дорог туда низводит;
Ни одной оттуда нет;
И отшедший не приходит
Никогда опять на свет.

Сколь завидна мне печальной
Участь смертных матерей!
Легкий пламень погребальной
Возвращает им детей;
А для нас, богов нетленных,
Что усладою утрат?
Нас, безрадостно-блаженных,
Парки строгие щадят...
Парки, Парки, поспешите
С неба в ад меня послать;
Прав богини не щадите:
Вы обрадуете мать.

В тот предел — где, утешенью
И веселию чужда,
Дочь живет — свободной тенью
Полетела б я тогда;
Близ супруга, на престоле
Мне предстала бы она,
Грустной думою о воле
И о матери полна;
И ко мне бы взор склонился,
И меня узнал бы он,
И над нами б прослезился
Сам безжалостный Плутон.

Тщетный призрак! стон напрасный!
Всё одним путем небес
Ходит Гелиос прекрасный;
Всё навек решил Зевес;
Жизнью горнею доволен,
Ненавидя адску ночь,
Он и сам отдать неволен
Мне утраченную дочь.
Там ей быть, доколь Аида
Не осветит Аполлон
Или радугой Ирида
Не сойдет на Ахерон!

Нет ли ж мне чего от милой
В сладкопамятный завет:
Что осталось всё, как было,
Что для нас разлуки нет?
Нет ли тайных уз, чтоб ими
Снова сблизить мать и дочь,
Мертвых с милыми живыми,
С светлым днем подземну ночь?..
Так, не все следы пропали!
К ней дойдет мой нежный клик:
Нам святые боги дали
Усладительный язык.

В те часы, как хлад Борея
Губит нежных чад весны,
Листья падают желтея,
И леса обнажены:
Из руки Вертумна щедрой
Семя жизни взять спешу
И, его в земное недро
Бросив, Стиксу приношу;
Сердцу дочери вверяю
Тайный дар моей руки
И, скорбя, в нем посылаю
Весть любви, залог тоски.

Но когда с небес слетает
Вслед за бурями весна:
В мертвом снова жизнь играет,
Солнце греет семена;
И умершие для взора,
Вняв они весны привет,
Из подземного затвора
Рвутся радостно на свет:
Лист выходит в область неба,
Корень ищет тьмы ночной;
Лист живет лучами Феба,
Корень Стиксовой струей.

Ими таинственно слита
Область тьмы с страною дня,
И приходят от Коцита
С ними вести для меня;

И ко мне в живом дыханье
Молодых цветов весны
Подымается признанье,
Глас родной из глубины;
Он разлуку услаждает,
Он душе моей твердит:
Что любовь не умирает
И в отшедших за Коцит.

О! приветствую вас, чада
Расцветающих полей;
Вы тоски моей услада,
Образ дочери моей;
Вас налью благоуханьем,
Напою живой росой
И с Аврориным сияньем
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенний мрак полей
И мою вещают радость,
И печаль души моей.



Иллюстрация к «Замку Смальгольму» («Иванову вечеру»).

ДОНИКА

Есть озеро перед скалой огромной;
На той скале давно стоял
Высокий замок и громадой тёмной
Прибрежны воды омрачал

На озере ладья не попадалась;
Рыбак страшился удить в нём;
И ласточка, летя над ним, боялась
К нему дотронуться крылом.

Хотя б стада от жажды умирали,
Хотя б палил их летний зной:
От берегов его они бежали
Смятенно-робкою толпой.

Случалося, что ветер и осокой
У озера не шевелил:
А волны в нем вздымалися высоко,
И в них ужасный шопот был.

Случалося, что бурею разима,
Дрожала твердая скала:
А мертвых вод поверхность недвижима
Была спокойнее стекла.

И каждый раз — в то время, как могилой
Кто в замке угрожаем был —
Пророчески, гармонией унылой
Из бездны голос исходил.

И в замке том, могуществом великий,
Жил Ромуальд; имел он дочь;
Пленялось всё красой его Доники:
Лицо — как день, глаза — как ночь.

И рыцарей толпа пред ней теснилась:
Все душу приносили в дар;
Одним из них красавица пленилась:
Счастливец этот был Эврар.

И рад отец; и скоро уж наступит
Желанный, сладкий час, когда
Во храме их священник совокупит
Святым союзом навсегда. —

Был вечер тих, и небеса алели;
С невестой шел рука с рукой
Жених; они на озеро глядели
И услаждались тишиной.

Ни трепета в листах дерев, ни знака
Малейшей зыби на водах...
Лишь лаяньем Доникина собака
Пугала пташек на кустах.

Любовь в груди невесты пламенела
И в темных таяла очах;
На жениха с тоской она глядела:
Ей в душу вкрадывался страх.

Всё было вкруг какой-то полно тайной;
Безмолвно гас лазурный свод;
Какой-то сон лежал необычайной
Над тихою равниной вод.

Вдруг бездна их унылый и глубокой
И тихий голос издала:
Гармония вдали небес высокой
Отозвалась и умерла...

При звуке сем Доника побледнела
И стала сумрачно-тиха;
И вдруг... она трепещет, охладела,
И пала в руки жениха.

Оцепенев, в безумстве исступленья,
Отчаянный он поднял крик...

В Донике нет ни чувства, ни движенья:
Сомкнуты очи, мертвый лик.

Он рвется... плачет... вдруг пошевелились
Ее уста... потрясена
Дыханьем легким грудь... глаза открылись...
И встала медленно она.

И мутными глядит кругом очами,
И к другу на руку легла,
И слабая, неверными шагами
Обратно в замок с ним пошла.

И были с той поры ее ланиты,
Не свежей розы красотой,
Но бледностью могильною покрыты;
Уста пугали синевой.

В ее глазах, столь сладостно сиявших,
Какой-то острый луч сверкал,
И с бледностью ланит, глубоко впавших,
Он что-то страшное сливал.

Ласкаться к ней собака уж не смела;
Ее приkликать не могли;
На госпожу, дичась, она глядела
И выла жалобно вдали.

Но нежная любовь не изменила:
С глубокой нежностью Эврар
Скорбел об ней, и тайной скорби сила
Любви усиливала жар.

И милая, деля его страданья,
К его склонилася мольбам:
Назначен день для бракосочетанья;
Жених повел невесту в храм.

Но лишь туда вошли они, чтоб верный
Пред алтарем обет изречь:
Иконы все померкли вдруг, и серный
Дым побежал от брачных свеч.

И вот жених горячею рукою
Невесту за руку берет...
Но ужас овладел его душою:
Рука та холодна как лед.

И вдруг он вскрикнул... окружен лучами,
Пред ним бесплотный дух стоял,
С ее лицом, улыбкою, очами...
И в нем Донику он узнал.

Сама ж она с ним не стояла рядом:
Он бледный труп один узрел...
А мрачный бес, в нее вселенный адом,
Ужасно взвыл и улетел.

СУД БОЖИЙ НАД ЕПИСКОПОМ

Были и лето и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод; народ умирал.

Но у епископа милостью неба
Полны амбары огромные хлеба;
Жито сберег прошлогоднее он:
Был осторожен епископ Гаттон.

Рвутся толпой и голодный и нищий
В двери епископа, требуя пищи;
Скуп и жесток был епископ Гаттон;
Общей бедою не тронулся он.

Слушать их вопли ему надоело;
Вот он решился на страшное дело:
Бедных из ближних и дальних сторон,
Слышно, скликает епископ Гаттон.

«Дожили мы до нежданного чуда:
Вынул епископ добро из-под спуда;
Бедных к себе на пирушку зовёт».
Так говорил изумленный народ.

К сроку собралися званые гости,
Бледные, чахлые, кожа да кости;
Старый, огромный сарай отворён:
В нем угостит их епископ Гаттон.

Вот уж столпилися под кровлей сарая
Все пришлецы из окружного края...
Как же их принял епископ Гаттон?
Был им сарай и с гостями сожжён.

Глядя епископ на пепел пожарный,
Думает: будут мне все благодарны;
Разом избавил я шуткой моей
Край наш голодный от жадных мышей.

В зáмок епископ к себе возвратился,
Ужинать сел, пировал, веселился,
Спал, как невинный, и снов не видал...
Правда! но боле с тех пор он не спал.

Утром он входит в покой, где висели
Предков портреты, и видит, что съели
Мыши его живописный портрет,
Так, что холстины и признака нет.

Он обомлел; он от страха чуть дышит...
Вдруг он чудесную ведомость слышит:
«Наша округа мышами полна,
В житницах съеден весь хлеб до зерна».

Вот и другое в ушах загремело:
«Бог на тебя за вчерашнее дело!
Крепкий твой зáмок, епископ Гаттон,
Мыши со всех осаждают сторон».

Ход был до Рейна от зáмка подземной;
В страхе епископ дорогою темной
К берегу выйти из зáмка спешит:
В Реинской башне спасусь (говорит).

Башня из Реинских вод подымалась;
Издали острым утесом казалась,
Грозно из пены торчащим, она;
Стены кругом ограждала волна.

В легкую лодку епископ садится;
К башне причалил, дверь запер, и мчится
Вверх по гранитным, крутым ступеням;
В страхе один затворился он там.

Стены из стали казалися слиты,
Были решетками окна забиты,

Ставни чугунные, каменный свод,
Дверью железною запертый вход.

Узник не знает, куда приютиться;
На пол, зажмурив глаза, он ложится...
Вдруг он испуган стенаньем глухим:
Вспыхнули ярко два глаза над ним.

Смотрит он... кошка сидит и мяучит;
Голос тот грешника давит и мучит;
Мечется кошка; невесело ей:
Чует она приближенье мышей.

Пал на колени епископ и криком
Бога зовет в исступлении диком.
Воет преступник... а мыши плывут...
Ближе и ближе... доплыли... ползут.

Вот уж ему в расстоянии близком
Слышно, как лезут с роптаньем и писком;
Слышно, как стену их лапки скребут;
Слышно, как камень их зубы грызут.

Вдруг ворвались неизбежные звери;
Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери,
Спереди, сзади, с боков, с высоты...
Что тут, епископ, почувствовал ты?

Зубы об камни они навострили,
Грешнику в кости их жадно впустили,
Весь по суставам раздернут был он...
Так был наказан епископ Гаттон.

АЛОНЗО

Из далекой Палестины
Возвратясь, певец Алонзо
К за́мку Бальби приближался,
Полон песней вдохновенных:

Там красавица младая,
Струны звонкие подслушав,
Обомлеет, затрепещет,
И с альтана взор наклонит.

Он приходит в за́мок Бальби,
И под окнами поет он
Всё, что сердце молодое
Втайне выдумать умело.

И цветы с высоких окон,
Видит он, к нему склонились;
Но царицы сладких песней
Меж цветами он не видит.

И ему тогда прохожий
Прошептал с лицом печальным:
«Не тревожь покоя мертвых;
Спит во гробе Изолина».

И на то певец Алонзо
Не ответствовал ни слова:
Но глаза его потухли
И не бьется боле сердце.

Как незапным дуновеньем
Ветерок лампаду гасит,
Так угас в одно мгновенье
Молодой певец от слова.

Но в старинной церкви замка,
Где пылали ярко свечи,
Где во гробе Изолина,
Под душистыми цветами,

Бледноликая лежала,
Всех проник незапный трепет:
Оживленная из гроба,
Изолина поднялася...

От бесчувствия могилы
Возвратясь незапно к жизни,
В гробовой она одежде,
Как в уборе брачном, встала;

И, не зная, что с ней было,
Как объятая виденьем,
Изумленная спросила:
Не пропел ли здесь Алонзо?..

Так, пропел он, твой Алонзо!
Но ему не петь уж боле:
Пробудив тебя из гроба,
Сам заснул он и навеки.

Там, в стране преображенных,
Ищет он свою земную,
До него с земли на небо
Улетевшую подругу...

Небеса кругом сияют,
Безмятежны и прекрасны...
И надеждой обольщенный,
Их блаженства пролетая,

Кличет там он: Изолина!
И спокойно раздается:
Изолина! Изолина!
Там в блаженствах безответных.

ЛЕНОРА

Леноре снился страшный сон,
Проснулася в испуге.
«Где милый? Что с ним? Жив ли он?
И верен ли подруге?»
Пошел в чужую он страну
За Фридериком на войну;
Никто об нем не слышит;
А сам он к ней не пишет.

С императрицею король
За что-то раздружились,
И кровь лилась, лилась... доколь
Они не помирились.
И оба войска, кончив бой,
С музыкой, песнями, пальбой,
С торжественностью ратной
Пустились в путь обратной.

Идут! идут! за строем строй;
Пылят, гремят, сверкают;
Родные, ближние толпой
Встречать их выбегают;
Там обнял друга нежный друг,
Там сын отца, жену супруг;
Всем радость.... а Леноре
Отчаянное горе.

Она обходит ратный строй
И друга вызывает;
Но вести нет ей никакой:
Никто об нем не знает.
Когда же мимо рать прошла —
Она свет божий проклила,
И громко зарыдала,
И на землю упала.

К Леноре мать бежит с тоской:
«Что так тебя волнует?
Что сделалось, дитя, с тобой?»
И дочь свою целует. —
«О друг мой, друг мой, всё прошло!
Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло;
Сам бог врагом Леноре...
О горе мне! о горе!» —

«Прости ее, небесный царь!
Родная, помолися;
Он благ, его руки мы тварь:
Пред ним душой смирися». —
«О друг мой, друг мой, всё как сон...
Немилостив со мною он;
Пред ним мой крик был тщетен...
Он глух и безответен». —

«Дитя, от жалоб удержись;
Смири души тревогу;
Пречистых таин причастись,
Пожертвуй сердцем богу». —
«О друг мой, что во мне кипит,
Того и бог не усмирит:
Ни тайнами, ни жертвой
Не оживится мертвой». —

«Но что, когда он сам забыл
Любви святое слово,
И прежней клятве изменил,
И связан клятвой новой?
И ты, и ты об нем забудь;
Не рви тоской напрасной грудь;
Не стоит слез предатель;
Ему судья создатель». —

«О друг мой, друг мой, всё прошло;
Пропавшее пропало;
Жизнь безотрадную на-зло
Мне провиденье дало...
Угасни ты, противный свет!
Погибни жизнь, где друга нет!
Сам бог врагом Леноре
О горе мне! о горе!» —

«Небесный царь, да ей простит
Твое долготерпенье!
Она не знает, что творит:
Ее душа в забвенье.
Дитя, земную скорбь забудь:
Ведет ко благу божий путь;
Смиренным рай награда...
Страшись мучений ада». —

«О друг мой, что небесный рай?
Что адское мученье?
С ним вместе, всё небесный рай;
С ним розно, всё мученье;
Угасни ты, противный свет!
Погибни, жизнь, где друга нет!
С ним розно, умерла я.
И здесь и там для рая».

Так дерзко, полная тоской,
Душа в ней бунтовала...
Творца на суд она с собой
Безумно вызывала,
Терзалась, волосы рвала
До той поры, как ночь пришла,
И темный свод над нами
Усыпался звездами.

И вот... как будто легкий скок
Коня в тиши раздался;
Несется по полю ездок;
Гремя, к крыльцу примчался;
Гремя, взбежал он на крыльцо;
И двери брякнуло кольцо...
В ней жилки задрожали...
Сквозь дверь ей прошептали:

«Скорей! сойди ко мне, мой свет!
Ты ждешь ли друга, спишь ли?
Меня забыла ты, иль нет?
Смеешься ли, грустишь ли?» —
«Ах! милый... бог тебя принес!
А я... от горьких, горьких слез
И свет в очах затмился...
Ты как здесь очутился?» —

«Седлаем в полночь мы коней...
Я еду издалёка.
Не медли, друг; сойди скорей;
Путь долог, мало срока». —
«На что спешить, мой милый, нам?
И ветер воет по кустам,
И тьма ночная в поле;
Побудь со мной на воле». —

«Что нужды нам до тьмы ночной!
В кустах пусть ветер воет.
Часы бегут; конь борзый мой
Копытом землю роет;
Нельзя нам ждать; сойди, дружок;
Нам долгий путь, нам малый срок;
Не в пору сон и нега:
Сто миль нам до ночлега». —

«Но как же конь твой пролетит
Сто миль до утра, милой?
Ты слышишь, колокол гудит:
Одиннадцать пробило». —
«Но месяц встал, он светит нам...
Гладка дорога мертвецам;
Мы скачем, не боимся;
До света мы домчимся». —

«Но где же, где твой уголок?
Где наш приют укромный?» —
«Далеко он... пять, шесть досок...
Прохладный, тихий, тёмный». —
«Есть место мне?» — «Обоим нам.
Поедем! всё готово там;
Ждут гости в нашей келье;
Пора на новоселье!»

Она подумала, сошла,
И на коня вспрыгнула,
И друга нежно обняла,
И вся к нему прильнула.
Помчались... конь бежит, летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

И мимо их холмы, кусты,
Поля, леса летели;
Под конским топотом мосты
Тряслися и гремели.
«Не страшно ль?» — «Месяц светит нам!» —
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» —
«Зачем о них твердишь ты?» —

«Но кто там стонет? Что за звон?
Что ворона взбудило?
По мертвом звон; надгробный стон;
Голосят над могилой».
И виден ход: идут, поют,
На дрогах тяжкий гроб везут,
И голос погребальной,
Как вой совы печальной.

«Заройте гроб в полночный час:
Слезам теперь не место;
За мной! к себе на свадьбу вас
Зову с моей невестой.
За мной, певцы; за мной, пастор;
Пропой нам многолетье, хор;
Нам дай на обрученье,
Пастóр, благословенье».

И звон утих... и гроб пропал...
Столпился хор проворно,
И по дороге побежал
За ними тенью чёрной;
И дале, дале!.. конь летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

И сзади, спереди, с боков
Окрестность вся летела:
Поля, холмы, ряды кустов,
Заборы, домы, села.
«Не страшно ль?» — «Месяц светит нам». —
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» —
«О мертвых всё твердишь ты!»

Вот у дороги, над столбом,
Где висельник чернеет,
Воздушных рой, свиясь кольцом,
Кружится, пляшет, веет.
«Ко мне! за мной, вы плясуны!
Вы все на пир приглашены!
Скачу, лечу жени́ться...
Ко мне! повеселиться!»

И лётом, лётом легкий рой
Пустился вслед за ними,
Шумя, как ветер полевой
Меж листьями сухими.
И дале, дале!.. конь летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

Вдали, вблизи, со всех сторон,
Всё мимо их бежало;
И всё, как тень, и всё, как сон,
Мгновенно пропадало.
«Не страшно ль?» — «Месяц светит нам». —
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» —
«Зачем о них твердишь ты?» —

«Мой конь, мой конь, песок бежит;
Я чую, ночь свежее;
Мой конь, мой конь, петух кричит;
Мой конь, несись быстрее...
Окончен путь; исполнен срок;
Наш близко, близко уголок;
В минуту мы у места...
Приехали, невеста!»

К воротам конь, во весь опор
Примчавшись, стал и топнул;
Ездок бичом стегнул затвор —
Затвор со стуком лопнул;
Они кладбище видят там...
Конь быстро мчится по гробам;
Лучи луны сияют,
Кругом кресты мелькают.

И что ж, Ленора, что потом?
    О страх!.. в одно мгновенье
Кусок одежды за куском
    Слетел с него, как тленье;
И нет уж кожи на костях;
Безглазый череп на плечах;
    Нет каски, нет колета;
    Она в руках скелета.

Конь прянул... пламя из ноздрей
    Волною побежало;
И вдруг... всё пылью перед ней
    Расшиблось и пропало.
И вой и стон на вышине;
И крик в подземной глубине;
    Лежит Ленора в страхе
    Полмертвая на прахе.

И в блеске месячных лучей,
    Рука с рукой летает,
Виясь над ней, толпа теней
    И так ей припевает:
«Терпи, терпи, хоть ноет грудь;
Творцу в бедах покорна будь;
    Твой труп сойди в могилу!
    А душу бог помилуй!»

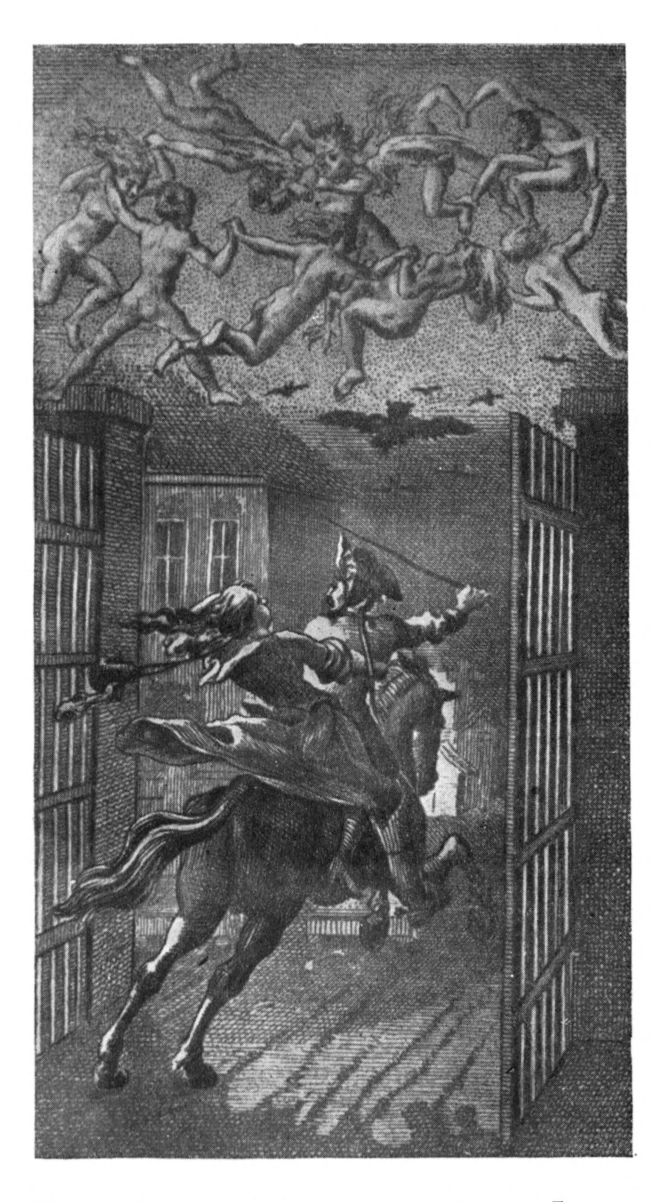


Иллюстрация к немецкому изданию «Lenore» Бюргера.

ПОКАЯНИЕ

Был папа готов литургию свершать,
Сияя в святом облаченьи,
С могуществом, данным ему, отпускать
Всем грешникам их прегрешеньи.

И папа обряд очищенья свершал;
Во прахе народ простирался;
И кто с покаянием прах лобызал,
От всех тот грехов очищался.

Органа торжественный гром восходил
Горе́ во святом фимиаме.
И страх соприсутствия божия был
Разлит благодатно во храме.

Святейшее слово он хочет сказать —
Устам не покорствуют звуки;
Сосуд живоносный он хочет поднять —
Дрожащие падают руки.

«Есть грешник великий во храме святом!
И бремя на нем святотатства!
Нет части ему в разрешеньи моем:
Он здесь не от нашего братства.

Нет слова, чтоб мир водворило оно
В душе, погубленной отныне;
И он обретет осужденье одно
В чистейшей небесной святыне.

Беги ж, осужденный; отвергнись от нас;
Не жди моего заклинанья;
Беги: да свершу невозбранно в сей час
Великий обряд покаянья».

С толпой на коленях стоял пилигрим,
В простую одет власяницу;
Впервые узрел он сияющий Рим,
Великую веры столицу.

Молчанье храня, он пришел из своей
Далекой отчизны как нищий;
И целые сорок он дней и ночей
Почти не касался до пищи;

И в храме, в святой покаяния час,
Усердней никто не молился...
Но грянул над ним заклинательный глас —
Он бледен поднялся и скрылся.

Спешит запрещенный покинуть он Рим;
Преследуем словом ужасным,
К шотландским идет он горам голубым,
К озерам отечества ясным.

Когда ж возвратился в отечество он,
В старинную дедов обитель:
Вассалы к нему собрались на поклон
И ждали, что скажет властитель.

Но прежний властитель, дотоле вождем
Их бывший ко славе победной,
Их принял с унылым, суровым лицом,
С потухшими взорами, бледной.

Сложил он с вассалов подданства обет
И с ними безмолвно простился;
Покинул он за́мок, покинул он свет,
И в келью отшельником скрылся.

Себя он обрек на молчанье и труд;
Без сна проводил он все ночи;
Как бледный убийца, ведомый на суд,
Бродил он, потупивши очи.

Не знал он покрова ни в холод, ни в дождь;
В раздранной ходил власянице;

И в келье, бывалый властитель и вождь,
Гнездился, как мертвый в гробнице.

В святой монастырь богоматери дал
Он часть своего достоянья:
Чтоб там о *погибших* собор совершал
Вседневно обряд поминанья.

Когда ж поминанье собор совершал,
Моляся в усердии теплом;
Он в храм не входил; перед дверью лежал
Он в прахе, осыпанный пеплом.

Окрест сторона та прекрасна была:
Река, наравне с берегами,
По зелени яркой лазурно текла
И зелень поила струями;

Живые дороги вились по полям;
Меж нивами села блистали;
Пестрели стада; отвечая рогам,
Долины и холмы звучали;

Святой монастырь на пригорке стоял
За темною кленов оградой:
Меж ними — в то время, как вечер сиял, —
Багряной горел он громадой.

Но грешным очам неприметна краса
Веселой окрестной природы;
Без блеска для мертвой души небеса,
Без голоса рощи и воды.

Есть место — туда, как могильная тень,
Одною дорогой он ходит;
Там часто задумчив сидит он весь день,
Там часто и ночи проводит.

В лесном захолустье, где сонный ворчит
Источник, влачася лениво,
На дикой поляне часовня стоит
В обломках, заглохших крапивой;

И черны обломки: пожар там прошел;
Золою, столпившейся в камень,
И падшею кровлей задавленный пол,
Решетки, стерпевшие пламень,

И полосы дыма на голых стенах,
И древний алтарь без святыни,
Всё сердцу твердит, пробуждая в нем страх,
О тайне сей мрачной пустыни.

Ужасное дело свершилося там:
В часовне пустынного места,
В час ночи, обет принося небесам,
Стояли жених и невеста.

К красавице бурною страстью пылал
Округи могучий властитель;
Но нравился боле ей скромный вассал,
Чем гордый его повелитель.

Соперника ревность была им страшна:
И в тайне их брак совершился.
Уж клятва любви небесам предана,
И пастырь над ними молился...

Вдруг топот и клики и пламя кругом!
Их тайна открыта; в кипенье
Обиды, любви, обезумлен вином,
Дерзнул он на страшное мщенье:

Захлопнуты двери; часовня горит;
Стенаньям смеется губитель;
Всё пышет, валится, трещит и гремит,
И в пепле святыни обитель. —

Был вечер прекрасен и тих и душист;
На горных вершинах сияло;
Свод неба глубокий был темен и чист;
Торжественно всё утихало.

В обители иноков слышался звон;
Там было вечернее бденье;
И иноки пели хвалебный канон,
И было их сладостно пенье.

Попрежнему грустен, попрежнему дик
(Уж годы прошли в покаянье)
На место, где сердце он мучить привык,
Он шел, погруженный в молчанье.

Но вечер невольно беседовал с ним
Своей миротворной красою,
И тихой земли усыпленьем святым,
И звездных небес тишиною.

И воздух его обнимал теплотой,
И пил аромат он целебный,
И в слух долетал издалека порой
Отшельников голос хвалебный.

И с чувством, давно позабытым, поднял
На небо он взор свой угрюмой,
И долго смотрел и недвижим стоял,
Окованный тайною думой...

Но вдруг содрогнулся — как будто о чем
Ужасном он вспомнил — глубоко
Вздохнул, стал бледней, и обычным путем
Пошел, как мертвец, одиноко.

Главу опустя, безнадежно уныл,
Отчаянно стиснувши руки,
Проходит туда он, куда приходил
Уж годы вседневно для муки.

И видит... у входа часовни сидит
Чернец в размышленьи глубоком,
Он чуден лицом; на него он глядит
Пронзающим внутренность оком.

И тихо сказал наконец он: «Христос
Тебя сохрани и помилуй!»
И грешнику душу привет сей потрёс.
Как луч воскресенья могилу.

«Ответствуй мне, кто ты? (чернец вопросил)
Свою мне поведай судьбину;
По виду ты странник; быть может, ходил,
Свершая обет, в Палестину?

Или ко гробам чудотворцев святых
Свое приносил поклоненье?
С собою мощей не принес ли каких,
Дарующих грешным спасенье?» —

«Мощей не принес я; к гробам не ходил,
Спасающим нас благодатью;
Не зрел Палестины... но в Риме я был
И предан навеки проклятью». —

«Проклятия вечного нет для живых:
Есть верный за падших заступник.
Приди, исповедайся в тайных своих
Грехах предо мною, преступник». —

«Что сделать не властен святейший отец,
Владыка и божий наместник,
Тебе ли то сделать? И кто ты, чернец?
Кем послан ты, милости вестник?» —

«Я здесь издалека: был в той стороне,
Где ведома участь земного;
Здесь память загладить позволено мне
Ужасного дела ночного».

При слове сем грешник на землю упал...
Все члены его трепетали...
Он исповедь начал... но что он сказал,
Того на земле не узнали.

Лишь месяц их тайным свидетелем был,
Смотря сквозь древесные сени;
И, мнилось, в то время, когда он светил,
Две легкие веяли тени;

Двумя облачками казались оне;
Всё выше, всё выше взлетали;
И всё неразлучны; и вдруг в вышине
С лазурью слились и пропали.

И он на земле не встречался с тех пор.
Одно сохранилось в преданье:
С обычным обрядом священный собор
Во храме свершал поминанье;

И пеньем торжественным полон был храм,
И тихо дымились кадилы,
И вместе с земными невидимо там
Служили небесные силы.

И в храм он вошел, к алтарю приступил,
Пречистых даров причастился,
На небо сияющий взор устремил,
Сжал набожно руки... и скрылся.

РОЛАНД-ОРУЖЕНОСЕЦ

Раз Карл Великий пировал;
Чертог богато был украшен;
Кругом ходил златой бокал;
Огромный стол трещал от брашен;
Гремел певцов избранных хор;
Шумел веселый разговор;
И гости вдоволь пили, ели,
И лица их от вин горели.

Великий Карл сказал гостям:
«Свершить нам должно подвиг трудный.
Прилично ль веселиться нам,
Когда еще Артусов чудный
Не завоеван талисман?
Его укравший великан
Живет в Арденском лесе тёмном;
Он на щите его огромном».

Отважный Оливьер, Гварин,
Силач Гемон, Наим Баварский,
Агландский граф Милон, Мерлин,
Такой услыша вызов царский,
Из-за стола тотчас встают,
Мечи тяжелые берут;
Сверкают их стальные брони;
Их боевые пляшут кони.

Тут сын Милонов молодой,
Роланд сказал: «Возьми, родитель,
Меня с собой; я буду твой
Оруженосец и служитель.
Ваш подвиг не по лётам мне;
Но ты позволь, чтоб на коне
Я вез, простым твоим слугою,
Копье и щит твой за тобою».

В Арденский лес одним путем
Шесть бодрых витязей пустились,
В средину въехали, потом
Друг с другом братски разлучились.
Младой Роланд с копьем, щитом
Смиренно едет за отцом;
Едва от радости он дышит;
Бодрит коня; конь ржет и пышет.

И рыщут по лесу они
Три целых дня, три целых ночи;
Устали сами; их кони
Совсем уж выбились из мочи:
А великана всё им нет.
Вот на четвертый день, в обед,
Под дубом сенисто-широким
Милон забылся сном глубоким.

Роланд не спит. Вдруг видит он:
В лесной дали, сквозь сумрак сеней,
Блеснуло; и со всех сторон
Вскочило множество оленей,
Живым испуганных лучом;
И там, как туча, со щитом,
Блистающим от талисмана,
Валит громада великана.

Роланд глядит на пришлеца
И мыслит: что же ты за диво?
Будить мне для тебя отца
Не к месту было бы учтиво;
Здесь за него, пока он спит,
Его копье и добрый щит,
И острый меч и конь задорный,
И сын Роланд, слуга проворный.

И вот он на бедро свое
Повесил меч отцов тяжелой;
Взял длинное его копье
И за плеча рукою смелой
Его закинул крепкий щит;
И вот он на коне сидит;
И потихоньку удалился —
Дабы отец не пробудился.

Его увидя, сморщил нос
С презреньем великан спесивый.
«Откуда ты, молокосос?
Не по тебе твой конь ретивый;
Смотри, тебя длинней твой меч;
Твой щит с твоих ребячьих плеч,
Тебя переломив, свалится;
Твое копье лишь мне годится». —

«Дерзка твоя, как слышу, речь;
Посмотрим, таково ли дело?
Тяжел мой щит для детских плеч —
Зато за ним стою я смело;
Пусть неуч я — мой конь учён;
Пускай я слаб — мой меч силён;
Отведай нас; уж мы друг другу
Окажем в честь тебе услугу».

Дубину великан взмахнул,
Чтоб вдребезги разбить нахала,
Но конь Роландов отпрыгнул;
Дубина мимо просвистала.
Роланд пустил в него копьем;
Оно осталось с острием,
Погнутым силой талисмана,
В щите пронзенном великана.

Роланд отцовский меч большой
Схватил обеими руками;
Спешит схватить противник свой;
Но крепко стиснут он ножнами;
Еще меча он не извлек,
Как руку левую отсек
Ему наш витязь; кровь струёю;
Прочь отлетел и щит с рукою.

Завыл от боли великан,
Кипучей кровию облитый;
Утратив чудный талисман,
Он вдруг остался без защиты;
Вслед за щитом он побежал;
Но по ногам вдогонку дал
Ему Роланд удар проворной:
Он покатился глыбой черной.

Роланд, подняв отцовский меч,
Одним ударом исполину
Отрушил голову от плеч,
Свистя, кровь хлынула в долину.
Щит великанов взяв потом,
Он талисман, блиставший в нем
(Осьмое чудо красотою),
Искусной выломал рукою.

И в платье скрыл он взятый клад;
Потом струей ручья лесного
С лица и с рук, с коня и с лат
Смыл кровь и прах и, севши снова
На доброго коня, шажком
Отправился своим путем
В то место, где отец остался;
Отец еще не просыпался.

С ним рядом лег Роланд и в сон
Глубокий скоро погрузился,
И спал, покуда сам Милон
Под сумерки не пробудился.
«Скорей, мой сын Роланд, вставай;
Подай мой шлем, мой меч подай;
Уж вечер; всюду мгла тумана;
Опять не встретим великана».

Вот ездит он в лесу густом
И великана ищет снова;
Роланд за ним с копьем, щитом —
Но о случившемся ни слова.
И вот они в долине той,
Где жаркий совершился бой;
Там виден был поток кровавый;
В крови валялся труп безглавый.

Роланд глядит; своим глазам
Не верит он: что за причина?
Одно лишь туловище там;
Но где же голова, дубина?
Где панцырь, меч, рука и щит?
Один ободранный лежит
Обрубок мертвеца нагого;
Следов не видно остального.

Труп осмотрев, Милон сказал:
«Что за уродливая груда!
Еще ни разу не видал
На свете я такого чуда:
Чей это труп?.. Вопрос смешной!
Да это великан; другой
Успел дать хищнику управу;
Я проспал честь мою и славу».

Великий Карл глядел в окно
И думал: страшно мне по чести;
Где рыцари мои? Давно
Пора б от них иметь нам вести.
Но что?.. Не герцог ли Гемон
Там едет? Так, и держит он
Свое копье перед собою
С отрубленною головою.

Гемон, с нахмуренным лицом
Приближась, голову немую
Стряхнул с копья перед крыльцом
И Карлу так сказал: «Плохую
Добычу я завоевал;
Я этот клад в лесу достал,
Где трое суток я скитался:
Мне враг без головы попался».

Приехал за Гемоном вслед
Тюрпин усталый, бледный, тощий.
«Со мною талисмана нет:
Но вот вам дорогие мощи».
Добычу снял Тюрпин с седла:
То великанова была
Рука, обвитая тряпицей,
С его огромной рукавицей.

Сердит и сумрачен, Наим
Приехал по следам Тюрпина,
И великанова за ним
Висела на седле дубина.
«Кому достался талисман,
Не знаю я; но великан
Меня оставил в час кончины
Наследником своей дубины».

Шел рыцарь Оливьер пешком,
Задумчивый и утомленный;
Конь, великановым мечом
И панцырем обремененный,
Едва копыта подымал.
«Всё это с мертвеца я снял;
Мне от победы мало чести;
О талисмане ж нет и вести».

Вдали является Гварин
С щитом огромным великана,
И все кричат: «Вот паладин,
Завоеватель талисмана!»
Гварин, подъехав, говорит:
«В лесу нашел я этот щит:
Но обманулся я в надежде:
Был талисман украден прежде».

Вот наконец и граф Милон.
Печален, во вражде с собою,
К дворцу тихонько едет он
С потупленною головою.
Роланд смиренно за отцом
С его копьем, с его щитом,
И светятся, как звезды ночи,
Под шлемом удалые очи.

И вот они уж у крыльца,
На коем Карл и паладины
Их ждут; тогда на щит отца
Роланд, сорвав с его средины
Златую бляху, утвердил
Свой талисман и щит открыл...
И луч блеснул с него чудесный,
Как с черной тучи день небесный.

И грянуло со всех сторон
Шумящее рукоплесканье;
И Карл сказал: «Ты, граф Милон,
Исполнил наше упованье;
Ты возвратил нам талисман;
Тобой наказан великан;
За славный подвиг в награжденье
Прими от нас благоволенье».

Милон, слова услыша те,
Глаза на сына обращает...
И что же? Перед ним в щите,
Как солнце, талисман сияет.
«Где это взял ты, молодец?»
Роланд в ответ: «Прости, отец;
Тебя будить я побоялся
И с великаном сам подрался».

ПЛАВАНИЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Раз Карл Великий морем плыл
И с ним двенадцать перов плыло,
Их путь в святую землю был;
Но море злилося и выло.

Тогда Роланд сказал друзьям·
«Деруся я на суше смело;
Но в злую бурю по волнам
Хлестать мечом плохое дело».

Датчанин Гольгер молвил: «Рад
Я веселить друзей струнами;
Но будет ли какой в них лад
Между ревущими волнами?»

А Оливьер сказал, с плеча
Взглянув на бурных волн сугробы:
«Мне жалко нового меча:
Здесь утонуть ему без пробы».

Нахмурясь, Ганелон шепнул:
«Какая адская тревога!
Но только б я не утонул!..
Они ж?.. туда им и дорога!» —

«Мы все плывем к святым местам! —
Сказал, крестясь, Тюрпин-святитель. —
Явись и в пристань по волнам
Нас грешных проведи, спаситель!» —

«Вы, бесы! — граф Рихард вскричал: —
Мою вы ведаете службу;
Я много в ад к вам душ послал —
Явите вы теперь мне дружбу». —

«Уж я ли, — вымолвил Наим, —
Не говорил: нажить нам горе?
Но слово умное глухим
Есть капля масла в бурном море». —

«Беда! — сказал Риоль седой, —
Но если море не уймется,
То мне на старости в сырой
Постеле нынче спать придется».

А граф Гюи вдруг начал петь,
Не тратя жалоб бесполезно:
«Когда б отсюда полететь
Я птичкой мог к своей любезной!» —

«Друзья, сказать ли вам? ей, ей! —
Промолвил граф Гварин, вздыхая: —
Мне сладкое вино вкусней,
Чем горькая вода морская».

Ламберт прибавил: «Что за честь
С морскими чудами сражаться?
Гораздо лучше рыбу есть,
Чем рыбе на обед достаться». —

«Что бог велит, тому и быть! —
Сказал Годефруа: — с друзьями
Я рад добро и зло делить;
Его святая власть над нами».

А Карл молчал: он у руля
Сидел и правил. Вдруг явилась
Святая вдалеке земля,
Блеснуло солнце, буря скрылась.

СТАРЫЙ РЫЦАРЬ

Он был весной своей
В земле обетованной
И много славных дней
Провел в тревоге бранной.

Там ветку от святой
Оливы оторвал он:
На шлем железный свой
Ту ветку навязал он.

С неверным он врагом,
Нося ту ветку, бился
И с нею в отчий дом
Прославлен возвратился.

Ту ветку посадил
Сам в землю он родную
И часто приносил
Ей воду ключевую.

Он стал старик седой,
И сила мышц пропала;
Из ветки молодой
Олива древом стала.

Под нею часто он
Сидит, уединенный,
В невыразимый сон
Душою погруженный.

Над ним как друг стоит,
Обняв его седины,
И ветвями шумит
Олива Палестины;

И, внемля ей во сне,
Вздыхает он глубоко
О славной старине
И о земле далекой.

РЫЦАРЬ РОЛЛОН

Был удалец и отважный наездник Роллон;
С шайкой своей по дорогам разбойничал он.
Раз, запоздав, он в лесу на усталом коне
Ехал, и видит, часовня стоит в стороне.

Лес был дремучий и был уж полуночный час;
Было темно, так темно, что хоть выколи глаз.
Только в часовне лампада горела одна,
Бледно сквозь узкие окна светила она.

Рано еще на добычу, — подумал Роллон, —
Здесь отдохну; — и в часовню пустынную он
Входит; в часовне, он видит, гробница стоит;
Трепетно, тускло над нею лампада горит.

Сел он на камень, вздремнул с полчаса, и потом
Снова поехал лесным одиноким путём.
Вдруг своему щитоносцу сказал он: скорей
Съезди в часовню; перчатку оставил я в ней.

Посланный, бледен как мертвый, назад прискакал.
«Этой перчаткой другой завладел, — он сказал: —
Кто-то нездешний в часовне на камне сидит;
Руку он всунул в перчатку и страшно глядит;

Треплет и гладит перчатку другой он рукой;
Чуть я со страха не умер от встречи такой». —
Трус! — на него запальчиво Роллон закричал,
Шпорами стиснул коня и назад поскакал.

Смело на страшного гостя ударил Роллон:
Отнял перчатку свою у нечистого он.
«Если не хочешь одной мне совсем уступить,
Обе ссуди мне перчатки, хоть год поносить», —

Молвил нечистый; а рыцарь сказал ему: «На!
Рад испытать я, заплатит ли долг сатана;
Вот тебе обе перчатки; отдай через год».—
«Слышу; прости до свиданья»,— ответствовал тот.

Выехал в поле Роллон; вдруг далекий петух
Крикнул, и топот коней поражает им слух.
Робость Роллона взяла; он глядит в темноту;
Что-то ночную наполнило вдруг пустоту;

Что-то в ней движется; ближе и ближе; и вот
Черные рыцари едут попарно; ведёт
Сзади слуга в поводах вороного коня;
Черной попоной покрыт он; глаза из огня.

С дрожью невольной спросил у слуги паладин:
«Кто вороного коня твоего господин?»—
«Верный слуга моего господина, Роллон.
Ныне лишь парой перчаток расчелся с ним он;

Скоро отдаст он иной и последний отчет;
Сам он поедет на этом коне через год».
Так отвечав, за другими последовал он.
«Горе мне! — в страхе сказал щитоносцу Роллон.—

Слушай, тебе я коня моего отдаю;
С ним и всю сбрую возьми боевую мою:
Ими отныне, мой верный товарищ, владей;
Только молись о душе осужденной моей».

В ближний пришед монастырь, он приору сказал:
«Страшный я грешник, но бог мне покаяться дал.
Ангельский чин я еще недостоин носить;
Служкой простым я желаю в обители быть».—

«Вижу, ты в шпорах, конечно, бывал ездоком;
Будь же у нас на конюшне, ходи за конем».
Служит Роллон на конюшне, а время идёт;
Вот наконец совершился ровнехонько год.

Вот наступил уж и вечер последнего дня;
Вдруг привели в монастырь молодого коня:
Статен, красив, но еще не объезжен был он,
Взять дикаря за узду подступает Роллон.

Взвизгнул, вскочил на дыбы разъярившийся конь;
Грива горой, из ноздрей, как из печи, огонь;
В сердце Роллона ударил копытами он;
Умер, и разу вздохнуть не успевши, Роллон.

Вырвавшись, конь убежал, и его не нашли.
К ночи, как должно, Роллона отцы погребли.
В полночь к могиле ужасный ездок прискакал;
Черного, злого коня за узду он держал;

Пара перчаток висела на черном седле.
Жалобно охнув, Роллон повернулся в земле;
Вышел из гроба, со вздохом перчатки надел,
Сел на коня, и, как вихорь, с ним конь улетел.

Уллин и его дочь

Был сильный вихорь, сильный дождь;
Кипя, яриляся пучина;
Ко брегу Рино — горный вождь
Примчался с дочерью Уллина.

«Рыбак, прими нас в твой челнок;
Рыбак, спаси нас от погони;
Уллин с дружиной недалёк:
Нам слышны крики; мчатся кони». —

«Ты видишь ли, как зла вода?
Ты слышишь ли, как волны громки?
Пускаться плыть теперь беда:
Мой челн не крепок, весла ломки». —

«Рыбак, рыбак, подай свой челн;
Спаси нас: сколь ни зла пучина,
Пощада может быть от волн —
Ее не будет от Уллина!»

Гроза сильней, пучина злей,
И ближе, ближе шум погони,
Им слышен тяжкий храп коней,
Им слышен стук мечей о брони.

«Садитесь, в добрый час; плывем».
И Рино сел, с ним дева села;
Рыбак отчалил; челноком
Седая бездна овладела.

И смерть отвсюду им: открыт
Пред ними зев пучины жадный;
За ними с берега грозит
Уллин, как буря, беспощадный.

Уллин ко брегу прискакал;
Он видит: дочь уносят волны;
И гнев в груди отца пропал,
И он воскликнул, страха полны

«Мое дитя, назад, назад!
Прощенье! возвратись, Мальвин
Но волны лишь ответ шумят
На зов отчаянный Уллина.

Ревет гроза, черна как ночь;
Летает челн между волнами;
Сквозь пену их он видит дочь
С простертыми к нему руками.

«О возвратися, возвратись!»,
Но грозно раздалась пучина,
И волны, челн пожрав, слились
При крике жалобном Уллина.

ЭЛЕВЗИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых
И пеньем благую Цереру встречайте,
Церера сдружила враждебных людей;
Жестокие нравы смягчила;
И в дом постоянный меж нив и полей
Шатер подвижной обратила.

Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал;
По полям Номад скитался
И поля опустошал;
Зверолов с копьем, стрелами,
Грозен, бегал по лесам...,
Горе брошенным волнами
К неприютным их брегам!

С Олимпийския вершины
Сходит мать Церера вслед
Похищенной Прозерпины:
Дик лежит пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях;
И куда печальным оком
Там Церера ни глядит:
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

«Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?

Иль ни в ком между богами
Сожаленья к людям нет,
И могучими руками
Ни один из бездны бед
Их не вырвет? Знать, к блаженным
Скорбь земная не дошла?
Знать, одна я огорченным
Сердцем горе поняла?

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью землею
Он вступи в союз навек;
Чти закон времен спокойной;
Знай теченье лун и лет,
Знай, как движется под стройной
Их гармониею свет».

И мгновенно расступилась
Тьма, лежавшая на ней,
И небесная явилась
Божеством пред дикарей:
Кончив бой, они, как тигры,
Из черепьев вражьих пьют,
И ее на зверски игры
И на страшный пир зовут.

Но богиня, с содроганьем
Отвратясь, рекла: «Богам
Кровь противна; с сим даяньем
Вы, как звери, чужды нам;
Чистым чистое угодно;
Дар, достойнейший небес:
Нивы колос первородной,
Сок оливы, плод древес».

Тут богиня исторгает
Тяжкий дротик у стрелка;
Острием его пронзает
Грудь земли ее рука;
И берет она живое
Из венца главы зерно,
И в пронзенное земное
Лоно брошено оно.

И выводит молодые
Класы тучная земля;
И повсюду, как златые
Волны, зыблются поля.
Их она благословляет,
И, колосья в сноп сложив,
На смиренный возлагает
Камень жертву первых нив.

И гласит: «Прими даянье,
Царь Зевес, и с высоты
Нам подай знаменованье,
Что доволен жертвой ты.
Вечный бог, сними завесу
С них, не знающих тебя:
Да поклонятся Зевесу,
Сердцем правду возлюбя».

Чистой жертвы не отринул
На Олимпе царь Зевес;
Он во знамение кинул
Гром излучистый с небес:
Вмиг алтарь воспламенился;
К небу жертвы дым взлетел,
И над ней горé явился
Зевсов пламенный орел.

И чудо проникло в сердца дикарей;
Упали во прах перед дивной Церерой;
Исторгнулись слезы из грубых очей,
И сладкой сердца растворилися верой.
Оружие кинув, теснятся толпой
И ей воздают поклоненье;
И с видом смиренным, покорной душой
Приемлют ее поученье.

С высоты небес нисходит
Олимпийцев светлый сонм;
И Фемида их предводит,
И своим она жезлом
Ставит грани юных, жатвой
Озлатившихся полей,
И скрепляет первой клятвой
Узы первые людей.

И приходит благ податель,
Друг пиров, веселый Ком;
Бог, ремесл изобретатель,
Он людей дружит с огнем;
Учит их владеть клещами;
Движет мехом, млатом бьет
И искусными руками
Первый плуг им создает.

И вослед ему Паллада
Копьеносная идет
И богов к строенью града
Крепкостенного зовет:
Чтоб приютно-безопасный
Кров толпам бродящим дать
И в один союз согласный
Мир рассеянный собрать.

И богиня утверждает
Града нового чертеж;
Ей покорный, означает
Термин камнями рубеж;
Цепью смеряна равнина;
Холм глубоким рвом обвит;
И могучая плотина
Гранью бурных вод стоит.

Мчатся Нимфы, Ореады
(За Дианой по лесам,
Чрез потоки, водопады,
По долинам, по холмам
С звонким скачущие луком);
Блещет в их руках топор
И обрушился со стуком
Побежденный ими бор.

И, Палладою призванный,
Из зеленых вод встает
Бог, осокою венчанный,
И тяжелый строит плот;
И сияя низлетают
Оры легкие с небес
И в колонну округляют
Суковатый ствол древес.

И во грудь горы вонзает
Свой трезубец Посидон;
Слой гранитный отторгает
От ребра земного он;
И в руке своей громаду,
Как песчинку, он несет;
И огромную ограду
Во мгновенье создает.

И вливает в струны пенье
Светлоглавый Аполлон:
Пробуждает вдохновенье
Их согласно-мерный звон;
И веселые Камены
Сладким хором с ним поют,
И красивых зданий стены
Под напев их восстают.

И творит рука Цибелы
Створы врат городовых:
Держат петли их дебелы,
Утвержден замок на них;
И чудесное творенье
Довершает, в честь богам,
Совокупное строенье
Всех богов, великий храм.

И Юнона, с оком ясным
Низлетев от высоты,
Сводит с юношей прекрасным
В храме деву красоты;
И Киприда обвивает
Их гирляндою цветов,
И с небес благословляет
Первый брак отец богов.

И с торжественной игрою
Сладких лир, поющих в лад,
Вводят боги за собою
Новых граждан в новый град;
В храме Зевсовом царица
Мать Церера там стоит,
Жжет курения, как жрица,
И пришельцам говорит:

«В лесе ищет *зверь* свободы,
Правит всем свободно *бог*,
Их закон — закон природы.
Человек, приняв в залог
Зоркий ум — звено меж ними, —
Для гражданства сотворён:
Здесь лишь нравами одними
Может быть свободен он».

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых;
И с пеньем благую Цереру встречайте:
Всю землю богинин приход изменил;
Признавши ее руководство,
В союз человек с человеком вступил
И жизни постиг благородство.

ЕЛЕГИЯ,
ПИСАННАЯ НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ
Из Грая

⟨*Редакция 1801 г.*⟩

Full many a gem, of purest ray serene,
The dark unfathom'd caves of ocean bear:
Full many a flow'r is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.

Gray: Elegy

Вечерний колокол печально завывает ⟨*затем приписано:* «раздается»⟩,
Бледнеющего дня последний час биет,
Блеящие стада долины оставляют,
Усталый земледел задумчиво идет
В шалаш спокойный свой. — В объятиях свободы,
Под кровом тишины я буду размышлять.
В туманном сумраке таятся горы, воды,
Всё тихо — лишь в кустах кузнечики стучат,
Лишь слышится в дали пастуший рог унылой, —
На древней башне сей, плющом и мхом покрытой,
Пустынныя совы я дикой слышу вой,
Она глас жалобный к луне возносит свой
На тех, которые, блуждая, возмущают
Жилища тайного ее безмолвный сон
И древнюю ее обитель посещают —
Там, где молчание воздвигло мрачный трон,
Где вечные дубы, рукою лет согбенны,
Из ветвей лиственных сплетают кров священный,
Где ивы дряхлые, иссохшие стоят,
Где дерном устланы цветущие могилы:
Там праотцы села, в безмолвии унылом,
Почивши навсегда глубоким сном, лежат —
Дыханье свежее рождавшегося дня

Ни крики ласточки, в гнезде своем сидящей,
Ни голос петуха, ни стон рогов звучащий,
Ничто не воззовет от тяжкого их сна —
Пылающий огонь, в горнилах извиваясь,
Их в зимни вечера не будет согревать,
Не будут более сынов своих лобзать,
От тягостных трудов в шалаш свой возвращаясь —
Как часто их рука блистающей косой
Ссекала тонкой клас на ниве золотой,
Как часто острый плуг, их мышцей напряженный,
Взрывал с усилием упорные поля,
Как часто крепкие, корнистые древа
Валилися, под их секирой сокрушенны! —
Пускай сын роскоши, богатством возгордясь,
Над скромной нищетой кичливо возносясь,
Труды полезные и сан их презирает,
С улыбкой хладныя надменности внимает
Таящимся во тьме, незвучным их делам:
Часа ужасного нельзя избегнут нам,
На всех ярится смерть — любимца громкой славы,
Невольника, царя, дающего уставы,
Всех ищет грозная и некогда найдет.
Путь славы и честей ко гробу нас ведет. —
Судьбы и счастия наперсники надменны,
Не смейте спящих здесь безумно ускорять
За то, что кости их в забвении лежат,
Что в сей обители, молитвам посвященной,
Где в тихом пении, святом, благоговейном,
Несется к небесам молений глас святых,
Гробниц не вознесли над скромной перстью их!
Зачем над мертвыми, истлевшими костями
Писать надгробия и камни воздвигать?
Души в холодный прах нам вечно не призвать!
И гимны почестей, гремящих над гробами,
Немого тления не властны оживить! —
Неумолиму смерть хвала не обольстит! —
Ах! может быть, под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить,
И кровожадный червь [здесь в черепе] в сухой главе гнездится,
Который некогда корону б мог носить,
Иль восхищаться лир гармонией чудесной!

Науки светлые, питомцы веков
Не озарили их светильником небесным!
Согбенны тягостью невольничьих оков,
В забвенной нищете они свой век влачили,
И, огнь сердец своих бесплодно истощили.
Как часто редкий перл таится в недре волн!
Как часто лилия в пустыне расцветает,
Незримая никем, безвестно увядает! —
Там, может быть, лежит неведомый Мильтон,
И в узах гробовых безмолвствуя, хладеет,
Там, может быть, Кромвель неукротимый тлеет,
Что кровью сограждан еще не обагрял
Полей отечества и власти не искал —
Сенатом управлять державною рукою,
Сражаться с вихрем бед и грозною судьбою,
Странам обилие и счастье изливать,
В слезах признательных дела свои читать,
Сего их рок лишил своим определеньем;
Но если путь добра для них он сократил,
То он пресек для них пути ко преступленьям,
Он им стезей убийств стремиться запретил
К престолам, пышностью и славой окруженным; —
Простые их сердца умели сострадать
Несчастным, злобною судьбою угнетенным,
Они в душе своей не тщились сокрывать
Волнения страстей, крутых, неутомимых,
Ланиты их могли стыдливостью пылать,
На лести алтарях, гордыне возносимых,
Небесных муз они не смели обожать —
Не зная суетных, обманчивых желаний,
Рождающих беды и горькие страданья,
С забвением всего, в долине жизни сей,
Спокойно шли они тропинкою своей —
В сем месте, где их персть лежит уединенно,
Простою резьбою, не златом, украшенный
Воздвигнут монумент костям безмолвным их —
Здесь трудным шествием прохожий утомленный
Воссядет и почтит слезою память их —
Нет пышной надписи над скромною могилой!
Чистосердечие на ней рукой нельстивой
Их лета, имена потщилось начертать,
Евангельску мораль вокруг изобразило,

В которой мы должны учиться умирать! —
Ах! кто с сей жизнию без горя разлучался?
Кто прах свой вечному забвенью оставлял?
Без сожаления с сим миром расставался
И взора горького назад не обращал?
Ах, сердце нежное, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой!
И взоры тусклые, навеки угасая,
Хотят взглянуть на них *с последнею* слезой!
Для *них* глас нежности в могиле нашей слышен;
Для *них* наш мертвый прах и в самом гробе дышит!

А ты, природы сын, чувствительный душой,
Который спящим здесь свой голос посвящаешь
И скромны их дела потомкам возвещаешь,
Быть может некогда, что друг, любимец твой,
Сюда задумчивой тоскою заведенный,
Захочет о судьбе любезного узнать:
Седой поселянин, летами удрученный,
Воспомнит о тебе и будет отвечать:
«Он часто, на заре, в долине мне встречался,
Когда, в час утренний, спешил на холм взойтить,
Чтоб солнечный восход на нем предупредить —
Там в роще иногда уединен скитался
И горести свои безмолвью поверял,
Там в поле, в знойный час полудня, отдыхал
Под ивой лиственной, вершиною согбенной,
Которыя корни сухие, искривленны
Выходят из земли, виясь в траве густой;
Здесь часто он сидел вечернею порой,
Небрежно голову на руку наклонивши
И взоры томные в источник устремивши,
Который в тростнике задумчиво журчит —
Он часто слезы лил, как будто странник бедный,
Отчизны милыя, друзей, всего лишенный,
Которого и жизнь несносно тяготит! —
Он сохнул и — увял! — напрасно я в долине,
Под ивой, на холму несчастного искал;
Увы! нигде его уж больше не встречал!
На утро колокол послышался унылый,
Надгробно пение раздалось, — я узрел
Страдальца бедного, который — уж отцвел.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Греева элегия, переведенная с английского

(Переводчик посвящает А. И. Т—у)

⟨*Редакция «Вестника Европы»*⟩

4 Идет задумавшись в шалаш покойный свой
9 Лишь некая сова, стеня под древним сводом
10—11 Мохнатой башни сей, винит перед луной
Заблудших странников, разрушивших приходом
13—14 Во мраке черных сосн и вязов наклоненных,
Которы у могил развесившись шумят,
17—21 Дыхание зари, глас утра золотова,
Ни крики петуха, ни ранний звук рогов,
Ни трели ласточки с соломенного крова,
Ничто не воззовет почивших из гробов!
Пылающий огонь, в горнилах развевая,
23 И дети ⟨*в рук.* № *13*: чада⟩ нежные, приход их упреждая,
29—31 Пускай рабы сует их жребий презирают,
Смеются дерзостно полезным их трудам:
Пускай с холодною надменностью внимают
36 Стезя величия ко гробу нас ведет!
38 Не смейте спящих здесь безумно укорять,
40 Что лесть им олтарей не хочет воздвигать!
51 И кровожадный червь в сухой главе гнездится,
56 Их Гений, не родясь, неволей умерщвлен!
62 Защитник сельских прав, тиранства смелый враг;
65—66 Сенатом управлять державною рукою,
Сражаться с вихрем бед, фортуну презирать,
69—70 Сего лишил их рок — но вместе преступленьям
Он с доблестями их пределы положил —
81—84 Здесь мирный пепел их почиет под землею,
И скромный памятник во мраке сосн густых,
Украшен надписью и резьбою простою,
Зовет прохожего вздохнуть над прахом их.
86—87 Их лета, имена потщилась начертать,
Евангельску мораль вокруг изобразила,
89—90 И кто с сей жизнию без горя разлучался!
Кто прах свой по себе забвенью оставлял!
92—93 И взора горького назад не обращал!
Ах! сердце нежное, Природу покидая,
97—98 Для них глас нежности в могиле нашей слышен,

И камень гробовой над нами оживлен;
103 И к гробу твоему, тоскою заведенный,
105—106 Быть может, селянин, покрытый сединою,
Воспомнит о тебе и будет говорить:
109—110 Там часто он сидел под дремлющею ивой,
Поднявшей из земли косматый корень свой:
112 Лежал над тихою, прозрачною рекой!
117 Грустя, задумавшись, тоскою отягченный,
120—121 Которого и жизнь несносно бременит!
Настало утро — ах! — он с утром не являлся!
123 Другое притекло, нигде он не встречался!
125—128 На утро пение я слышу гробовое:
Несчастного несли в могилу положить!
Приближься и прочти надгробие простое
На диком камне сем, под коим он лежит.

Между 128 и 129 *Эпитафия*

129 Здесь пепел юноши в сырой земле сокрыли.
137—140 Прохожий, удались! во гробе сон священный;
Судьба почивших в нем покрыта грозной тьмой.
Надежда робкая живит их пепел тленный...
Кто знает, что нас ждет за гробовой доской!

ВЕЧЕР

⟨*Рукопись ГПБ (Б № 12, л. 26)*⟩

Строфа 18 Почто, мой Лизидась, с тобой я разлучен!
Ужели никогда не зреть соединенья,
Увы нам розный путь судьбою проложен
⟨О вы, погибши наслажденья! *(? Ц. В.)*⟩

НА СМЕРТЬ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА КАМЕНСКОГО

⟨*Отброшенные строфы после 7-й*⟩

Но будь утешен, вождь! Не скорбный твой удел!
Он удивление рождать в умах достоин!
Пускай, среди полков, в бою, на пепле сел,
Перунами низринут воин!

Пусть гибнет, от других концом не отличен!..
Презренной гибелью судьба тебя почтила!

То новый для тебя трофей сооружен
Сия внезапная могила!

Рекла: будь им урок и самой смерти след
Сего, протекшего чрез мир стезею правой!
О вождь! для нас твой прах есть промысла завет:
Лишь доброю пленяться славой!

Приближься, брани сын, и в думу погрузись,
На гроб могущего склоняя взор унылый!
От праха замыслов смиренью научись!
Прими учение могилы:

«Кончина дней — лишь миг! убийцы ль топором
Сраженный, распростерт на прахе, без покрова,
В блистающий ли гроб, средь плесков, под венцом,
Сведен с престола золотова —

Коль пользы с славою в делах не различал —
Твоих священных дел не тронет разрушенье!
Здесь рок Каменскому конец презренный дал
Живым лишь только в устрашенье!»

Так ты, мечтающий вращать земли судьбой;
На счастья высоте, страшись, непобедимый!
Пусть сонмы грозных сил ничто перед тобой!
Страшись — не дремлет враг незримый!

ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ

⟨Редакция «Вестника Европы»⟩

После ст. 280

Хвала, наш Нестор — *Бенигсон*!
И вождь и муж совета!
Хвала вам: твердый *Воронцов*,
Наш *Коновницын* смелый,
И *Тормасов*, гроза врагов,
Во брани поседелый!
И *Витгенштеин*, наш Арей!
Твердыня Петрограда,
И все вы, бранный сонм вождей,
Отечества ограда!

Воины

Хвала вам, бранный сонм вождей,
Отечества ограда!

602—605 В высокой доле — правота,
Нежадность — в наслажденье;
В союзе с ровным — простота,
В могуществе — смиренье.

⟨В «экземпляре 2-го изд. «Певца» в ГПБ⟩

273—276 Хвала наш *Дохторов*! хвала
Наш *Иловайский* ярый!
Их страшный след — врагов тела!
Погибель — их удары!..

К НИНЕ

⟨Редакция 1805 г. в рук. ГПБ (Б № 12, л. 15)⟩

Простишься ли без сожаленья,
О Нина, с жизнью городской?
Отдашь ли светски наслажденья
За счастье в хижине простой!
Не украшенном боле златом
В уборе сельском, небогатом,
Не вспомнишь ли тех красных дней,
Когда тобою всё дышало,
Когда ты город украшала
И милых всех была милей!

Палаты пышны покидая,
Не взглянешь ли на них с тоской?
О прежних радостях мечтая,
Снесешь ли хлад, снесешь ли зной?
Под кровом мирным, но забвенным?
С твоим супругом восхищенным
Не вспомнишь ли тех красных дней,
Когда тобою всё дышало,
Когда ты город украшала
И милых всех была милей!

О Нина, любишь ли так страстно
Чтобы со мною скорбь делить,

Презреть убожество ужасно
И горе в сладость обратить!
Снесешь ли матерни страданья,
И в час сердечного терзанья
Не вспомнишь ли тех красных дней,
Когда тобою всё дышало,
Когда ты город украшала
И милых всех была милей!

ОТРЫВОК[1]

(Подражание)

О счастье дней моих! куда, куда стремишься?
Златая, быстрая, фантазия, постой!
Неумолимая! Ужель не возвратишься?
Ужель навек?.. летит, всё манит за собой!
Сокрылись сердца привиденья!
Сокрылись сладкие души моей мечты!
Надежды смелые, в надеждах наслажденья!
Увы! прелестный мир, разрушился и ты!
Где луч, которым озарялся
Путь юноши среди весенних пылких дней,
Где идеал святой, которым я пленялся?
О вы, творения фантазии моей!
Вас нет, вас нет! существенностью злою
Что некогда цвело столь пышно предо мною,
Что я божественным, бессмертным почитал,
Навек разрушено! Стремление к блаженству,
О вера сладкая земному совершенству,
О жизнь, которою весь мир я наполнял,
Где вы? Погибло всё! погиб творящий гений!
Погибли призраки волшебных заблуждений.
Как некогда Пигмалион,
С надеждой и тоской объемля хладный камень,
Мечтая слышать в нем любви унылый стон,
Стремился перелить весь жар, весь страстный пламень,
Всю жизнь своей души в создание резца,
Так я, воспитанник свободы,
С любовью, с радостным волнением певца,
Дышал в объятиях природы

[1] См. прим. к стих. „Мечты".

И мнил бездушную согреть, одушевить!
Она подвиглась, воспылала!
Безмолвная могла со мною говорить
И пламенным моим лобзаньям отвечала
. . . .

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

⟨Рукопись ГПБ (Б № 26, л. 24)⟩

Между строфами 1 и 2
Ах, надежда за весной
Прилетала в прежни годы
[Облака, леса и воды]
Всё тогда, леса и воды,
Всё имело голос свой.

К МЕСЯЦУ

⟨Откинутая строфа, после 8-й⟩

Что в полночный тихий час,
Слышимо душой,
Очаровывает нас
Тайною мечтой.

ЛАЛЛА РУК

⟨Редакция «Московского Телеграфа»⟩

55—56 Лучшей жизни покрывало
Приподъемлет он порой.

Строфа 9 Кто же ты, очарователь
Бед и радостей земных?..
О небесный жизнедатель!
Мне знаком ты; для других
Нет тебе именованья:
Ты без имени им друг!
Для меня ж тебе названье
Сердце дало: Лалла Рук.

МОТЫЛЕК И ЦВЕТЫ

⟨Ранняя редакция в рук. ГПБ (Б № 30, л. 30)⟩

Вот, что однажды я сказал,
Смотря, как мотылек вертлявой,

Благоуханною поляной
С цветочка на цветок порхал!
Он красотой их любовался,
Он ароматом их дышал,
Но ни с одним не оставался!
И равнодушно улетал
Туда, где небеса сияли
И где на радужных крылах
Друзья эфирные играли
В веселых запада лучах;

Но лугом бытия прекрасным
Под небом светлым или ⟨*ясным*⟩
Куда ему назначил рок,
Пускай летит наш мотылек!

⟨*Стихи 8—16 представляют собой вторую редакцию предшествующего им чернового текста. Дальнейшее движение темы намечает обращение к лирическому субъекту стихотворения, что явствует из отдельных недоработанных стихов*⟩.

А я...
Ко стате иль не к стате
Прекрасный цвет воспоминаний
И *думы сердца* милый цвет

НОЧНОЙ СМОТР

⟨*1-я редакция в рук. ГПБ (Б № 26, л. 48)*⟩

В двенадцатом часу
Из гроба, каждой ночью,
Выходит барабанщик.
Идет он скорым шагом,
Сначала бьет он зорю,
Потом он бьет к молитве,
Потом он бьет тревогу.

И будит барабан
В гробах солдатов старых,
Зарытых в русском снеге,
Под небом итальянским,
В песках горя⟨ю⟩?чих Нила,

В пустынях аравийских...
И строются солдаты.

В двенадцатом часу
Из гроба, каждой ночью,
Встает трубач и трубит.
И старые рейтары
Могилы покидают
И, сев на коней, мчатся
Воздушным эскадроном.

В двенадцатом часу
Из гроба, каждой ночью,
Выходит полководец;
На нем мундир без ленты,
[На нем простая шпага]
[Под серым иберроком],
Коротенькая шпага
И маленькая шляпа,
Сертук поверх мундира.

По фрунту на коне
Он едет тихим шагом,
За ним все генералы,
И, честь отдавши ,войско,
В молчании глубоком,
Перед вождем проходит
Колоннами густыми.

Глядит на войско вождь,
Крестом сложивши руки,
И светятся чудесным
Глаза его сияньем,
Потом он генералов
Становит в круг и шепчет
Им свой пароль и лозунг.

И войску отдают
Они пароль и лозунг;
И Франция пароль их,
И лозунг их: Елена.
Так смотрит каждой ночью
Свое земное войско
Умерший император.

АДЕЛЬСТАН

⟨Редакция «Вестника Европы»⟩

Последние 2 строфы И воскликнула: спаситель!
Руку рыцаря схватя.
Нет спасения! губитель
В бездну бросил уж дитя.

И дитя, виясь, стенало,
В грозных сжатое когтях...
Вдруг всё пусто, тихо стало
В глубине и на скалах.

ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

⟨Редакция, зачеркнутая в рукописи ГПБ (Б № 14, л. 129)⟩

Предпоследняя строфа Слышней час от часу смятенье;
И вдруг во всех в одно мгновенье
Мелькнула мысль! То мщенья час!
То Эвменид сокрытых глас!
Певцу возмездие готово!
Себе убийца изменил!
К суду и тот, кто молвил слово,
И тот, кем он внимаем был.

Последние стихи И пред седалище судей
Он привлечен с своим клевретом;
Амфитеатр судищем стал;
Один лишь плач убийц ответом,
И смерти суд на злобных пал.

БАЛЛАДА, В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ОДНА СТАРУШКА ЕХАЛА НА ЧЕРНОМ КОНЕ ВДВОЕМ И КТО СИДЕЛ ВПЕРЕДИ

⟨Окончательная редакция в С, V⟩

Строфа 1 На кровле ворон дико прокричал:
Старушка слышит и бледнеет.
Понятно ей, что ворон тот сказал:
Слегла в постель, дрожит, хладеет.

Строфа 8, ст. 2 Я кровь младенцев проливала,
ст. 4 И кости мертвых похищала.

Строфа 11, ст. 3 Во храм внесен, пред алтарем прибит

Строфа 24, ст. 4 Перед начатием моленья.

Строфа 25, ст. 3 и 4 Ужасный вой, ужасный шум и треск:
И слышалось: гремят цепями.

Строфа 33, ст. 1 Запел петух... и прочь враги бегут,
стих 3 Смелей дьячки на крылосах поют,

Строфа между 34 и 35

И стук у врат: как будто океан
Под бурею ревет и воет,
Как будто степь песчаную оркан
Свистящими крылами роет.

Строфа 36, ст. 4 Поднять глаза не смеет в страхе.

Строфа между 37 и 38

Вдруг затускнел огонь во всех свечах,
Погасли все и закурились;
И замер глас у певчих на устах,
Все трепетали, все крестились.

Строфы 39 и 40

И *он* предстал весь в пламени очам
Свирепый, мрачный, разъяренный;
Но не дерзнул войти он в божий храм,
И ждал пред дверью раздробленной.
И с громом гроб отторгся от цепей;
Ничьей не тронутый рукою
И вмиг на нем не стало обручей —
Они рассыпались золою.

Строфы 43 и 44

Шатаяся пошла она к дверям:
Огромный конь чернее ночи,
Дыша огнем, храпел и прыгал там,
И, как пожар, пылали очи.
И на коня с добычей прянул враг,
И труп завыл и быстротечно
Конь полетел, взвивая дым и прах;
И слух об ней пропал навечно.

ВАРВИК

⟨*Ранняя редакция в долбинской тетради*⟩

Строфа 1 Никем не видим бросил в волны
Артура злой Варвик;
И слышали одни безмолвны
Скалы младенца крик.

АЛИНА И АЛЬСИМ

⟨*Откинутая строфа, после строфы 29-й*⟩

Алины бедной приключенье —
Урок мужьям.
Не верить в первое мгновенье
Своим глазам.
Застав с женою армянина
Рука с рукой,
Молчите: есть тому причина;
Идет домой.

ГАРАЛЬД

⟨*Откинутая строфа, после 2-й*⟩

Чей сладко так приманчив глас?
Что душу всю мутит?
Что прижимается и льнет
К бойцам под твердый щит?

ДВЕНАДЦАТЬ СПЯЩИХ ДЕВ

⟨*Редакция начала в «Вестнике Европы»*⟩

Желала ты моих стихов —
Вот длинная баллада
Пусть слава для других певцов;
Твой взор моя награда.
Но чем же кончу я куплет?
Еще одно желанье...

ИВАНОВ ВЕЧЕР

⟨*Рукопись ПД (№ 27777/CXCVIII648)*⟩

Строфа 44, ст. 1 И она, помолясь и крестом оградясь,

Строфа 47 И ужасное знаменье в стол вожжено:
Напечатались пальцы на нем;
На руке обожженной чернеет пятно:
И закрыта с тех пор полотном.

СУД БОЖИЙ НАД ЕПИСКОПОМ

⟨Рукопись ГПБ (Б № 30, л. 53)⟩

Строфа 6 Вот уж в сарае столпилися гости!..
Кто б ожидать мог подобныя злости?
Чем угостил их епископ Гаттон?
Был им сарай и с гостями сожжен.

АЛОНЗО

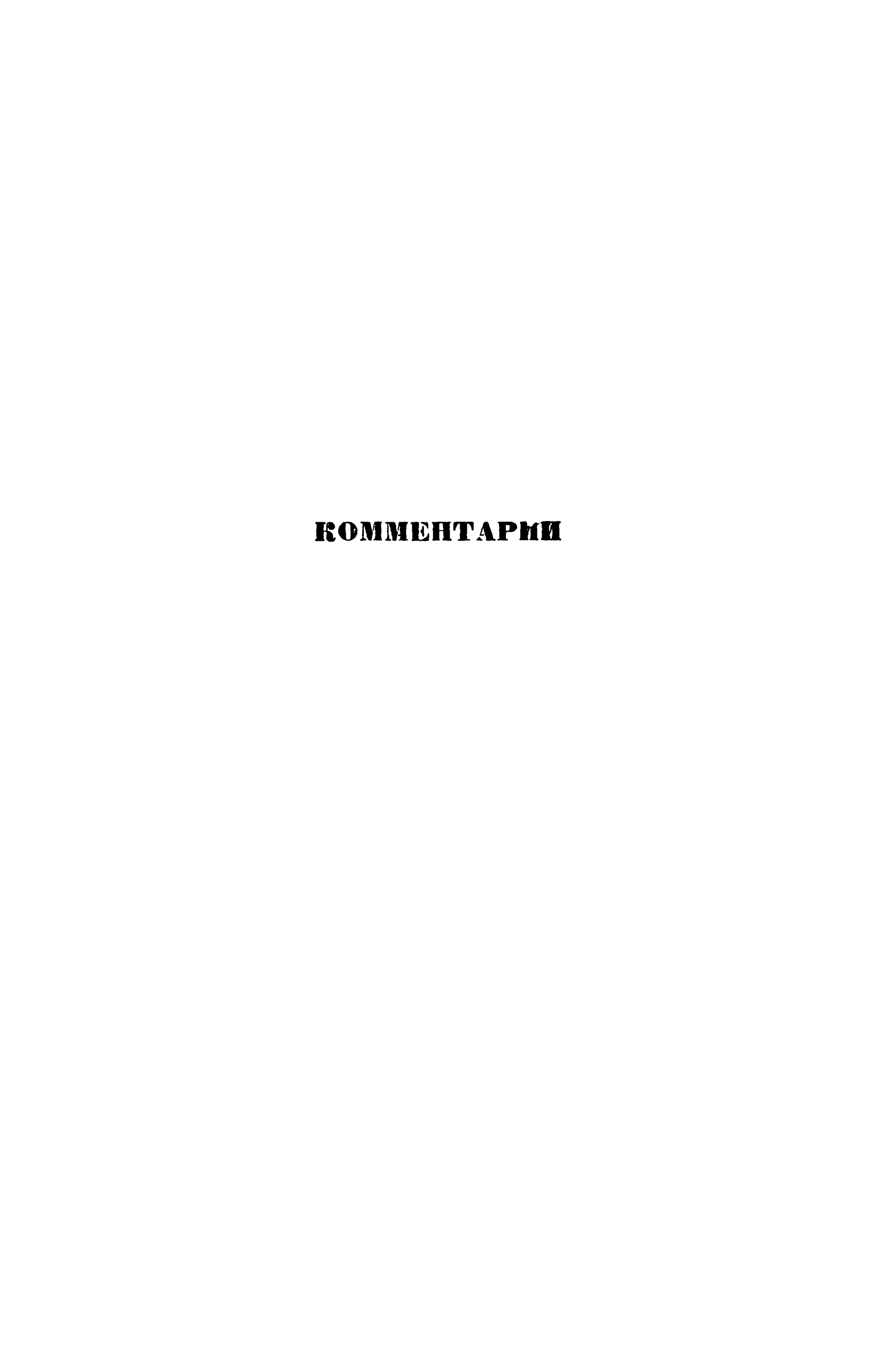
⟨Рукопись ГПБ (Б № 30, л. 54)⟩

Стихи 11 и 12 Обо всем, что молодое
Сердце выдумать умело.

16 Видит он, ему кивают,

27—28 Так одно в минуту слово
Погасило трубадура.

37—38 Возвратяся к юной жизни,
Умиленно вопросила:



КОММЕНТАРИИ

ОТ РЕДАКТОРА

Настоящее издание ставит своей задачей дать наиболее важную часть поэтического наследия Жуковского, сопроводив тексты комментариями, которые вводили бы в научное понимание его творчества. Из существовавших до революции изданий стихотворений Жуковского — первые пять изданий были прижизненными: 1-е изд. — в 2 тт. в 1814—1815 гг.; 2-е изд. — в 3 тт. в 1818 г. плюс 4-й том — проза; 3-е изд. — в 3 тт. в 1824 г.; в 1831 г. вышли двумя изданиями «Баллады и повести» (см. на стр. 356: БиП и БП); 4-е изд. — в 9 тт., с 1835 по 1839 г.; и 5-е изд. — в 9 тт. в Карлсруэ в 1849 г., — кроме того, четыре дополнительных тома (10—13) были выпущены после смерти Жуковского в 1857 г.; 6-е изд. вышло в 1869 г. под ред. К. С. Сербиновича (несмотря на наличие новых публикаций, оно сделано небрежно и характеризуется большим количеством ошибок; сейчас оно совершенно устарело). 7-е, 8-е, 9-е и 10-е издания — под ред. П. Ефремова. Из них самое лучшее — 7-е. Несмотря на то, что после него Ефремов дополнил издания новыми находками, он внес ряд изменений в текстологическое построение, ухудшивших уже проделанную работу. После Ефремова заново пересматривал рукописи Жуковского А. С. Архангельский для редактируемого им собрания сочинений Жуковского (приложение к «Ниве»), которое вышло в 1902 г. в 12 частях (оно было переиздано ЛИТО наркомпроса с «нивских» матриц в 1918 г. без всяких исправлений). Всю работу по подготовке этого издания Архангельский фактически закончил в 1900 г., ибо публикации 1900—1902 гг. в его издание не вошли. Он отмечает в предисловии, что ставил своей задачей представить творчество Жуковского в своем издании как можно полнее. Этой задачей он себя и ограничил. Тексты оказались напечатанными хуже, чем у Ефремова, новые публикации полны ошибками (см. прим. к стих. «19 марта 1823»). Комментария почти нет, а те пояснительные замечания, которые даны в конце, часто являются плодом различных недоразумений. Наконец, и самая полнота издания также относительна. Так, проза представлена вообще случайно и неполно (письма, заметки, дневник и т. д.). Да и ревизия поэтического наследия была самой поверхностной, не просмотрены были газеты и журналы, так что даже попавшие в библиографические справочники и заметки произведения не всегда были перепечатаны, а в тех случаях, когда и перепечатаны, то взяты не из первоисточников. Остальные издания, которых особенно много было в 1902 г. (по случаю 50-летия со дня смерти), научного интереса не имеют.

Таким образом задача настоящего двухтомника дать собрание стихотворений Жуковского, отвечающее требованиям современного научного издания. Редактором были использованы рукописные

материалы Ленинградской Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Пушкинского Дома, Литературного музея в Москве, Исторического музея в Москве и других архивных хранилищ республики.

Ввиду того, что Жуковский за все время своей литературной работы (более 50 лет) систематически перерабатывал свои стихотворения, иногда настолько кардинально, что отдельные редакции он сам печатал в своих собраниях стихотворений как разные самостоятельные произведения, и, наконец, для того, чтобы соблюсти единство текстологической системы, тексты даются в последней прижизненной печатной редакции (5-е изд.), исправленной мною по рукописям, заметкам, корректурам, письмам и другим документам.

Характерные ранние редакции и варианты помещены в примечаниях и в отделе «Варианты и другие редакции». Редактор не отмечает, за отдельными исключениями, работы Жуковского над модернизацией лексики. Жуковский систематически подновлял словарь своих стихов при последующих переработках и перепечатках, и нет необходимости каждый раз оговаривать эту общую черту его работы над стихами, написанными до 1820 г. (такая модернизация характерна и для его работы над стихами, написанными и в начале 1820-х гг., которые он почему-либо дорабатывал позже; см. примеч. к «Кубку»).

Жуковский жил в эпоху с неустановившимся и меняющимся орфографическим сознанием, и за все время литературного развития Жуковского русская орфография проделала существенную эволюцию. Между тем, эволюция орфографии и системы пунктуации у Жуковского связана и с эволюцией его поэтики. Так, отход его от поэтики медитативных элегий и унылого романтизма выразился в отказе от системы восклицательно-вопросительных интонаций в стихе и, в частности, в систематической замене всюду восклицательных и вопросительных знаков точкой с запятой, при последующих (начиная уже с 1820 г.) перепечатках. В настоящем издании сохранена, как правило, пунктуация 5-го изд., кроме тех случаев, когда стихотворение при жизни Жуковского не печаталось или когда он ограничивался журнальной публикацией и в собрание своих сочинений его не вводил.

Порядок расположения текстов основан на рукописном неопубликованном плане Жуковского (см. Б № 26, л. 76), — издания им своих стихотворений, с расположением их по жанрам, — плане, относящемся к последним годам жизни Жуковского. Возможно, что этот план был заготовлен для 5-го издания стихотворений, но Жуковский от него отказался, убежденный Плетневым, который писал Жуковскому, что тип издания, отвечающего современным научным требованиям, требует хронологической последовательности расположения стихотворений. Между тем, не говоря уже о том, что хронология Жуковским совершенно сбита и спутана (даже «Певца во стане русских воинов» Жуковский умудрился датировать 1811 г., хотя он был написан о Бородинском сражении 1812 г.), Жуковский как поэт выступил в эпоху господства в эстетике «жанрового сознания» и, несмотря на всю революцию пушкинской эпохи, с «жанровым сознанием» не порвал. Каждое его стихотворение существует в системе определенного жанра. Вот почему возвращение к жанровой структуре издания, то есть к рукописному плану, восстанавливает реальное эстетическое членение поэзии Жуков-

ского и дает представление об эволюции его поэзии от одних жанров к другим, эволюции, которая выражает реальное развитие его поэзии и показывает самый смысл развития его поэтической системы. В соответствии с замыслами Жуковского 30—40-х гг. из «Повестей» выделен самостоятельный отдел: «Повести для детей». Кроме отделов, взятых из рукописного плана, в конце книги прибавлен отдел «Стихотворения, не опубликованные при жизни».

В примечаниях, в справке о первопечатном тексте, в тех случаях, когда Жуковский публиковал стихотворение за подписью: Жуковский или В. Жуковский, указание на подпись опускается.

Приношу благодарность лицам, указаниями которых я пользовался в процессе работы: М. П. Алексееву, М. А. Брискману, И. А. Бычкову, Г. А. Гуковскому, В. М. Жирмунскому, А. Я. Максимовичу, Б. Г. Реизову, Б. В. Томашевскому, Ю. Н. Тынянову и И. Г. Ямпольскому. Рядом советов и указаний я обязан также покойному Я. Л. Барскову.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В КОММЕНТАРИЯХ

Б — Отчет Публичной Библиотеки за 1884 г. Описание И. А. Бычковым бумаг Жуковского, СПб., 1887.

«Библ. для Чт.» — «Библиотека для Чтения».

БП — «Баллады и повести, сочинение В. А. Жуковского в 2-х частях», СПб., 1831.

БиП — «Баллады и повести, сочинение В. Ж.», СПб., 1831.

ВЕ — «Вестник Европы».

Ал. Веселовский — Александр Веселовский, «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения», СПб., 1904.

Ив. Галюн — Ив. П. Галюн, «К вопросу о литературных влияниях в поэзии Жуковского», Киев, 1916.

ГПБ Государственная Публичная Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ДЖ — «Дневники В. А. Жуковского», издание «Русской Старины», 1903.

Мих. Дмитриев — Мих. Дмитриев, «Мелочи из запаса моей памяти», издание «Русского Архива», М., 1869.

Ж. — В. А. Жуковский.

ЖМНПр — «Журнал Министерства Народного Просвещения».

Загарин — П. Загарин, «В. А. Жуковский», СПб., 1883.

К. Зейдлиц, I — К. Зейдлиц, «Очерк развития поэтической деятельности В. А. Жуковского», напечатанный в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1869, апрель — июнь.

К. Зейдлиц, II — «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. По неизданным источникам и личным воспоминаниям К. К. Зейдлица», издание «Вестника Европы», СПб., 1883.

ИВ — «Исторический Вестник».

ЛВ — «Литературный Вестник».

ОА — «Остафьевский Архив кн. Вяземских».

ПД — Пушкинский Дом Ак. Наук СССР.

ПкТ — «Письма В. А. Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу», издание «Русского Архива», М., 1895.

ПКТУ — «Печатный каталог библиотеки Томского университета», в которую вошла и библиотека Жуковского.

Плещеев, А. А. — «Баллады и романсы В. А. Жуковского, положенные на музыку для фортепиано А. А. Плещеевым, в 2-х ч.», СПб., 1832.

РА — «Русский Архив».

РБ — «Русский Библиофил».

В. Резанов — В. И. Резанов, «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», в. I, СПб. 1906, и в. II, Петр., 1916.

РиП — «Романсы и песни».

РП — Рукописный план последнего прижизненного издания собрания стихотворений Жуковского (см. заметку от редактора, стр. 354).

РС — «Русская Старина».
Рук — Рукопись.
РФВ — «Русский Филологический Вестник».
СиН — «Старина и Новизна».
СО — «Сын Отечества».
«Совр.» — «Современник».
«Соревн. просвещ. и благотв». — «Соревнователь просвещения и благотворения».
Соч. ВАЖ, 1902 — Собрания сочинений В. А. Жуковского под редакцией А. С. Архангельского, 1902.
Ст. — стих.
Стих. — стихотворение.
С, I—X — Собрания сочинений В. А. Жуковского с 1-го по 10-е (С, V (п) — посмертно вышедшие тома: X—XIII С, V).
УС — «Уткинский Сборник», 1904.
FWДН — «Für Wenige. Для немногих».
ФЗ — «Филологические Записки».
Ц. д. — Цензурная дата.
Цветаев — Дм. Цветаев, «Критическое выяснение баллад Шиллера». Статьи, напечатанные в «Филологических Записках», 1881, в. IV—VI, и 1882, в. I—IV.
Чешихин — В. Чешихин-Ветринский, «Жуковский как переводчик Шиллера», Рига, 1895.
С. Шестаков — С. Шестаков, «Переводы Жуковского из немецких и английских поэтов», Казань, 1903.

ЭЛЕГИИ

Сельское кладбище — май — сент. 1802. ВЕ, 1802, дек., стр. 319, под заглавием: «Сельское кладбище. Греева элегия, переведенная с английского (переводчик посвящает А. И. Т — ву)», и С, I—V. Ряд автографов в ГПБ: (Б № 13, л. 11; № 14, л. 3; № 12, л. 5) и список рукой одной из Протасовых со многими исправлениями, сделанными Ж. (Погодинское хранилище, л. 1). Рук. № 12: «Элегия, писанная на сельском кладбище. Из Грая» — 1-я черновая редакция перевода элегии английского поэта-элегика Томаса Грея (1716—1771): «Elegy written in a Country Churchyard», 1801 г. (о ней Ж. упоминает и в программе своего журнала-дневника). Рук. прерывается на ст. 147. Эту редакцию опубликовал с ошибками А. С. Архангельский (Соч. ВАЖ, 1902). См. ее на стр. 334. Эта 1-я редакция — свободный пересказ элегии Грея. Изменен размер (у Грея 5-стопный ямб), что сделало стих более тягучим. Кончив перевод, Ж. показал его Н. М. Карамзину. Карамзин посоветовал перевод переработать. Ж. заново перевел всю элегию (см. Мих. Дмитриев, стр. 182). Эта 2-я редакция перевода и была напечатана в 1802 г. в ВЕ. Впоследствии Ж. многократно перерабатывал этот перевод элегии Грея. В 1839 г. он заново перевел всю элегию (см. примеч. к переводу 1839 г.). Таким образом, нужно отметить три основные редакции перевода: 1801, 1802 и 1839 гг. Печатаемая — редакция 1802 г., в том окончательном виде, какой она приняла, после переработок, в С, V. Текст С, V отличен и от ВЕ и от С, III (см. отличия текста ВЕ от С, V на стр. 338). С ВЕ почти полностью совпадает список рукою А. А. Протасовой (рук. № 13), исправленный Ж. Озаглавлен этот список: «Сельское кладбище. 1802 года в сентябре». Тот же текст и в рук. № 14, л. 1 (имеющий мелкие отличия от ВЕ): «Сельское кладбище, Греева элегия». В рук. № 13 последний стих первоначально читался, как в ВЕ. Затем «За гробовой доской» зачеркнуто и надписано: «За страшной сей доской!» В рук. № 14 этот стих уже прямо читается: «За страшной сей доской!» Элегия Грея была уже известна в России и до Ж. благодаря многочисленным переводам: в «Покоящемся трудолюбце», 1785, ч. 1, была напечатана эпитафия из элегии под заглавием: «Эпитафия господина Грея самому себе» (перевод в стихах), в ч. 4 того же изд. — прозаический перевод элегии под заглавием: «Кладбище. Елегия Греева», без подписи; в «Беседующем Гражданине», 1789, ч. 3, окт., прозаический пересказ: «Елегия. На сельском кладбище. Соч. Г. Грея»; в «Приятном и полезном препровождении времени», 1796, ч. 9, под заглавием: «Элегия», за подписью: Кн. Ф. С. (Федор Сибирский) — сокращенный перевод прозой; в «Ипокрене», 1799, ч. 2, прозаический перевод кн. П. Козловского: «Сын меланхолии. Элегия Греева, написанная на деревенском кладбище», и ч. 9 — подражание элегии Грея П. Львова:

«Сельское препровождение времени». Свой второй перевод (1802) Ж. сделал в селе Мишенском и доработал его в сент. 1802 г. (см. также в рук. № 13, л. 5, в перечне стихотворений: «Сельское кладбище (с английского)» и добавлено затем: «в сентябре»).

Семейная легенда рассказывает, что Ж. сделал этот перевод в Мишенском на холме. «Этот холм,—пишет К. Зейдлиц (II, стр. 5),— сохранил название *Греева элегия*». Сам Ж. также писал об этом 29 янв. 1833 г. А. П. Зонтаг из Швейцарии: «Хочу у подошвы швейцарских гор посидеть на том низком холмике, на коем стоял наш Мишенский дом с своей смиренною церковью, на коем началась моя поэзия греевой элегией» (УС, стр. 109). Редакция 1802 г., так же как и 1-я редакция (1801), — свободный перевод подлинника. Отступления от оригинала выражаются в привнесении настроений и фразеологии сентиментального психологизма. Так, в редакции 1801 г. у Ж.: вечерний колокол *печально* раздается, земледел идет *задумчиво* и т. д., в редакции 1802 г. — рогов *унылый* звон и т. д. Взамен стихов Грея: «Широка была его доброта, искренняя его душа, щедрую награду ниспослало ему небо» — у Ж. (редакция 1802 г.): «Он кроток сердцем был, чувствителен душою; Чувствительным творец награду положил...»; взамен стихов о сердце, «исполненном небесного огня» (selestial fire), — у Ж. в редакции 1802 г.: «Прах сердца *нежного, умевшего любить*». Особенно заметно отличие от оригинала, начиная от стиха: «А ты, почивших друг, певец уединенный...» (ср. с точным переводом, сделанным Ж. в 1839 г.). Наиболее отступала от оригинала последняя строфа ранних вариантов 2-й редакции (1802). Редакция этой строфы ВЕ, сохранившаяся до С, III, отстоит от оригинала гораздо дальше, чем окончательная редакция этого перевода (С, V). Взамен «успокоения в лоне отца и бога» (у Грея) в ВЕ: «Кто знает, что нас ждет за гробовой доской?» Этот вариант, видимо, восходит к русскому переводу эпитафии из элегии Грея («Покоящийся трудолюбец» — см. выше). Наконец, в самый образ юноши Ж. привнес черты чувствительности, меланхолии, сделавшие этот образ типическим выражением сентиментального стиля.

Впоследствии Вл. Соловьев написал подражание «Сельскому кладбищу» Ж. — «Родина русской поэзии. По поводу элегии *Сельское кладбище*» — и сделал к своим стихам примечание, что, «несмотря на иностранное происхождение и на излишество сентиментальности в некоторых местах, «Сельское кладбище» может считаться началом истинно человеческой поэзии в России».

Напечатав в ВЕ «Сельское кладбище» Ж., Карамзин поставил под стихами полностью фамилию Ж., изменив окончание *ой* на *ий*. С тех пор и сам Жуковской стал подписываться: Жуковский.

Вечерний колокол (см. стр. 334) — «В Англии со времен Вильгельма Завоевателя обыкновенно по вечерам в 8 часов звонят, для напоминания, чтоб всяк скрывал огонь и гасил свечи» («Покоящийся трудолюбец», ч. 4, М., 1785, стр. 187). *Лишь слышится вдали рогов унылый звон!* — «В Англии привязывают колокольчики к рогам баранов и коров» (Примеч. В. Ж.). *Гампден надменный* — Джон Гампден (1596—1643), богатый английский землевладелец, прославившийся своим отказом уплатить в пользу короля ничтожную корабельную подать, как незаконную, и сыгравший впоследствии заметную роль в английской революции.

Вечер — май — июль 1806. ВЕ, 1807, февр., стр. 278, за подписью: «Белев 1806 года. В Июле, В. Ж—ий», и С, I—V. Рук. в ГПБ (Б № 12, л. 23) — три черновые редакции, из которых 2-я озаглавлена: «Ручей»; рук. № 13, л. 23, — «Вечер 1806 в Мае» — строфы 1—17 и на л. 55 окончание — строфы 18—23; № 14, л. 22, № 15, л. 57 — в отделе «Смесь»; № 20 — тетрадь М. А. Протасовой с поправками Ж. Эта редакция совпадает с окончательной и, так как тетрадь включает в себя стихи 1806—1809 гг., написана не позже 1809 г. Таким образом, рук. показывают, что Ж. начал элегию в мае 1806 г., закончил всю переработку в июле и не позже 1809 г. внес в текст окончательные исправления. В рукописном перечне своих произведений (Б № 13, л. 5) Ж. обозначил «Вечер» как стихотворение непереводное. И, однако, «Вечер» настолько полон идиллико-пейзажных формул европейской сентиментальной поэзии, что кажется почти контаминацией отдельных стихов и выражений. Такой контаминационный характер оригинальных произведений Ж. отчетливо виден в его работе над аналогичной элегией «Весна». В рук. ГПБ (Б № 78, л. 4, в тетр. 1808 г.) — мысли и заметки Ж. для задуманного стихотворения о весне. Сначала Ж. написал план (прозаический) стихотворения о весне Клейста, затем так же кратко план весны из Сен-Ламбера, затем из Томсона, затем из Гесснера, каждого отдельно и следом за предыдущим. Затем — из всего этого — объединив отдельные мотивы в краткий конспект — собственный план стихотворения о весне. И этот конспект переложил в стихи: «Пришла весна! Разрушив лед, река...» (см. эти стихи в издании стихотворений Ж. в малой серии «Библиотеки Поэта», Л., 1936, стр. 10). В рук. ГПБ (Б № 12, л. 51) еще аналогичный план стихов о весне (более ранний): «Приступ, Утро — Пришествие весны — весна всё оживляет — Разрушение и жизнь — А... ⟨Андрей Тургенев. *Ц. В.*⟩ краткость его жизни — гроб его — надежда пережить — опять обращение к весне — главные черты весенней природы (из Клейста) — Жизнь поселянина (из Клейста) — Цена неизвестной и спокойной жизни — уединение — обращение к себе — любовь — Мальвина — Меланхолия — неизвестность судьбы»' и несколько ниже: «Лес — черемуха — ручей — птичье гнездо — конь — вол — озеро — Рыбаки — первый дождь». На обороте л. 51 планы: «Что сочинить и перевести» (написано в колонку): «Элегии: Отсутствие. Первое впечатление. Присутствие. Знатность. Уединение. Скука. Мечты. Музыка. Ручей. быстрота времени». Возможно, что «Ручей» — это недавно написанный «Вечер» (см. Б № 12 «Ручей») и, следовательно, можно думать, что у Ж. в 1806 г. было намерение написать ряд элегий, такого же типа, как «Вечер».

Сличение разных редакций «Вечера» показывает, что, перерабатывая текст, Ж. заменял конкретные образы окружающей его природы села Мишенского условными и литературными. Так в строфе (в скобках более поздние редакции):

Коль (Как), изредка шумя, колышется (нежно
зыблется у берега) тростник!
Коль (Как), усыпительно жуков ночных жужжанье!
В траве (Вдали) коростеля я слышу дикой крик!
И в роще (И томной) (И нежной) иволги стенанье!

в окончательной редакции «иволги стенанье» заменено «стенаньем Филомелы!», аналогично в предыдущей строфе стих «Как воздух прохлажден душистою росой» заменен «Как слит с прохладою растений *фимиам*!» и т. п. Последние стихи элегии в ранних редакциях читаются (см. Б № 12 и № 13 и ВЕ):

Ах! скоро может быть с пастушкою унылой
Придет сюда пастух в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!

заменены сперва (см. №№ 13 и 14) на «Придет сюда Кольма», а затем на «Придет сюда Альпин с Минваною унылой», т. е. на условные имена молодых влюбленных.

Важно также отметить переработку стихов о назначении поэта:

Беспечность и поля ⟨след. редакция — «друзей»⟩, и рощи воспевать!
О песни, сладкий яд невинности сердечной!

Ж. заменил здесь пасторально-идиллическую лексику религиозно-нравственными понятиями:

Творца, друзей, *любовь* и счастье воспевать
О песни, *чистый плод* невинности сердечной..!

Где вы, мои друзья, вы спутники мои? — и далее имеются в виду собрания «Дружеского литературного общества». *Один — минутный цвет почил и непробудно*! — Андрей Тургенев, друг Ж., умерший в 1803 г. от тифа (см. «На смерть А...»). К нему относятся и стихи одной из ранних редакций «Вечера» (Б № 12, л. 26) — см. стр. 339. Эти стихи — первоначальная редакция строфы 13 («Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?»). Следовательно, выясняется, что первоначально Ж. думал начать воспоминания о прошлом обращением к Андрею Тургеневу, а потом, перерабатывая текст, переадресовал обращение ко всем друзьям. *Другой... о небо правосудно*! — С. Е. Родзянко, друг Ж. по Университетскому пансиону. Вскоре по выходе из пансиона Родзянко сошел с ума (см. Сушков, «Московский университетский благородный пансион», М., 1858, стр. 76). Положено на музыку Чайковским от стиха: «Уж вечер... облаков померкнули края» — три строфы (Дуэт Полины и Лизы в «Пиковой даме»).

На смерть фельдмаршала графа Каменского — авг. 1809. ВЕ, 1809, сент., стр. 145, под заглавием: «Мысли над гробом Каменского», за подписью: Ж., и С, I—V. В ВЕ текст состоит из 14 строф. В С, I были откинуты строфы 8—13, а в С, III и последняя (14) строфа. В С, V датировано 1808 г. Эта дата ошибочна. Каменский был убит 12 авг. 1809 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 58), редакция, сходная с ВЕ. Окончательная редакция, итак, помимо мелких разночтений, короче первоначальной на семь строф (см. их на стр. 339).

Стихи написаны на смерть известного генерал-фельдмаршала гр. М. Ф. Каменского (1738—1809). В конце 1806 г. Каменский был назначен главнокомандующим русской армией, действующей против Наполеона. Прибыв на фронт, он самовольно отказался от звания главнокомандующего и с 21 февр. 1807 г. переселился в свою деревню. Был убит своим крепостным, зарубившим его

топором, в роще, на прогулке. Убийство Каменского произвело огромное впечатление в столице. Ж. в элегии истолковывает это убийство как указание на неусыпность провидения, которое послало «презренный конец» Каменскому «живым лишь только в устрашенье!» Последняя (14) строфа была направлена против Наполеона, которому, по Ж., смерть Каменского должна служить предостережением. Впоследствии Ж. отбросил все строфы, в которых было косвенное оправдание убийства Каменского, а также строфу, адресованную Наполеону (в 20-е гг. она утратила свой смысл). Стихотворение, благодаря отсечению конца, сделалось философской ламентацией на тему о превратностях человеческой судьбы. Изменение принципиального смысла стихотворения изменило и его жанровый смысл. Из отдела «Лирические стихотворения» (политической лирики) оно было перенесено Ж. в отдел элегий — т. е. оно приобрело характер морально-философской резиньяции.

Славянка — между сент. и окт. 1815. С, I—V. В С, V — отнесено к 1816 г. Датируется на основании письма Ж. к А. П. Киреевской, в котором он посылал ей «Славянку» и которое написано осенью (после 23 сент.) 1815 г. (см. РС, 1883, т. 38, стр. 106), и письма Н. М. Карамзина к А. И. Тургеневу от 20 окт. 1815 г. о том, что он желал бы видеть «Славянку» (РС, 1899, т. 97, стр. 469). В С, I—V Ж. сопроводил элегию примечанием, в котором объяснял, что «Славянка» — река в Павловске, что описаны в элегии два памятника, произведения скульптора Мартоса: в честь имп. Павла и в. кн. Александры Павловны, что *семейственная* роща называется так потому, что в ней каждое дерево посажено в честь какого-нибудь радостного события в царской семье, что в средине этой рощи стоит в уединении *урна судьбы*.

На кончину ее вел. кор. Виртембергской — янв. 1819. Отдельной брошюрой, СПб., 1819 (ц. д. 2 февр. 1819), за подписью: В. Ж. и с эпиграфом из Шиллера, подсказавшим содержание элегии:

Das ist da Loos des Schönen auf der Erde!
. . . .
Es ist kein Leerer schmeichelnder Wahn
Es zeugt im Gehirne des Thoren!
Im Herzen künded es laut sich an:
Zu was besserm sind wir geboren!
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.

Перепеч. в С, III—V. Рук. в ПД (№ 9678/LVIII 6 18), отрывок от стиха: «О наша жизнь, где верны лишь утраты». В С, V датировано 1818 г. (очевидно, это дата смерти кор. Виртембергской). Е. П. Виртембергская умерла 28 дек. 1818 г., и известие о ее смерти могло быть получено в России только в янв. 1819 г. Следовательно, элегия написана в янв. 1819 г. В. кн. Екатерина Павловна, сестра Александра I, на смерть которой написаны стихи Ж., была в первом замужестве за герцогом Ольденбургским. Дом ее при первом муже (в Твери) был одним из центров русской крепостнической идеологии. Ж. печатал элегию с примечаниями (см. С, V). К стиху «Кого спешишь ты, прелесть молодая», — он пояснял, что в. кн. Александра Федоровна, услышав стук в двери, вышла с веселым лицом навстречу мужу,

и «за порогом двери встретило ее страшное известие». К стиху «И ты спешишь с надеждой на свиданье» — что имп. Елисавета, ехавшая на свидание с кор. Виртембергской, принуждена была возвратиться с последней станции, не доехав. К стиху «Из дома в дом по улицам столицы» и сл. — что в столице уже знали о смерти, а мать еще не догадывалась. Наконец, она начала понимать недоброе, но пришло письмо, «писанное королевою, можно сказать, за минуту до разлуки ее с жизнию, и мертвая воскресла для матери, воскресла на минуту, чтобы в другой раз умереть для нее и живее разорвать ее душу после мгновенной, мучительно-обманчивой радости». Самый жанр философической элегии, написанной октавами, Ж. был подсказан переведенным им Гетевским посвящением к «Фаусту» (см. примеч. к «Двенадцати спящим девам»). В русской поэзии уже существовала традиция надгробных философских элегий. Ж., конечно, была известна не только ода Державина на смерть кн. Мещерского, но и ода (элегия) его на смерть в. кн. Ольги Павловны. Однако элегия Ж. должна быть сближена не с русской, а с немецкой традицией, с аналогичными немецкими мистико-романтическими элегиями, разрабатывающими цикл идей о небесном посетителе, о земной жизни как преходящем испытании. Последний стих элегии Ж., предсказывающий воскресение умершей («С надеждою и верой приступите»), — парафраза слов, которые в церкви говорят верующим перед причастием, — подчеркивает религиозный характер осмысления Ж. формул романтической поэзии.

Сельское кладбище (второй перевод из Грея) — май — июль 1839. «Совр.», 1839, т. 16, стр. 216, под заглавием: «Сельское кладбище. Греева элегия» (в оглавлении указано: «Новый перевод В. А. Жуковского»), с тремя рисунками кладбища, воспетого Греем, сделанными Ж. с натуры, с его же объяснением рисунков и с предисловием, и С, IV—V. В С, V элегия имеет подзаголовок: «Второй перевод из Грея» и датирована ошибочно 1838 г. Перевод сделан в мае 1839 г. (прибыл Ж. в Лондон 21 апр. 1839 г. и затем посетил кладбище в Виндзоре). Доработал он перевод 23 июля 1839 г. (см. ДЖ, стр. 502). В ПД хранится корректура отдела «Разные стихотворения», т. 9, С, IV (шифр № 27812/CXCIX 59). Здесь Ж. исправил ряд опечаток, сохранившихся, однако, и в С, V. Рук. в ГПБ (Б № 26, л. 51) — список рукою А. И. Тургенева, исправленный Ж. На этот раз Ж. стремился точно передать элегию Грея слово в слово. Только стих «And drowsy trinklings bull the distant folds» Ж. перевел: «Лишь слышится вдали пастуший рог унылый» (у Грея речь идет о колокольчиках — ср. примеч. к переводу 1802 г.). Ж., кроме того, не сохранил размера оригинала и передал элегию гекзаметром.

В собрании своих стихотворений Ж. печатал переводы 1802 и 1839 гг. как два отдельные произведения, со следующим примечанием при втором переводе: «Греева элегия переведена мною в 1802 году и напечатана в «Вестнике Европы», который в 1802 и 1803 году был издаваем Н. М. Карамзиным. Это мое *первое* ⟨это неверно! *Ц. В.*⟩ *напечатанное* стихотворение. Оно было посвящено тогда Андрею Ивановичу Тургеневу. ⟨К этому слову Ж. в С, V сделал примеч.: «Он умер в 1803 году»⟩. Находясь в Мае месяце 1839 года в Виндзоре, я посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его элегию (оно находится в деревне Stock Poges неподалеку от

Виндзора); там я перечитал прекрасную Грееву поэму и вздумал снова перевести ее как можно ближе к подлиннику. Этот второй перевод, почти через сорок лет после первого, посвящаю Александру Ивановичу Тургеневу ⟨в С, V к этому слову сделано примечание: «И его уж нет»⟩ в знак нашей с тех пор продолжающейся дружбы и в воспоминание о его брате». О своем желании посвятить этот перевод А. И. Тургеневу Ж. сказал ему при встрече в Киссингене. А. И. Тургенев писал об этом П. А. Вяземскому 5 июня 1839 г.: «С Ж. провел я несколько приятных, задушевных минут... они повеяли на меня прежним сердечным участием, прежней сердечною дружбою. Этому способствовал и его новый перевод элегии гекзаметрами, которую он продиктовал мне и подарил оригинал руки его, на английском оригинале написанный. Я почти прослезился, когда он сказал мне, что так как первый посвящен был брату Андрею, то 2-й, через 40 лет, хочет он посвятить мне. Мы пережили многое и многих, но не дружбу... Соприкосновение Ж. с чуждыми мне, и часто враждебными элементами не повредили верному и постоянному чувству. Пусть другие осуждают его за то, что он жмет окровавленную руку Блудова: я вижу в этом одну лень ума или сон души, а не равнодушие; и в отсутствие я сердился на него за многое; встреча примиряет с ним, ибо многое объясняет... Перевод Ж. гекзаметрами сначала мне как-то не очень понравился, ибо мешал воспоминанию прежних стихов, кои мне казались почти совершенством перевода; но Ж. сам указал мне на разницу в двух переводах, и я должен признать в последнем более простоты, возвышенности, натуральности и, следовательно, верности. Les vers à retenir также удачно переведены, и как-то этого рода чувства лучше ложатся в гекзаметры, чем в прежний размер, коего назвать не умею» (ОА, IV, стр. 74 и 216).

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Певец во стане русских воинов — 1812: ВЕ, 1812, дек., стр. 176, с подзаголовком: «(Писано после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине)», и С, I—V. Текст ВЕ отличен от окончательной редакции. Помимо мелких разночтений, здесь нет ст. 185—207, написанных позднее. Строфа после ст. 280 читается иначе (см. стр. 340). Строф от ст. 233 до 321 и от 409 до 420 также нет. Ст. 602—605 читаются иначе (см. стр. 341). «Певец во стане» сразу же вышел отдельными изданиями, каждый раз в переработанном виде. В 1813 г. 1-е изд. в СПб. (ц. д. 24 янв. 1813) — текст ВЕ; 2-е испр. изд., СПб. (ц. д. 12 мая 1813), с примечаниями Д. В. Дашкова, сделанными по желанию И. И. Дмитриева (примечания эти сохранены Ж. при всех перепечатках) и в двух тиражах: первый с виньетом и кашкою (рис. А. Оленина) и второй — без виньетов; по словам П. Ефремова, было и 3-е изд. с нотами Бортнянского (ср. также П. Бартенев, «Моск. Ведомости», 1853, № 18). В сб. «В. А. Жуковский. Чествование его памяти в 1883 г.» указано, что «отдельного 3-го изд., как видно, не выходило». П. Ефремов упоминает еще о самом раннем издании: «Указывают, что будто существует изд. 1812 г., сделанное в военно-походной канцелярии кн. Смоленского». Ефремов этого издания не видел и существование его маловероятно; в 1837 г. — издание с музыкой Верстовского, с сокращениями, вызванными распределением стихов для поющих голосов.

В С, V отнесено к 1811 г. Черновой автограф в ГПБ (Б № 25, л. 4) с двумя хронологическими пометами. После стиха «Какое сердце не дрожит, тебя благословляя»: «Октября 13 Чернь» (л. 7), и на л. 23: «Кончено 20 октября». На лл. 27 и 35 снова наброски «Певца во стане». Здесь же беловой автограф (Б № 14, л. 111). Таким образом, возвратившись на родину, Ж. дорабатывал «Певца» перед отправлением его в ВЕ. Здесь же в ГПБ экземпляр 2-го изд., подготовлявшийся для 3-го изд. Ст. 273—276 здесь читаются иначе (см. стр. 341). Остальные варианты из этих добавлений см. в «Сборнике снимков с автографов русских деятелей 1801—1825 гг.», изд. РС и Ф. К. Опочинина (СПб., 1874, стр. 49). В конце рук. примечания, частью подписанные: Ж., частью Д. Д[ашков]. В рук. (№ 14, л. 111) после стихов:

И Багговут среди мечей
Средь громов безмятежный!..
Хвала вам, бранный сонм вождей,
Отчизны щит надежный.

и рефрена воинов — сразу же ст. 321: «Друзья, кипящий кубок сей». Здесь же, в ГПБ (Б № 77, л. 1) — наброски плана «Певца».

Анализ рук. показывает, что если «Певец» и был написан накануне битвы при Тарутине, то не целиком и далеко не был доведен до белового вида, что Ж. дорабатывал его в 1812—1814 гг. и что в процессе работы он ввел много новых строф и «пересадил» ряд генералов из одних строф в другие. Начинается «Певец» воспоминаниями о «славе дедов». Певец вызывает тени: в. кн. Святослава (942—972) и заставляет его повторить слова, сказанные им, по летописному свидетельству, перед битвой с греками: «Ляжем зде костьми, мертвые бо срама не имут»; в. к. всея Руси Дмитрия Донского, разбившего татар в знаменитой битве при Куликовом поле (1380) — «с четой двух соименных», т. е. с Иваном III и Иваном IV; Петра I, разгромившего шведов под Полтавой («орды пришельца» — войска короля Швеции Карла XII); «беги... с твоим сарматом» — сарматы — древние кочевники-варвары, здесь сарматом назван, вероятно, «враг отчизны», изменник гетман Мазепа. Это историческое иносказание, видимо, обращено к полякам, сражавшимся в войсках Наполеона; А. В. Суворова (1730—1800). От исторического прошлого автор обращается к славе современникам. Начав со славы Александру I, он переходит к славе главнокомандующему армией М. И. Голенищеву-Кутузову (1745—1813), говорит о его «израненном челе» (в сражении при Кагуле 1770 г. турецкая пуля попала Кутузову в левый висок и вышла у правого глаза) и пересказывает распространенную тогда легенду о появлении во время смотра накануне Бородинского сражения в небе орла, воспарившего над головой Кутузова, что сочтено было благоприятным предзнаменованием. Затем автор воспевает генералов — участников Бородина: А. П. Ермолова (см. примеч. к «Ермолову»), Н. Н. Раевского (1771—1829), который, согласно патриотической легенде, шел на французов, ведя рядом с собой двух своих малолетних сыновей (см. разоблачение этой легенды Раевским — соч. К. Н. Батюшкова, «Academia», 1934, стр. 372); М. А. Милорадовича (1771—1825); П. Х. Витгенштейна (1768—1842), командовавшего 1-м корпусом и прикрывавшего пути к Петербургу — отсюда «Петрополя спаситель» (в ранних редакциях «твердыня

Петрограда»); П. П. Коновницына (1766—1822); М. И. Платова (см. примеч. к «К Воейкову»); Л. Л. Бенигсона (Бенигсена) (1745—1826), начальника штаба армии; в 1812 г. ему было 67 лет; А. И. Остермана-Толстого (1770—1857); А. П. Тормасова (1752—1819); К. Ф. Багговута (1761—1812): «И Багговут... средь копий безмятежный» — стихи сии сочинены прежде Тарутинского сражения. Багговут был первою его жертвою (6 окт. 1812) (Д. Д.)»; Д. С. Дохтурова (1756—1816); М. С. Воронцова (1782—1856), впоследствии светл. кн. и генерал-фельдмаршала, известного враждебным отношением к Пушкину. Воронцов при Бородине был ранен пулей (у Ж. условно-классическая терминология: «стрела в бесстрашного вонзилась»); А. Г. Щербатова (1777—1848), который недавно лишился жены, сестры кн. П. А. Вяземского (см. СиН, XX, стр. 204); Петра П. Палена (1778—1864); П. А. Строгонова (1774—1817), добровольно вступившего в армию (отсюда «он жаждет чистой славы; она из мира увлекла»). Затем следует введение к следующей группе героев: «Хвала бестрепетных вождям» и т. д. «Вождями бестрепетных названы здесь партизаны (Д. Д.)». Затем следует слава А. С. Фигнеру (1787—1813), известному организатору партизанских отрядов в тылу у французов. Фигнер, переодеваясь в различные костюмы, пробирался в тыл к французам как разведчик (отсюда «старцем в стан врагов идет во мраке ночи» и т. д.); А. Н. Сеславину (1780—1858); Д. В. Давыдову (1784—1839), известному поэту-партизану (на эти стихи Давыдов собирался отвечать — см. его стихи: «Жуковский, милый друг! Долг красен платежом!», опубликованные Вл. Орловым в «Звезде», 1933, № 7). Затем Ж. обращается к следующей группе героев: кн. Н. Д. Кудашеву, генералу и партизану, зятю М. И. Голенищева-Кутузова, умершему от раны в конце 1813 г.; А. И. Чернышеву (1786—1857), впоследствии, при Николае I, военному министру; В. В. Орлову-Денисову (1775—1844), отличившемуся при Тарутине; А. С. Кайсарову (1782—1813), товарищу Ж. по Университетскому пансиону, убитому 14 мая 1813 г. под Ганау. О стихах, посвященных Кайсарову, К. Н. Батюшков говорил, что «их можно объяснить только стихом из того же «Певца»: «Для друга — всё что в мире есть» (см. П. А. Вяземский, Соч., т. 8, 1883, стр. 432). Возможно, впрочем, что стихи эти посвящены не А. С. Кайсарову, а его брату генералу П. С. Кайсарову (1783—1844), в 1812 г. «дежурному генералу армии». Затем следует слава убитым генералам: Я. П. Кульневу (1763—1812) — «Где жизнь судьба ему дала, Там брань его сразила» — «Кульнев был убит в 30 верстах от местечка Люцина, где жила его мать и где провел он свое младенчество (Д. Д.)»; А. И. Кутайсову (1784—1812) — «Кутайсов убит под Бородиным... После Бородинского сражения увидели его лошадь, обагренную кровью, бегущую без седока, и долго не могли отыскать его тела (Д. Д.)»; П. И. Багратиону (1765—1812) — «Багратион умер от раны, полученной в сражении под Бородиным. Армия несколько времени надеялась на его выздоровление, но судьба решила иначе (Д. Д.)»; «Любви сей полный кубок в дар» и след. стихи отражают чувство Ж. к М. А. Протасовой. Следующая часть, от стиха «Сей кубок чистым музам в дар», посвящена характеристике поэтов как «сотрудников вождям». Ж. сначала говорит о Баяне — легендарном народном певце, упоминаемом в «Слове о полку Игореве», затем о М. В. Ломоносове — «певце подателе славы» («возник средя

снегов» — указание на родину Ломоносова); Василии Петрове (1736—1799), воспевшем победы генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского (1725—1796) над турками; Г. Р. Державина, воспевшего победы Суворова, — и обращается к автохарактеристике («Певец ваш юный»).

Рук. «Певца» дают возможность установить самые принципы внесения исправлений и добавлений. Война с Наполеоном, продолжаясь, приносила известия и о новых победах и о новых неудачах. В связи с этим оценка достоинств упоминаемых в «Певце» генералов менялась, определяясь общим ходом военной кампании против Наполеона. Ж. стремился, в зависимости от непрерывных военных переоценок репутаций, перерабатывать свое произведение. Вопрос об иерархиях славы встал в этой работе перед Ж. и как вопрос о количестве стихов, отводимых восхваляемому герою: строфа, две строфы, четверостишие, двустишие, стих. В соответствии с происходящей непрерывно переоценкой, генералы передвигаются из строфы в строфу, и четверостишие — характеристика отбирается у одного и передается другому. Так, из первоначального:

Хвала наш Нестор-Бенигсен!
  И вождь и муж совета!
Хвала вам: твердый Воронцов,
  Наш Коновницын смелый...

Воронцов получает две строфы (24 стиха), Бенигсен — четверостишие, Коновницын — целую строфу (12 стихов) и т. д. (см. такие же передвижки Витгенштейна, Дохтурова и т. д.). Наоборот, Чичагов, после того как он возбудил против себя общее негодование, «упустив» Наполеона под Березиной, был выкинут вообще. См. письмо Ж. к А. И. Тургеневу 9 апр. 1813 г.: «Певца ты напечатал в Петербурге. Я некоторые места поправил и жаль, если твой экземпляр напечатан по старому стилю; жаль, если в этом экземпляре остался Чичагов, которого я выкинул после той проказы, которую он с нами сыграл на переходе Березиной» (ПкТ, стр. 98). Проектируя ту или иную строфу, Ж. отсылал ее друзьям на консультацию. Друзья разносили полученное по городу, и стихи моментально заучивались наизусть. Благодаря этому для Ж. возникло неожиданное затруднение. Люди, которых он только примерялся упомянуть, оказались бы смертельно обиженными, если бы он их в конце концов не ввел в свое произведение. Так, когда Блудов, в связи с тем, что Ж. писал о Строгонове, и учитывая разные «деликатные обстоятельства», порекомендовал Ж. вообще не упоминать Строгонова, Ж. ответил резким письмом (в нач. 1815 г.): «Я, — писал он Блудову, — оставляю всё как есть, и вот почему. Надобно было выбрать одно из трех... *Выбросить все* ⟨прибавочные⟩ *строфы*. Не должно, потому что они уже написаны и всем известны. Уничтожить их, значит самым грубым образом оскорбить тех, которых имена в них поставлены, которые более или менее стоят этой чести. Если некоторые заслуживают ее менее тех, о которых умолчано, то уж наверно ни один не заслуживает оскорбления... И так всего вымарывать невозможно. *Выбросить одни стихи о Строгонове*. Об этом и думать нечего. Итак, *оставить всё, как есть*. И справедливо, и *должно*, потому что нельзя отказаться от написанного. Еще же дает мне это право и то, что об Строгонове было и прежде

в прибавленных строфах. Вот как было прежде: «Хвала наш Строгонов герой, Средь битвы ратник смелый». Потом стояло: «И Остерман, гроза врагов, К победе вождь надежный». В последней строфе стояло: «Хвала Наш Докторов! Хвала Наш Иловайский ярый!» Потом поправлено: вместо *Строгонова* поставлен *Остерман* (ибо стихи ему приличнее); вместо *Остермана Докторов*. А с стихами: «Хвала наш Строгонов! Хвала Наш Иловайский ярый!» я не умел никак ужиться; хотел выбросить всю строфу, но в ней стоял уже Пален, и стихи об нем хороши; наконец поправлено так, как есть теперь. Это все должно служить тебе ...доказательством a posteriori, что я написал стихи о Строгонове (т. е. внес его имя в Певца) еще в начале 1814 г., а не после личного с ним знакомства и скучного у него обеда... Строгонов достоин хвалы менее Дибича, Сабанеева и Ламберта и всех прочих; но об нем *было написано*; но он дрался; но он также принадлежит по храбрости и по имени к 1812 г. Оставить его имя в стихе из уважения к этой храбрости (без всяких личных видов), потом выбрасывать это имя из уважения к толкам людей... будет мерзко! Если б надобно было писать *Певца теперь*, то, вероятно, явились бы в нем имена, выбранные с большею строгостью; но он написан — пусть всё, что в нем есть, в нем и останется. Прибавленные строфы дают ему вялость — согласен! И лучше, когда бы их не было! Но они уже есть, и я не имею права уничтожить их... Все имена, стоящие в Певце, внесены в него тогда, когда я был в деревне (и имя Строгонова также); личных видов во мне вам предполагать невозможно; до других же дела нет» (Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 216).

Вскоре, после появления «Певца» в ВЕ, И. И. Дмитриев читал его имп. Марии Федоровне. 20 февр. 1813 г. Дмитриев писал Ж., что императрице понравился «Певец» и что она приказала просить автора, чтоб он доставил ей экземпляр стихов, собственной рукою его переписанный, и приглашает его в Петербург (К. Зейдлиц, II, стр. 53; см. также РА, 1871, стр. 418, и соч. И. И. Дмитриева, СПб., 1893, стр. 216). Ж. отправил И. И. Дмитриеву экземпляр «Певца», приложив к нему послание к Марии Федоровне: «Мой слабый дар царица одобряет». 8 мая имп-ца велела напечатать 300 экземпляров «Певца» на ее счет (но без послания к ней) в пользу автора и наградила Ж. перстнем (см. РА, 1871, стр. 421 и 419).

Появление «Певца» в ВЕ вызвало десятки подражаний ему в стихах и прозе, начиная от стихов И. Попова «Певец среди московских граждан 11 октября 1813 года» (ВЕ, 1813, ч. 72, стр. 5) и следующими за ними там же (стр. 301) стихами Д. Гл. б. ва «Певец в кругу россиян (В честь храбрых воинов, покрывших себя бессмертною славой в сражении при Лейпциге Октября 1813)» и кончая анонимной книгой (М. А. Бестужева-Рюмина) «Певец среди русских воинов» (1823). Характеристики генералов из «Певца» сделались крылатыми словами. Стало обычным статьи об участниках Бородинского сражения начинать с цитации стихов из «Певца».

В 1839 г. на праздновании Бородинской годовщины присутствовал и Ж. Он писал 5 сент. 1839 г. из Москвы («Письмо о Бородинской годовщине»): «Вечер этого дня провел я в лагере. Там сказали мне, что накануне в армии многие повторяли моего «Певца в стане русских воинов», песню, современную Бородинской битве; признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца...» (см. РА, 1895, кн. 2, стр. 438).

РОМАНСЫ И ПЕСНИ

Песня («Когда я был любим») — май 1806. ВЕ, 1807, янв., стр. 123, за подписью: В. Ж..., и С, V (п) с подзаголовком: «Перевод с французского». Рук. в ГПБ: (Б № 14, л. 12); рук. (№ 13, л. 20): «Песня. 1806 году в мае»; рук. (Б № 15, л. 61); и автограф (Отчет ИПБ за 1891 г., № 37). Перевод с французского; источник неизвестен. В ВЕ (1806, авг., стр. 196) еще перевод этого же стихотворения, видимо, А. Мерзлякова: «К ней (рондо)», очень сходный с «Песней», и, следовательно, оба перевода близко передают оригинал.

Тоска по милом — 18 февр. 1807. ВЕ, 1808, янв., стр. 39 под заглавием: «Романс», без подписи, и С, I—V. Рук. в ГПБ (Б № 12, л. 40) — черновик. Подписано: «18 февраля», и беловик (№ 14, л. 42): «Романс». Датируется 18 февр. 1807 г., ибо напечатано уже в январской книжке ВЕ 1808 г. Перевод стих. Шиллера «Des Mädchens Klage» (Жалоба девушки). Первые две строфы этого стихотворения поет Текла в 3-м действии трагедии Шиллера «Пикколомини» (из трилогии «Валленштейн»). Ж. не сохранил размера оригинала — пятистиший с рифмовкой aabbc ddeec — 4-стопные амфибрахии (5-й стих укороченный). Ж. пересказывает текст Шиллера, сильно его распространяя и психологизуя. Напр., первые два стиха: «Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Ufers Grün...» у Ж. переданы тремя: «На берег зыбучий Склонившись, сидит В *слезах, пригорюнясь*, девица-краса». Вторую строфу Ж. перевел в план унылой медитации. Второй стих Шиллера: «И дальше нет никаких более желаний» Ж. распространил в четыре стиха: «Любовь изменила...» и т. д. и совершенно не перевел третьего стиха: «Ты, пресвятая (пречистая), призови свое дитя обратно (к себе)». В пятом стихе он прибавил: «И друга лишилась». 3-я строфа — у Шиллера ответ богоматери; у Ж. — продолжение жалоб девушки. В последней строфе у Ж. выдвинута на первый план тема воспоминания: «Пускай же драгое в слезах оживет!» К. Зейдлиц (II, стр. 32) и за ним Н. С. Тихонравов (Соч., т. 3, ч. 1, стр. 445) объясняют эти отступления недостаточным знанием Ж. немецкого языка. Однако эти отступления говорят не о незнании языка, а о вчитывании в стихотворение Шиллера иного настроения. Это доказывается и бо́льшей близостью к оригиналу черновика перевода. «Тоска по милом» была необычайно популярна в России (см. «Москвитянин», 1853, т. 1, стр. 114). Положено на музыку в 1827 г. Верстовским (Из Шиллера. «Пикколомини», III, 7) и в 1833 г. М. И. Глинкой («Дубрава шумит»).

Песня («Мой друг, хранитель-ангел мой») — 1 апр. 1808. ВЕ, 1809, май, стр. 33, с подзаголовком: «На голос: Je t'aime tant, je t'aime tant», за подписью: «Апреля 1. N. N.», и С, I—V. В С, II датировано 1808 г., в С, V — 1809 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 54): «Песня (с французского)» и список рукой М. А. Протасовой (№ 20, л. 8), исправленный Ж., под тем же заглавием. Ж. здесь зачеркнул заглавие «Песня» и написал: «К Нине». 1 апр. — именины М. А. Протасовой, которой стихотворение и посвящено. Подзаголовок («На голос...») имеет в виду модный в начале XIX в. романс «Le délire de l'amour» французского певца и ав-

тора романсов Жан-Пьер Гара, который в 1802 г. приезжал в Петербург, после чего романс сделался популярен и в России. См. список этого романса, сделанный Рылеевым, среди бумаг Рылеева, опубликованных В. И. Масловым («Изв. Ак. Наук», 1910, № 12, стр. 921; ср. также «Библ. заметки» Маслова в «Чтениях в Ист. Общ. Нестора», Киев, 1911, кн. 22, и «Заметки о Пушкине» Н. О. Лернера в РС, 1911, т. 148, стр. 653). Стихотворный текст этого романса написал Филипп-Франсуа-Назар Фабр д'Эглантин (1750—1794) — французский политический деятель, писатель и поэт эпохи французской буржуазно-демократической революции, казненный вместе с Дантоном. Ф. д'Эглантину принадлежит ряд песен, из которых «Il pleut, il pleut, bergère» и эта сделались народными. «Песня» Ж. восходит не к романсу Гара (в котором всего три строфы), а к стихотворению Ф. д'Эглантина, состоящему, так же как и у Ж., из пяти строф (см. «Oeuvres mêllées et posthumes de Ph.-Fr.-Naz. Fabre d'Eglantine», Paris, Vendemiaire, an XI (т. е. 1802), v. 2, стр. 209). К. Зейдлиц (I, стр. 398) пишет о «Песне», что она «была переведена в Дерпте на немецкий язык и положена на музыку Вейраухом. Ж. всякий раз вслушивался, когда пели ее». Положено на музыку в 1860 г. кн. С. Голицыным.

Мальвина — 20 апр. 1808. ВЕ, 1808, май, стр. 101, с подзаголовком: «Романс», за подписью: «С франц. Ж.», и С, I—V. В С, V датировано 1807 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 43). В списке произведений 1808 г. (Б № 13, л. 5) Ж. отнес ее к 20 апр. Перевод романса: «Romance» («Depuis qu'un autre a su te plaire») из романа «Мальвина» популярной в конце XVIII и начале XIX в. французской романистки сентиментального направления, представительницы во Франции школы английского романа, Мадам Коттен (1773—1807). См. M-me Cottin, «Malvina», Paris, 1825, стр. 162.

Песня («Роза, весенний цвет») — 1808. ВЕ, 1808, дек., стр. 208, без заглавия, в сказке Ж. «Три пояса» (ср. РС, 1879, т. 26, стр. 733, и «Переводы в прозе В. Ж.», 1816, т. I, с подзаголовком «Русская сказка»). В «Трех поясах» одна из трех сестер — Людмила — поет эти стихи сыну кн. Владимира Святославу, и тот выбирает ее невестой. Назидательная сказка прославляет скромность и добродетельность Людмилы: «Все любуются Людмилой: какая привлекательная *скромность*, какой невинный взгляд, какая нежная, милая душа изображается на лице ее, приятном как душистая *маткина душка*!» (маткина душка — полевой цветок). Ал. Веселовский (стр. 117) указал, что стихотворение это следует связать с отношением Ж. к М. А. Протасовой. Н. С. Тихонравов поместил «Три пояса» в списке переводов Ж. Возможно, что и для песни Людмилы имеется иностранный оригинал.

К Нине («О Нина, о мой друг») — 1808. ВЕ, 1808, апр., стр. 272, с подзаголовком: «С английского» и за подписью: В. Ж. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 43) без 2-й строфы; рук. (№ 12, л. 15) — ранняя редакция (см. стр. 341). Сбоку карандашом: «1807 (К Нине)», видимо, рукою одного из редакторов. И. А. Бычков (Б № 12) предполагает, что эта ранняя редакция восходит к 1805 г. В окончательной редакции Ж. исключил упоминание о страданиях матери, очевидно, стремясь избежать возможностей автобиографических истолкований текста. Английский источник «К Нине» неизвестен. Делались

попытки, на том основании, что в геттингенском дневнике А. И. Тургенева сохранилась запись (1803 г.) о стих. Ж. «К Нине», датировать это стихотворение самым началом 1800 г. и приурочить его к отношениям Ж. и Андрея Тургенева с сестрами В. М. или А. М. Соковниными (см. В. Резанов, в. 2, стр. 200; В. М. Истрин — в ЖМНПр, 1911, № 4, стр. 223; Ал. Веселовский, стр. 73). Однако домыслы эти неосновательны, ибо ранняя редакция известных стихов «К Нине» восходит к 1805 г., и, следовательно, «К Нине», которое в 1803 г. перечитывал А. И. Тургенев, другое стихотворение. Нет оснований вообще связывать все стихотворения, озаглавленные «К Нине», в один цикл с одним адресатом. «К Нине» — условное заглавие для любовных стихов, заглавие, к которому Ж. прибегал неоднократно. См., напр., первоначальное заглавие «Песни» («Мой друг, хранитель-ангел мой»).

Песня («Счастлив тот, кому забавы») — 1808—1809. ВЕ, 1809, сент., стр. 92, с подзаголовком: «Подражание немецкой», за подписью: Ж., и С, I—V. Ст. 29 и 30 в ВЕ напечатаны курсивом. В С, I—II датировано 1810 г., в С, V—1813 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 52, и № 20, л. 7). Немецкий оригинал неизвестен.

Путешественник — 1809. ВЕ, 1810, февр., стр. 288, за подписью: Ж., и С, I—V. В С, I—II датировано 1809 г. Рук. в ГПБ (Б № 20, л. 3) — черновик, под заглавием: «Путник». Второй список (№ 14, л. 65) под тем же заглавием, 6-я строфа вписана Ж. сюда позднее. Третий список (Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 229, № 42, стр. 78) озаглавлен: «Пустынник». Это заглавие зачеркнуто и написано: «Путешественник». Перевод стих. Шиллера «Der Pilgrim». Основные романтические формулы о «там» и «здесь» Шиллер, видимо, почерпнул из «Вертера» Гете. Ж. сделал ряд отступлений от оригинала. Так, строфу 6-ю Шиллера он расширил в две (7-ю и 8-ю) и ослабил аллегоричность подлинника введением реальных подробностей скитания пилигрима (поиски челнока и т. п.).

Песнь араба над могилою коня — 1810. ВЕ, 1810, апр., стр. 190, за подписью: Ж., и С, I—V. В С, II отнесено к 1810 г., в С, V — к 1809 г. Дата С, II более вероятна. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 64). Второй список (Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 229, № 42, стр. 63) — рукой одной из Протасовых, с поправками Ж. Свои исправления Ж. здесь же уничтожил и восстановил старое чтение, однако не всюду. Так, оставлены исправления в ст. 10-м: «И светлый источник струя обагряла!», 15-м: «Копье упоилось струею кровавой», 16-м: «И тлеет в пустыне отверженный славы!», 47-м: «Ах! Зара как лань непорочна была». Кроме того, в стихе «Над нами повеет дыханье прохлады» Ж. зачеркнул «над нами повеет» и написал: «И там освежит нас». Перевод романса (видимо, стилизации под древнеарабские «верблюжьи баллады»: моаллакаты) «L'arabe au tombeau de son coursier» (Араб на могиле своего скакуна) Шарля Мильвуа (1782—1816), французского поэта-элегика. Пушкин писал о нем 4 ноября 1823 г.: «Millevoye ни то ни се, но хорош только в мелочах элегических». Романс Мильвуа был популярен в России в начале XIX в. и часто встречается в рукописных альбомах того времени. Его находим и в пачке списанных А. А. Воейковой французских стихотворений (рук. ПД № 22734/CLV III 6. 9). Перевод Ж. точен. Ж. по обыкновению, не сохраняет имен и названий (так, он заменил

имя «Азейда» на «Зара»). Кроме того, Ж., видимо, прибавил к переводу строфу (последнюю), самостоятельно развивающую тему и переносящую акцент на судьбу лирического героя (араба). Об этом переводе П. А. Плетнев писал Ж.: «Я убежден, что вы глубже всех проникаете в предметы, яснее всех видите их поэтическую сторону и — даже переводя — лучше самого автора сливаетесь с поэзией его представлений. Вот отчего, напр., Мильвуа так не увлекателен, как вы в *плаче араба над могилою коня*» (РА, 1870, стр. 1284). Положено на музыку А. А. Плещеевым (ч. 1) под заглавием: «Жалоба араба над мертвым конем».

Песня («О милый друг! теперь с тобою радость») — 29 сент. 1811. ВЕ, 1813, апр., стр. 196, под заглавием: «К моему другу», за подписью: В. Ж., и С, I—V. В оглавлении к С, II указано: «Подражание немецкой». Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 67) озаглавлена, как и в ВЕ, и автограф в альбоме А. А. Воейковой с датой: «1811. Сентября 29» (факсимиле в РБ, 1915, кн. 8, стр. 12). Подражание стих. «Vergiss mein nicht (An Arminia)» Христофа-Августа Тидге (1752—1841), немецкого поэта-романтика психологистического толка, последователя Канта. Романс Тидге в разных изданиях содержит 18 или 22 восьмистишия. Ж. перевел 3 строфы. — Ср. с альбомом М. А. Протасовой, где переписаны из романса также три строфы (под датой 1808, 3 septembre — см. рук. ПД). У Тидге каждая строфа начинается и заканчивается обращением к Арминии: «Vergiss mein nicht» (не позабудь меня). Ж. сохранил рефрен в последнем стихе каждой строфы, но в начале каждой строфы ввел анафорическое обращение: «О милый друг!» Особенно близко передан оригинал во 2-й строфе.

Желание — 1811. ВЕ, 1813, апр., стр. 197, за подписью: В. Ж., и С, I—V. В С, V датировано 1810 г., в РП — 1811 г. Рук. в ГПБ (Б № 12, л. 52 и № 14, л. 80). Перевод стих. Шиллера «Sehnsucht» (Томление). Ж. смягчил энергический тон душевных движений подлинника. Так, в 1-й строфе Ж. опустил восклицание: «Ach!» в последней: «du musst wagen» (ты должен дерзать). В рук. (Б № 12) ст. 2 последней строфы характеризуется более энергическим тоном: «Мчись! и будь что суждено!», точно так же последние два стиха читались: «Ах! лишь чудо путь укажет В сей прелестный край чудес!» Общую романтическую символику стихов Шиллера Ж. перевел в план, выражавший его лирико-эротическую тему. Отдельные стихи «Желания» становятся формулами лирической философии Ж. См., напр., его письмо к А. П. Киреевской (5 мая 1814 г.) о судьбе его чувства к М. А. Протасовой: «И живое горе, — писал Ж., — все-таки есть жизнь. А мертвое страшнее смерти. Теперешнее мое бытие для меня так тяжело, как самое ужасное бедствие. Для меня было бы величайшим наслаждением попасть в горячку, в чахотку или что-нибудь подобное и увидеть вдруг вблизи *прелестный край чудес*. Но этого вожатого еще нет; а самому броситься, без лодки, *в ужасный поток, который грозно мчится по скалам*, нельзя, не должно, — сиди на пустом берегу и рвись с досады глядя *на ту сторону*, где все так прекрасно или по крайней мере так тихо. Пускай всякое чувство *гниет* вместе с душою» (РС, 1883, т. 37, стр. 438). Положено на музыку Вейраухом (см. стр. 376, «Розы расцветают») и А. А. Плещеевым (ч. 1).

Цветок — 1811. С, I — V. В С, I — II отнесено к 1811 г., С, V—к 1810 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 62) и в ПД (№ 22726/CLVIII б 11). Подражание романсу Мильвуа «La fleur». Первые две строфы — свободный перевод первых двух строф романса Мильвуа, последние две — самостоятельное развитие темы. М. Лонгинов указывает, что последние два куплета переведены с французского из неизвестного автора (см. рук. ПД № 119. 1 б). Положено на музыку А. Алябьевым (№ 92), А. Рубинштейном (ор. 8, № 4) и А. Е. Варламовым.

Жалоба — 1811. ВЕ, 1813, апр., стр. 199, с подзаголовком: «Подражание немецкой», за подписью: В. Ж., и С, I — V. В С, I — II датировано 1811 г., в С, V — 1810 г., в РП — 1811 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 81). Перевод двух из трех строф стих. Шиллера «Der Jüngling am Bache» (Юноша у ручья). Ж., в отличие от оригинала, рифмует не только четные, но и нечетные стихи. Мальчика Шиллера Ж. заменил условным «Усладом». Ж. также опустил последнюю строфу оригинала, в которой выясняется недоступность для юноши любимой девушки вследствие неравенства состояния (быть может, это, сделано с целью избегнуть возможностей автобиографического истолкования стихов).

Певец — 1811. ВЕ, 1813, апр., стр. 200, за подписью: В. Ж. и С, I — V. В С, I — II отнесено к 1811 г., в С, V — к 1810 г. Правильно — 1811 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 87) и ПД (№ 9661/LVIII б1). Стихи *«Он дружбу пел...»* и *«Он пел любовь...»* имеют в виду смерть Андрея Тургенева и любовь Ж. к М. А. Протасовой. В 20-е гг. XIX в. сделалась широко известна пародия на «Певца» — эпиграмма на Ж.: «Из савана оделся он в ливрею» (см. стр. XXXV). Положено на музыку М. И. Глинкой от стиха «О красный мир, где я вотще расцвел» («Бедный певец») и Верстовским («Бедный певец»).

Пловец — 1812 (до авг.). ВЕ, 1813, апр., стр. 195, за подписью: В. Ж., и С, I — V. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 66). Положено на музыку другом Ж. — А. А. Плещеевым (ч. 1). Ж. пел 3 авг. 1812 г. этот романс на домашнем концерте в доме у Плещеевых. Незадолго перед этим он просил у Е. А. Протасовой руку ее дочери Маши и, получив на предложение отказ, обязался ничего не говорить обо всем этом Маше. Е. А. Протасова усмотрела в этом романсе намеки на чувство Ж. к ее дочери (три ангела — она и ее две дочери). Романс, по свидетельству К. Зейдлица (Ц, стр. 50), «показался ей непозволительным нарушением ее приказаний, и она... принудила Ж. на следующий же день оставить Муратово». «Пловец» тесно связан со всей фразеологией стихов Ж. 1811 г. (см. «Желание», «Жалоба» и др.), он может быть назван вариациями на темы этих Шиллеровских романсов. После появления в печати он вызвал ряд подражаний (см., напр., в СО, 1814, ч. 18, стр. 226: «Пловец», — подписано: М.).

Мечты — 1812. ВЕ, 1813, июль, стр. 81, за подписью; В. Ж., и С, I — V. В С, V датировано 1810 г., в С, II — 1812 г. В РП — 1811 г. и — в отделе РиП. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 107) и список (№ 15, л. 35). Перевод стих. Шиллера «Die Ideale». Над «Die Ideale» Ж. начал работать еще в 1806 г. В ГПБ сохранился ряд редакций этого

первого перевода (Б № 13, л. 21) под заглавием «Отрывок (подражание)», датировано: «1806 в мае». Зачеркнут весь текст; второй список (№ 14, л. 16) озаглавлен: «Отрывок»; третий список (№ 4, л. 11) опубликован П. А. Висковатовым в ВЕ, 1883, кн. 2, стр. 810, и датирован им: «около 1810 г.». Ефремов в С, VIII почему-то поместил «Отрывок» в числе стихотворений, приписываемых Ж. (см. «Отрывок», печатаемый по рук. на стр. 342). Эта ранняя редакция перевода, видимо, не удовлетворила Ж., когда он пересматривал свои стихи для печати, и поэтому он ее зачеркнул (см. Б № 13). В. И. Резанов (в. 2, стр. 351) проделал сличение «Отрывка» с «Die Ideale» и установил, что Ж. пользовался в 1806 г. ранней несокращенной редакцией стихотворения Шиллера из «Musenalmanach» на 1796 г., где «Die Ideale» впервые появилось в печати. В 1812 г. Ж. вернулся к «Die Ideale», перевел их полностью и озаглавил «Мечты». Шиллер писал об «Идеалах»: «*Идеалы* — стихотворная жалоба, где сжатость, в сущности, неуместна... Жалоба по природе своей многословна и всегда нечто вялое; ибо сила не жалуется... заключение стихотворения вяло: это верный отпечаток человеческой жизни; с этим чувством спокойной покорности хотел я расстаться с читателем». «Die Ideale» Шиллера характеризуется воспринятым через Канта платонизмом. У Ж., благодаря парафразам, философские образы Платона превращаются в туманно-романтические формулы наивно-гедонистического миросозерцания («беречь в нем ясность и покой»).

Элизиум — 1812. ВЕ, 1813, апр., стр. 201, без подписи, и С, I — V. В С, I — II отнесено к 1812 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 87). Перевод стих. «Elysium» немецкого поэта-классика и элегика Фридриха фон Матиссона (1761—1831). Содержанием стихотворения является античный миф о душе (Психее), после смерти (у Ж. — «сбросив пепельный покров», у Матиссона—«entflohn der Erdenhülle») попадающей в обитель мертвых, где она пьет из реки забвения (Леты), очищающей от страдания воспоминаний — памяти о земном (у Ж. — «усмиряющим страданье... дней минувших привиденья скрылись...», у Матиссона — воспоминания тонут, *погруженные* в Лету).

Так... светлеет факел Геспера (вечерней звезды. *Ц. В.*) *златой* — здесь *так* начинает фигуру сравнения, проходящую через всю композицию стихотворения. Освободившись от связи с земным бытием, душа поднимается в Элизиум — обитель блаженных, где как Филомела (греч. — соловей) «журчат воды по цветам». В следующей строфе момент рождения души для Элизиума сравнивается с рождением из пены Анадиомены (Афродиты). Аналогия к картине природы при появлении из пены Афродиты подчеркивает тему рождения души для Элизиума как тему эстетического преображения (так же и у Матиссона). Затем от стиха «Всюду яркий блеск Авроры» следует характеристика ландшафта, заканчивающаяся аналогией («так») к появлению Селены (Дианы — богини луны) в Карийской роще (роща в М. Азии на горе Латме, в которой, по мифологическим преданиям, Зевс, по просьбе Дианы, погрузил в вечный сон красивого юношу Эндимиона, которого Диана хотела поцеловать). Строфа Ж., рассказывающая о спящем в Карийской роще Эндимионе, отличается от заключительной строфы «Элизиума» Матиссона, в которой о Карийской роще не упоминается. Введя Карийскую рощу и переделав всю строфу, Ж. сильно прояснил замысел стихотворения.

Эту же задачу прояснения замысла решал он, заканчивая перевод стихом «Пробудись, Эндимион!» (у Матиссона просто восклицание: «Seliger Endymion»), перекликающимся с «пробуждением» Психеи для жизни в Элизиуме. Введение Карийской рощи показывает, что, работая над переводом, Ж. не ограничивался материалом Матиссона, а самостоятельно изучал содержание мифа, чтоб уяснить смысл Матиссоновской параллели с Эндимионом. Возможно, что введение цикла мифов, связанных с культом Дианы, вызывалось тем, что Диана почиталась *девственною* богиней, покровительницей *рождений*, и тем самым процесс *рождения* души для Элизиума мог быть связан с Дианой мифологическими ассоциациями. В 1827 г. в Штутгарте А. И. Тургенев прочел Матиссону «Элизиум» Ж. Матиссон «восхищался гармонией языка» («Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», Leipzig, 1872, стр. 147).

Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу — 1813. ВЕ, 1813, февр., стр. 209, с подзаголовком: «Подражание Мейстеру», и С, I — V. Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 33, и № 14, л. 110). Перевод романса «Le prisonnier et le papillon» (Узник и бабочка) гр. Ксавье де Местра (1763—1852), французского писателя, аристократа и католика, эмигрировавшего в годы революции в Россию и дослужившегося здесь до чина генерала. Ж. сделал в двух местах отступления от оригинала: заменил строфу 4 подлинника собственной и в строфе 9 (предпоследней) ввел «провидение» и переделал «слезы детства» в «моления сирот». Положено на музыку А. А. Плещеевым (ч. 1).

Песня матери над колыбелью сына — 1-я полов. 1813, ВЕ, 1813, июнь, стр. 185, за подписью: В.Ж. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 105) и в ПД (из шкафа № 7). Перевод романса «Plaints d'une femme abandonnée par son amant» Арно Беркена (1749—1791), французского писателя сентиментально-дидактического направления, автора романсов и идиллий (его называли французским Гесснером). Беркен, кроме того, известен как крупный деятель детской литературы (автор «L'ami des enfants» и «L'ami de l'adolescence» и т. п.). От его имени во Франции образована нарицательная кличка для произведений слащаво-сентиментального характера: *Беркинада*. Ж. познакомился с сочинениями Беркена еще в пансионе и не только по Новиковскому «Детскому чтению», но и благодаря тому что в пансионе разыгрывались воспитанниками отдельные пьесы Беркена (см. де Пуле — «Русский Вестник», 1875, май, стр. 116). «Песня матери» была напечатана Беркеном в «Almanach des Muses» за 1776 г. (Paris, 1777, стр. 139) с приложением нот, и одно время весь Париж распевал элегический рефрен романса. Ж. перевел этот романс, имея в руках не «Альманах Муз», а т. XIV Собр. соч. Беркена, где к заглавию прибавлено: «У колыбели ребенка» (см. «Oeuvres complètes de Berquin», t. XIV, Idylles, Romances et autres poèsies de Berquin», à Paris, 1803, стр. 155). Тема романса Беркена заинтересовала Ж., возможно, вследствие того, что она имела для него автобиографический интерес. Подражанием романсу Ж. явилось: «Под вечер, осенью ненастной» Пушкина (1814).

Голос с того света — 1815. FWДН, 1818, № 3, март, стр. 30, под заглавием: «Юлия. Голос с того света (Музыка: «Wo ich sei und

wo mich hingewendet»)», и С, II — V. В С, V и РП датировано 1815 г. Перевод стих. Шиллера «Thekla. Eine Geisterstimme», вложенного Шиллером в уста духа Теклы, утешающего оставшегося на земле Макса (Текла — героиня «Валленштейна»). Я. К. Грот писал П. А. Плетневу (в 1846 г.) «Ж. взял у Шиллера только основную идею и пересоздал пьесу, которая на русском кажется мне несравненно выше. У Шиллера даже размер не тот — длинные хореи; я нашел тут только *тень* нашей любимой, чудной строфы» (Переписка, т. 1, стр. 339, и т. 2, стр. 819). Ж. передал 5-стопный хорей оригинала 5-стопным ямбом. Строфу 2 он оставил непереведенной, последние три строфы сжал в две и самостоятельно разработал тему, подчеркнув в стихах мистическое настроение. Положено на музыку М. И. Глинкой (см. РС, 1870, т. 1, стр. 487) и Вейраухом (см. стр. 376, «Розы расцветают»).

Песня («Розы расцветают») — 1815. «Славянин», СПб., 1827, ч. 2, стр. 76, под заглавием: «Розы», и С, IV — V. В С, V отнесено к 1815 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 81) в тетр. 1831 г. Стихи «Всё с весной прекрасной Снова оживет» зачеркнуты и взамен написано сверху:

Всё с зимой ненастной
Грустное пройдет.

(См. также автограф из архива А. А. Воейковой, опубликованный Н. В. Соловьевым в РБ, 1915, кн. 5, стр. 66). И. А. Бычков полагает, что стихотворение отнесено Ж. к 1815 г. по ошибке и что оно должно датироваться 1831 г. (см. Б № 30). На этом основании А. С. Архангельский и П. Ефремов отнесли «Песню» к 1831 г. (не зная, что она уже в 1827 г. была напечатана). Сохранилось в письме М. А. Протасовой к Ж. от 9 янв. 1821 г. свидетельство, что «Песня» уже тогда была написана: «Я пишу к тебе, — писала М. А. Протасова, — наверху, внизу сидят мамаша с Сашей и к ним пришел Вейраух, который сейчас запел: «Розы расцветают» (УС, стр. 249). Помещена в тетр. Вейрауха (романсы на слова стихов Ж.), которую Ж. подарил М. А. Протасовой-Мойер 19 окт. 1822 г. (см. «В. А. Жуковский. Чествование его памяти в СПб. 29 и 30 янв. 1883 г.», СПб., 1883, прил. 4). Перевод стих. «Wenn die Rosen blühn» немецкого поэта-националиста, антибонапартиста и романтика Фридриха-Готтлиба Ветцеля (1779—1819), сочинения которого Ж. были хорошо известны. Положено на музыку Вейраухом (см. К. Зейдлиц, II, стр. 149), Ц. Кюи (смеш. хор, ор. 28, № 1) и Слоновым (ор. 17, № 5, женск. хор, ф.-п.).

Песня («К востоку, всё к востоку») — 1815. С, IV — V. В С, V отнесено к 1815 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 80) — черновик в тетр. 1831 г. Датируется на тех же основаниях, что и предыдущая «Песня», 1815 г. Перевод стих. Ф.-Г. Ветцеля «Nach Osten». По свидетельству К. Зейдлица (II, стр. 81), музыку к «Песне» ошибочно приписывают (вместо Вейрауха) Ф. Шуберту. Положено на музыку также А. Даргомыжским («К востоку, песня на три голоса по романсу Вейрауха. Трио»).

Песня («Где фиалка, мой цветок?») — 1815. «Славянин», СПб., 1827, ч. 3, стр. 350, под заглавием: «Фиалка», и С, V. В С, V отнесено к 1815 г. Перевод стих. «Nach einem alten Liede» (Вслед за старой песней) Иоганна-Георга Якоби (1740—1814), поэта-сентимен-

тального направления, во втором периоде своего творчества эпигона Гете. Ж. сократил стихотворение на строфу (5-ю в оригинале) и оставил непереведенными стихи о пастухе и пастушке. Соответственно этому изменена и заключительная (6-я у Якоби) строфа, суммирующая все предыдущие. Кроме уничтожения пасторального сюжета о пастушка́х, Ж. психологизовал текст: см. введенную им психологизацию природы (эхо — отзыв).

Песня («Птичкой певицею») — 1815. «Славянин», СПб., 1827, ч. 3, стр. 229, под заглавием: «Мои желания», и С, IV—V. В С, V датировано 1815 г. Перевод немецкой песни «Wir'r ich ein Vögelein plög ich zu dir» (см. рук. ПД № 16.121/сб. 10). Положено на музыку Вейраухом (см. стр. 376, «Розы расцветают»).

Воспоминание («Прошли, прошли вы, дни очарованья!») — начало 1816. FWДН, 1818, № 2, февр., стр. 22, и С, V (п). Перевод французского романса де Монкрифа (см. примеч. к «Алине и Альсиму») «Souvenance» («Ils ne sont plus ces jours que sa constance»). Этот романс Монкрифа находим и в альбоме М. А. Протасовой-Мойер (рук. ПД). Романс этот выражает настроение Ж. начала 1816 г., настроение, связанное с предстоящим замужеством М. А. Протасовой (см. также «Кто слез на хлеб свой не ронял»). Положено на музыку К. Агреневым-Славянским («8 романсов», № 6).

Весеннее чувство — 1816 (после 28 марта). «Соревн. Просвещ. и Благотв.», СПб., 1821, ч. 13, № 1, стр. 88, за подписью: В. Ж., и С, III—V. В С, V отнесено к 1815 г. Рук. С-Б (стр. 1086) и рук. в ГПБ (Б № 26, л. 24)—черновик и (л. 25) беловик. В черновике (л. 26) зачеркнут набросок еще одной строфы (см. стр. 343). В рук. ГПБ помещено после «Стихов, петых на празднестве у англ. посла лорда Каткарта» (28 марта 1816 г.). К. Зейдлиц (II, стр. 105) также относит к 1816 г. Положено на музыку А. Рубинштейном (ор. 8, № 2).

Песня («Кольцо души-девицы») — 1816. FWДН, 1818, № 1, генв., стр. 20, и С, V (п). Перевод немецкой песни «Lied» («Der Ring ist mir entfallen»). В отличие от оригинала Ж. рифмует и нечетные стихи. В переводе, кроме того, опущено имя возлюбленной (Анка) и строфа 6 оригинала передана двумя строфами от стиха «Вчера ей жалко стало» и до «Сказать, но не могла!» К. Зейдлиц указывает, что «Песня» «вызвана письмами к Ж. Марии Андреевны, написанными в начале 1816 г.». В письмах-дневниках Ж., предназначенных для М. А. Протасовой, находим запись от 21 июня 1814 г., перекликающуюся с этим стихотворением (см. «Письма и дневники В. А. Ж. 1814 и 1815 гг., I—V, под ред. П. К. Симони», СПб., 1907, стр. 6). Положено на музыку А. Алябьевым (№ 86).

Сон — 1816. «Полярная Звезда на 1823 г.», СПб., стр. 287, и С, III—V. В С, V и РП датировано 1816 г. Беловой автограф в Лит. музее в Москве (1090/1. 13а). Перевод стих. «Sängers Vorüberziehn» (буквально: мимопрохождение певца) немецкого поэта-романтика, главы так называемой «швабской школы» в поэзии, демократа, ученого и крупного общественного деятеля Иоганна-Людвига Уланда (1787—1862). «Сон» — первый перевод Ж. из Уланда, сделанный вскоре после выхода первого сборника стихов

Уланда (1815). У Уланда стихотворение написано 3-стопным ямбом и куплетной строфой с чередованием женских и мужских рифм. Благодаря изменению размера перевод утратил мелодическую легкость оригинала. Положено на музыку А. Рубинштейном (ор. 8, № 11).

Песня бедняка — 1816. «Соревн. Просвещ. и Благотв.», СПб., 1821, ч. 10, № 6, стр. 301, за подписью: В. Ж., и С, III—V. В РП в отделе РиП и датировано 1816 г. Рук. С-Б (стр. 1134). Перевод стих. Уланда «Lied eines Armen». В переводе Ж. заменил немецкие религиозные понятия русскими. Так, взамен «Abendglocke» («вечернего колокольного звона» — имеется в виду «Ave Maria») у Ж. «благовест». Положено на музыку Алябьевым.

Счастие во сне — 1816. «Полярная Звезда на 1823 г.», СПб., стр. 266, и С, III—V. В РП в отделе РиП и датировано 1816 г. Беловик в Лит. музее в Москве (1090/1.13а). Перевод стих. Уланда «Der Traum» (Сон). «Der Traum» написан дольником, смешанным с отдельными стихами 3-стопного ямба, у Ж. только 3-стопный ямб.

Утешение в слезах — дек. 1817 или нач. янв. 1818. FWДН, 1818, № 1, генв., стр. 12, и С, III—V. В РП в отделе РиП и датировано 1818 г. Рук. в ПД (№ 26305 III/CLXXXVIII 6 16). Перевод стих. Гете «Trost in Tränen». К. Зейдлиц (II, стр. 111) указывает, что «удрученный выходом М. А. Протасовой в замужество... прощаясь с дерптскими друзьями, Ж. перевел две пьесы Гете: *Утешение в слезах* и *К месяцу*». М. А. Протасова в 1817 г. вышла замуж за И. Ф. Мойера. В 1817 г. Ж. был в Дерпте и уехал в Петербург в начале янв. 1818 г. Положено на музыку Вейраухом (см. стр. 376, «Розы расцветают»), И. Игнатьевым и А. Даргомыжским.

К месяцу — дек. 1817 или нач. янв. 1818. FWДН, 1818, № 2, февр., стр. 28, и С, III—V. В FWДН есть и строфа 9, откинутая при перепечатках в С, III—V и др. (см. стр. 343). В С, V датировано 1818 г. Перевод стих. Гете «An den Mond» (см. примеч. к «Утешению в слезах»). Положено на музыку от стиха «Счастлив, кто от хлада лет» А. Даргомыжским (Дуэт).

Мина — янв. 1818. FWДН, 1818, № 1, генв., стр. 28, и С, V (п). Перевод знаменитого и многократно переводившегося в России романса-«баллады» Гете «Mignon» («Kennst du das Land») (Миньона — Знаешь ли ты край), который Миньона поет в «Вильгельме Мейстере». При переводе Ж. заменил вопросительную интонацию оригинала (риторические вопросы) восклицательно-утвердительной, изменил рефрен в последнем стихе каждой строфы и сделал ряд отступлений от текста подлинника.

Новая любовь — новая жизнь — янв. или февр. 1818. FWДН, 1818, № 2, февр., стр. 18, и С, V (п). Свободный перевод стих. Гете «Neue Liebe — neues Leben».

Верность до гроба — февр. — март 1818. FWДН, 1818, № 3, март, стр. 26, и С, III—V. В РП в отделе РиП. Рук. в ПД

(№ 10089/LX 6 22). Перевод стих. «Trauer Tod» Теодора Кернера (1791—1813), немецкого поэта, представителя немецкой патриотической поэзии эпохи войн с Наполеоном.

Кернер использовал форму популярной у романтиков «демократической песни» для выражения христианского и монархического миросозерцания. Ж. сделал ряд отступлений от оригинала. У Кернера рыцарь не имеет имени, последний стих каждой строфы: «отечеству и любимой», 2-й куплет произнесен не от собственного лица, а от лица рыцаря.

Стихотворение Кернера состоит из трех строф, четвертая строфа прибавлена Ж. Эта строфа — перевод стихов поклонника Кернера Карла Шаля (1780—1833). Гибель Кернера в одной из кавалерийских стычек с французами подсказала Шалю сюжет для строфы, которую он прибавил к «Trauer Tod» и издал вместе с первыми тремя строфами отдельным оттиском.

Горная дорога — март или нач. апр. 1818. FWДН, 1818, № 4, апр., стр. 2, под заглавием: «Горная песня», и С, III—V, под заглавием «Горная дорога» (первое заглавие — точный перевод Шиллеровского). В С, V датировано 1818 г. Перевод стих. Шиллера «Bergliеd». Перевод сделан размером подлинника (подлинник написан амфибрахием, по временам синкопированным) и отличается от него некоторым ослаблением конкретности описаний. Так, у Ж. вместо Шиллеровского «плюет вечно вверх» («Speit ewig hinauf und zertrümmert sie nie») — «сразить его рвется». Когда Гете прочел «Bergliеd», он сразу угадал, что Шиллер изобразил подъем на перевал Сен-Готард.

В ст. 1-м описана тропа из Амштега через Вассен и Гешенен до знаменитого Чортова моста (ст. 7—9: «несмертной поставлен рукою»), под которым бежит река Рейсс (стр. 11—12). За мостом «Урнская дыра» («ворота»), затем — вид на долину Ури (стр. 15—16). Здесь видны «четыре потока»: Рейсс, Рона, Тичино и Рейн. «Два утеса» — скалы Фиэудо и Проза. Ст. «Царица сидит высоко и светло», по всей вероятности, имеет в виду гигантский Мутенгорн. Однако, благодаря тому, что последняя строфа как бы осмысляет всё стихотворение, образ царицы воспринимается в контексте не как указание на определенную часть пейзажа, но как романтический образ «высоко и светло сидящей на вечно незыблемом троне» прекрасной девы, как «ewig-weibliche» романтико-эротической лирики.

Мечта — 1818. С, IV, в отделе «Смесь», и С, V. В С, V датировано 1818 г. В РП в отделе РиП. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 107).

Песня («Минувших дней очарованье») — между июлем и ноябрем 1818. СО, 1821, ч. 74, № 50, стр. 179, под заглавием: «Прежнее время», за подписью: Ж., и С, III—V, под заглавием: «Песня». В С, V датировано 1816 г. Рук. в ПД (№ 9812/LIX 6 40) под заглавием: «Прежнее время» и там же рук. (№ 9678/LVIII 6 18 и № 26305.III/CLXXXVIII 6 16). Рук. С-Б (стр. 1126), без заглавия.

Посылая А. П. Елагиной «Песню» в ноябре 1818 г., Ж. писал: «Она написана для Вадковской, которая и лицом и голосом (когда поет) похожа на Анну Ивановну. Натурально, что с этим лицом и с этим голосом тесно связано прошлое. Но не думайте, чтобы настоящее

было дурно: я им доволен... и воспоминания прошлого не иное что, как сон, который следа не оставляет, который действует только по тех пор, пока *длится* — и этот сон редок; настоящее хорошо. После такого предисловия читайте смело (следуют стихи)... Этот край — Черны!» *Анна Ивановна*, упоминаемая Ж., — А. И. Плещеева, которая в начале 10-х гг. горячо поддерживала надежды Ж. на брак с М. А. Протасовой и которая умерла в 1817 г. (см. стих. «Там есть *один* жилец безгласный»). *Чернь* — имение А. А. Плещеева, друга Ж. и адресата ряда шуточных стихотворений Ж. из цикла так называемых долбинских. *Прошлое* — это 1814 г., когда Ж. жил по соседству от Плещеевых в Долбине и часто наезжал в Чернь. Ал. Веселовский (стр. VI) неправильно предположил, что «Минувших дней очарованье» посвящено племяннице А. И. Плещеевой — С. Ф. Вадковской. Стихи посвящены не С. Ф. Вадковской, а ее сестре Ек. Фед. (в замужестве Кривцовой). Б. Н. Чичерин в статье «Из моих воспоминаний» (РА, 1890, кн. 1, стр. 520) пишет: «Екатерина Федоровна грустно повторяла стихи из посвященного ей в молодости стихотворения Ж.: «Там есть один жилец безгласный, Свидетель милой старины!» Умерла Ек. Фед. в 1861 г.; она приходилась А. И. Плещеевой родной племянницей,— этой родственной близостью объясняется, что «когда поет — она похожа на Анну Ивановну». М. И. Городецкий в статье «Русские симпатии в польской поэзии» (ИВ, 1891, т. 44, стр. 183) опубликовал по копии, написанной рукой Е. Ф. Вадковской-Кривцовой, стихи Ж. к ней, которыми Ж. сопроводил посылку ей «Минувших дней очарованье» (стихи эти нигде не перепечатывались). Привожу эти стихи:

ЕКАТЕРИНЕ ФЕДОРОВНЕ ВАДКОВСКОЙ

О той, которой боле нет,
И с ней о счастии прекрасных ею лет
При вас воскреснуло о ней воспоминанье;
Мне драгоценное, но скорбное мечтанье,
Я здесь в моих стихах для вас изобразил.
Что вы произвели, то вам я посвятил, —
Вы были для души, согретой умиленьем,
Воспоминанием и милым вдохновеньем.

1821 г. 24 ноября. *Жуковский*

Положено на музыку Ю. Капри («Минувших лет очарованье») и П. Булаховым («Минувших лет очарованье»).

Утешение — 1818. «Полярная Звезда на 1823 г.», СПб., стр. 312, и С, III—V. В С, V и РП отнесено к 1818 г. Рук. С-Б (стр. 1086) под заглавием «Монахиня». Перевод стих. Уланда «Die Nonne» (монахиня). С. Шестаков (стр. 7) полагает, что «условия цензуры заставили Ж. изменить заглавие подлинника... придать неопределенность месту действия и общественному положению героини». Ж. сделал и ряд других отступлений: передал 3-стопный ямб Уланда 4-стопным хореем, перенес действие из монастырского сада на кладбище, заменил «монахиню» «девой в черной власянице» (быть может, просто кающаяся), руссифицировал обстановку. В двух последних стихах Ж. психологизовал момент смерти (у Уланда «она взирала ввысь, пока веки ее не были сомкнуты смертью; покрывало ее скатилось»). У Ж.: «*И душою* перешла *неприметно* в мир свиданья». Положено на музыку М. И. Глинкой (со 2-й строфы).

К Эмме («Ты вдали, ты скрыто мглою») — 12 июля 1819. «Славянин», СПб., 1828, ч. 8, № 40, стр. 31, за подписью: Ж. Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 13) без заглавия. Датировано: «12 июля 1819». В рук. ст. 4 первоначально написан: «Ты сияешь с вышины!», затем «сияешь» зачеркнуто и надписано: «мелькаешь». В печатные издания это исправление не вошло. Перевод стих. Шиллера «An Emma». Строфа 3 перевода сильно отступает от подлинника.

К мимопролетевшему знакомому гению — 7 авг. 1819. СО, 1820, ч. 65, № 42, стр. 86, за подписью: Ж., и С, IV — V. В С, V датировано 1818 г. В РП в отделе РиП. Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 10, и № 29, л. 21) и в ПД (без шифра) — беловик. В рук. № 29 датировано: «7 августа ⟨1819⟩». Рук. С-Б (стр. 1118) под заглавием; «Голос знакомого мимо пролетевшего гения». Свободная переработка стих. «Lied» (Песня) Фридриха-Вильгельма-Иосифа Шеллинга. Это стихотворение было известно Ж. по «Musenalmanach» на 1802 г., издаваемому А.-В. Шлегелем и Л. Тиком. Ж. не сохранил ни строфики оригинала, ни количества стихов. Самый сюжет Шеллинга он переработал в плане медитативной лирики. И, однако, связь с оригиналом устанавливается с точностью (см. Ив. Галюн, стр. 17). Этот почерпнутый у Шеллинга символ «гения вдохновения» становится в 1819 г. любимым поэтическим образом Ж. Н. В. Соловьев относит стихотворение к А. А. Воейковой (см. РБ, 1915, кн. 3, стр. 21). Однако стихи относятся к гр. С. А. Самойловой (см. примеч. к «Жизни» и «Гр. С. А. Самойловой»). Когда в 1824 г. вышло С, III и оказалось, что стихотворение в него не включено, Пушкин упрекал Ж.: «Зачем слушаешься ты маркиза Блудова. «Надпись к Гете», «Ах, если б мой милый», «Гений» — все это прелесть, а где они?» Положено на музыку А. А. Плещеевым (ч. 1).

Жизнь — 10 авг. 1819. СО, 1821, ч. 67, № 6, стр. 271, с подзаголовком: «Видение во сне», за подписью: Ж., и С, III — V. В С, V отнесено к 1818 г. В РП в отделе РиП. Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 90, и № 29, л. 22) и в ПД (без шифра) — беловик. Рук. № 29 датирована: «10 августа ⟨1819⟩». Рук. С-Б (стр. 1121) под заглавием «Жизнь и ее ангел». Ив. Галюн отметил связь «Жизни» с циклом стихотворений Ж., в котором он разрабатывает мотивы стих. Шеллинга «Lied». Стихи, видимо, относятся к гр. С. А. Самойловой (см. примеч. к «Гр. С. А. Самойловой»). См. запись в ДЖ от 15 авг. 1819 г. — «10 августа» (ДЖ, стр. 65), из которой явствует, что с 10-м авг. (дата написания «Жизни») у Ж. связаны были почерпнутые из неизвестного нам объяснения с гр. С. А. Самойловой надежды на изменение ее отношения к нему (ср. ДЖ, стр. 71).

Песня («Отымает наши радости») — 1820. СО, 1822, ч. 77, № 15, стр. 35, за подписью: Ж., и С, III — V. В С, V датировано 1822 г. Рук. С-Б (стр. 1142) и рук. в ГПБ (Б № 29, л. 43) среди стихов 1820 г. и в Лит. музее в Москве — беловик (№ 1091/I. 13а). Ал. Веселовский, вслед за Белинским, относит «Песню» к 1820 г. Это косвенно подтверждает и К. Зейдлиц (II, стр. 122): «Эта песня, очевидно, была внушена поэту его главной работой

того времени <«Орлеанской девой»>». Монолог Орлеанской девы. («Ах, почто за меч воинственный») «представлял тот же самый размер стихов». Над «Орлеанской девой» Ж. работал в 1820 г. Однако в той же книге К. Зейдлица (II, стр. 128) цитировано одно из последних писем М. А. Протасовой, где она писала о «Песне»: «Зачем только он <Ж.> написал свое последнее стихотворение. Стихи просто дурны. Чем больше я перечитываю их, тем становлюсь печальнее» (Протасова умерла в 1823 г., но стихи могли быть написаны не позже 1822 г., когда были напечатаны в СО). Датировку «Песни» 1822 г. поддерживает и Е. В. Петухов, связывая «Песню» с обстоятельствами жизни А. А. Воейковой: «А. А. Воейкова, удрученная горестями несчастной семейной жизни, собиралась с детьми переселиться в Дерпт к сестре, и по поводу этой предстоящей разлуки Ж. написал свою *Песню*» (Сборн. 2-го отд. Ак. Наук, 1897, т. 65, стр. 34).

Свободный перевод романса Байрона «Stanzas for music». Впервые Ж. услыхал о Байроне еще в 1814 г. от С. С. Уварова (см. письмо Уварова к Ж. от 20 дек. 1814 г. — РА, 1871, стр. 163). Однако знакомство с произведениями Байрона и увлечение Байроном относятся к 1819 г. В февр. 1819 г. Ж. читал ряд вещей Байрона с поэтом И. И. Козловым («Чайльд-Гарольда», «Гяура»), в июле Козлов читал Ж. свой перевод «Абидосской невесты». В авг. Ж. прислал Козлову «Мазепу». На рождество читал ему своего «Узника» (см. примеч.). 26 дек. принес ему «Манфреда» (см. СиН, кн. 11, стр. 40). 5 авг. 1819 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому, что «Блудов прислал Ж. «Мазепу», 13 авг. — что Ж. «хочет выкрасть лучшее из «Манфреда» (ОА, I, стр. 281 и 288). 11 окт. 1819 г. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я все это время купаюсь в пучине поэзии: читаю и перечитываю лорда Байрона... Как Ж. не черпает тут жизни, коей стало бы на целое поколение поэтов!» (ОА, I, стр. 326). 22 окт. А. И. Тургенев писал ему в ответ: «Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали. Ж. им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона» (ОА, I, стр. 334). Таким образом, 1819 и особенно 1820 г. — время, в которое Ж. перешел от увлечения Байроном к опытам перенесения его поэзии на русскую почву.

Посылая «Stanzas for music» Т. Муру 2 марта 1815 г., Байрон назвал это стихотворение «грустной песней» (sad song). Годом позже, 8 марта 1816 г., он писал об этих стихах, что они «наиболее *правдивые*, хотя и наиболее меланхолические из всех когда-либо мною написанных» (as being the *truest*, though the most melancholy, I ever wrote». См. «The works of Lord Byron. Letters and journals», v. II, London, 1899, стр. 181 и 274). Ж. не сохранил размера подлинника (7-стопного ямба, в отдельных стихах синкопированного и имеющего парную рифмовку). Куплетную строфу Байрона Ж. передал восьмистишною. Кроме того, он перевел энергический пессимизм Байрона в план элегической ламентации, подчеркнув этот характер стиха дактилической рифмовкой. Сама тема Байрона оказалась близка лирической философии Ж. См., напр., письмо Ж. 1814 г.: «Не умею тебе описать своего положения. Это не горе — нет: и горе есть жизнь, а какая-то мертвая сухость. Всё кажется пустым, а жизнь всего пустее. Такое состояние хуже смерти» (ПкТ, стр. 119). И найдя в «Stanzas for music» один из своих любимых образов: *челн*, влекомый волею рока (см. «Пловец», «Путешественник» и др.), и совпадение со своим мироощущением

«жизненного одеревянения», Ж. преобразовал байроновский текст сообразно собственному мироощущению.

Лалла Рук — между 27 и 31 янв. 1821. «Моск. Телеграф», 1827, ч. 14, № 5, стр. 3, без подписи. Под стихами дата: «1821». Здесь ст. 55 и 56 читаются иначе (см. стр. 343), и стихотворение имеет 9-ю строфу (см. стр. 343). В С, IV — V без строфы 9-й. В РП в отделе РиП. Сохранился ряд автографов: в РБ, 1916, кн. 6, стр. 77, опубликован автограф из альбома кн. Е. Н. Мещерской (дочери Н. М. Карамзина), здесь есть и строфа 9, но ст. 45 — 52 пропущены; в том же номере РБ (стр. 69) опубликован еще один автограф из альбома другой дочери Карамзина — С. Н. Начинается рук. со ст. 41, ст. 45—52 пропущены. Кончается она строфою 8. (Ср. рук. ПД № 22729/CLVIII 6 4а, л. 27.) Еще автограф в ПД в письме А. И. Тургеневу от 6 февр. 1821 г., текст совпадает с журнальным. «Лалла Рук» посвящена в кн. Александре Федоровне (принцессе Шарлотте — дочери прусского короля). В 1821 г. в. кн. Николай Павлович (впоследствии Николай I) и его жена Александра Федоровна принимали участие в придворных празднествах в Берлине. 27 янв. были устроены во дворце живые картины по сюжету поэмы «Lallah Rookh» Томаса Мура (1779 — 1852), английского (ирландского) поэта-романтика, вига и друга Байрона. Роль Лаллы Рук исполняла Александра Федоровна. Ж. писал А. И. Тургеневу (рук. ПД № 27810/CXCIX 67): «Вот тебе мои стихи, но только для тебя и для Саши (А. А. Воейковой. *Ц. В.*)... Тебе не нужно ⟨объяснять⟩ мне того чувства, которое произвело эти стихи. Оно не любовь, но родное ей чувство, высокое и чистое... но дело об стихах; они требуют объяснения. Здесь был несравненный праздник, который оставил во мне глубокое впечатление. Ты знаешь Мурову поэму Лалла Рук... Берлинский праздник был не иное что, как праздник, который молодая Лалла Рук дала будто в Кашемирской долине своему супругу и отцу Аурингзебу... прелестная по всему давала очарование великая княгиня; ее пронесли на паланкине с процессией. — Она точно провеяла над долиной, как гений, как сон... Я написал свои стихи гораздо после; и не отдавал их, может быть и не отдам: они для меня как молитва... Руссо говорит, il n'y a de beau que ce qui n'est pas; это не значит *только то, что не существует*, прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, является нам единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказаться, оживить и обновить душу — но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем... оно посещает нас в лучшие минуты жизни — величественное зрелище природы, еще более величественное зрелище души человеческой поэзия, счастие, но еще более несчастия дают нам сии высокие ощущения прекрасного; и весьма понятно, почему почти всегда соединяется с ними грусть — но грусть, не приводящая в уныние, а животворная, сладкая, какое-то смутное стремление. Это происходит от его скоротечности, от его невыразимости, от его необъятности. Прекрасно только то, чего нет... Эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно только мимо пролетающий благовеститель лучшего, оно есть восхитительная тоска по отчизне! Оно действует на нашу душу *не настоящим*, а темным, в одно мгновение соединенным *воспоминанием* всего прекрасного в прошедшем и тайным *ожиданием* чего-то в будущем:

А когда нас покидает,
В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

Это верное сравнение! Эта прощальная и навсегда остающаяся звезда в нашем небе есть знак того, что прекрасное было в нашей жизни, и вместе того, что оно не к нашей жизни принадлежит! Звезда на темном небе — она не сойдет на землю, но утешительно сияет нам из дали; и некоторым образом сближает нас с тем небом, с которого неподвижно нам светит! Жизнь наша есть ночь под звездным небом — наша душа в минуты вдохновения открывает новые звезды; эти звезды не дают и не должны давать нам полного света, но, украшая наше небо, знакомя с ним, служат в то же время и путеводителями по земле. Voilà la philosophie de Lallah Rookh». Затем следуют стихи «Лалла Рук» и «Поэзия в виде Лалла Рук» (см.). Приведенное письмо показывает нам психологические основания стих. «Лалла Рук» и те принципы романтического восприятия Ж. действительности, которые позволяли ему преобразовывать явления придворной жизни во «вдохновительный магизм», в некую поэтическую религию. Так, предложение написать стихи к случаю, сделанное ряду придворных поэтов (Ламот-Фуке, Ж. и др.), оказывается поводом к созданию чисто романтического произведения. Письмо Ж. раскрывает нам также и поэтическую философию вдохновения, проходящую через ряд стихотворений Ж. этой поры и восходящую к философии искусства немецких романтиков. В частности, строфа «Лалла Рук»: «Я смотрел, а призрак мимо...» непосредственно восходит к стихам Ф.-В.-И. Шеллинга из его стих. «Lied» (см. Ив. Галюн, стр. 17). В следующем письме от 8 февр. (рук. ПД № 27810/CXCIX 6 7) Ж. договаривает то, чего он не досказал в только что цитированном: «Лалла Рук, — пишет он, — синоним Саши. В первый раз, когда я был у Гуфланда, был между нами разговор о религии. Он набожен в сердце!.. Он мне сказал: «всё, что религия представляет святого, *троицей* заключено для меня в одном немецком L: Leben, Liebe, Licht! Тут весь бог и весь человек в отношении к богу». Эти три L нашлись сами собой и в имени Lallah Rookh». О Ж. в Берлине А. И. Тургенев писал 8 дек. 1820 г. П. А. Вяземскому: «Ж. живет как в Петербурге, видит один прусский двор, свой театр и познакомился и сдружился с стариком Гуфеландом, которого описывает прелестно, сравнивая беседу с ним с Карамзинскою, где вся душа слышна. Он везде отыщет немца или душу по себе». П. А. Вяземский, возлагавший надежды на то, что поездка за границу расширит политический кругозор Ж., и предостерегавший его от возможности «опочить на Потсдамских розах», писал А. И. Тургеневу в ответ 13 дек. 1820 г.: «Я боюсь за Ж.: таким образом и путешествие не проветрит его. Он перенесет свою Аркадию во дворец и возвратится с тем же беспечием, с тем же, смею сказать, отсутствием мужества, достойного его таланта... Я вижу его отсюда: жмет руку немытую Гуфеланда, сравнивает ее с запачканною рукою старца Эверса и говорит... «О, сладкий жар во грудь мою проник»... Ж. тоже Дон Кишот в своем роде. Он помешался на душенное и говорит с душами в Аничковском Дворце, где души никогда и не водились. Ему нужно непременно бы иметь при себе Санхо, например, меня, который его ворочал бы иногда на землю

и носом притыкал его к житейскому» (см. ОА, II, стр. 118, 121). Увлечение Ж. поэмой Мура «Лалла Рук» сказалось и в том, что он переложил 2-ю песню Алириса «Рай и пери» («Пери и ангел» — 1821 г.), дважды возвращаясь к этому сюжету. Это его увлечение вызвало отрицательный отзыв Пушкина о Муре: «Ж. меня бесит — что ему понравилось в этом Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся *Лалла Рук* не стоит девяти строчек Тристрама Шанди; пора ему иметь собственное воображение и крепостные вымыслы» (Письмо от 2 янв. 1822 г. П. А. Вяземскому). Однако и сам Пушкин писал впоследствии об Александре Федоровне, исходя из образа «Лалла Рук» Ж.: «Подобно лилии крылатой Колеблясь входит Лалла Рук». Стих Пушкина «Как гений чистой красоты» из посвящения А. П. Керн также восходит к стиху Ж. из «Лалла Рук».

Явление поэзии в виде Лалла Рук — между 27 янв. и 1 февр. 1821. «Памятник отечественных муз на 1827 г.», СПб., 1827, стр. 4, под заглавием: «Поэзия в виде Лалла Рук», и С, IV—V. В РП в отделе РиП. Рук. в ПД (№ 27810/CXCIX 6 7) в письме к А. И. Тургеневу. Ж. писал ему: «Эти стихи сочинены здесь одною молодою девушкою; я их перевел». Стихи этой, очевидно близкой ко двору, девушки-поэтессы в бумагах Ж. не сохранились. Оригинал, с которого перевел Ж., неизвестен (см. примеч. к «Лалла Рук»).

Победитель — 1822. «Полярная Звезда на 1823 г.», СПб., стр. 376, и С, III — V. В РП в отделе РиП и датировано 1822 г. Перевод стих. Уланда «Der Sieger». Ж. изменил ритмику стихотворения (у Уланда 4-стопный хорей, белые стихи с чередованием мужских и женских окончаний). Положено на музыку М. И. Глинкой и Н. Н. Черепниным (ор. 27, № 1).

Ночь — 1823. «Северные Цветы на 1825 г.», СПб., 1824, стр. 286, и С, IV — V. В С, V отнесено к 1815 г. Черновик в ГПБ (Б № 26, л. 42) — немецкое стихотворение, без заглавия, на отдельном листке. Между немецкими стихами наброски перевода карандашом. Под немецкими стихами дата: «26 Febr. 1823 Dorpat». Беловик в альбоме А. А. Воейковой в ПД (рук. № 22728/CLVIII 6 3) между 10 окт. 1823 и 10 июня 1824 г. Еще автограф, беловой в ГПБ (в собр. Помяловского, карт. № 2), под заглавием: «Баркарола». Перевод романса «Schon sank auf rosiger Bahn» (см. Б № 26). Положено на музыку А. Рубинштейном (ор. 48, № 1, Дуэт) и Г. О. Коргановым.

Таинственный посетитель — 1824. «Северные Цветы на 1825 г.», СПб., 1824, стр. 258, и С, IV—V. В РП (как и в С, V) датировано 1822 г. и в отделе РиП. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 31) между стихами 1824 г. К. Зейдлиц (II, стр. 130) указывает, что «Таинственный посетитель» — оригинальное произведение, которое «обличает в себе отголоски сердечных дум Ж. об М. А. Протасовой». Источником «Таинственного посетителя» послужили два переведенных Ж. с немецкого стих.: Посвящение к «Двенадцати спящим девам» — из Гете (см. примеч.) и «К мимопролетевшему знакомому гению» — из Шеллинга (см. примеч.).

Мотылек и цветы — 1824. «Северные Цветы на 1825 г.», СПб., 1824, стр. 357 (ц. д. 9 авг. 1824) с примеч.: «Стихи, написанные в альбоме Н. И. И., на рисунок, представляющий бабочку, сидящую

на букете из pensées и незабудок», и С, IV—V. В С, V датировано 1822 г. В РП в отделе РиП. Автограф последней строфы в альбоме С. Н. Карамзиной (см. РБ, 1916, кн. 6, стр. 69) и А. А. Воейковой в ПД (№ 22728/С LVIII б 3). Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 30) — две редакции (первую см. на стр. 343). Во второй, беловой последние два стиха читаются:

И с вами прелесть настоящего
И пренебрег и позабыл!

Осуждение «прелести настоящего» Ж. не удовлетворило. Он сделал осуждение более частным, поставив вместо «прелести» «низость». Этот конец стихотворения тесно связан у Ж. с поэтическими формулами таких его романтических стихотворений, как «Цвет завета» и «Мотылек» (перевод «Die Freude» Гете, см. И. Эйгес, «Новые розыскания о стихотворениях М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского», «Сирена», 1919, № 4—5, стр. 79), и вызвал следующий отзыв Пушкина: «Что прелестнее строфы Ж. *Он мнил, что вы с ним однородные* и следующей. Конца не люблю» (Письмо к Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу от 15 марта 1825 г.).

Замок на берегу моря — 28 марта 1831. «Муравейник», 1831, № 4, стр. 22, и С, IV—V. В С, V отнесено к 1832 г. В РП в отделе РиП. В рукописном перечне своих стихотворений 1831 г. (Б № 35, л. 8) Ж. отнес к 28 марта. Перевод стих. Уланда «Das Schloss am Meere» (Замок на море), написанного куплетной строфой, паузником, с чередованием 4- и 3-стопных стихов. Ж. стремился передать не только содержание оригинала, но и самый принцип движения лирической темы, характерный для народной песни — амебейное построение. В переводе текст Уланда Ж. психологизует. Например:

Сияла над ним *одиноко* луна.
Над морем *клубился холодный* туман.

Ночной смотр — нач. 1836. «Совр.», 1836, № 1, стр. 14 (ц. д. 31 марта 1836), и С, IV—V. В РП в отделе РиП. Рук. в ГПБ (Б № 26, л. 48) на листе из четырех страниц. На стр. 1 и 2 — первая черновая редакция (впервые публикуемая, см. ее на стр. 344), на стр. 3—4 — вторая (известная в печати). Перевод баллады «Die nächtliche Heerschau» австрийского писателя бар. Иосифа Христиана фон Цедлица (1790—1862), который начал свою карьеру восторженным поклонником Бонапарта и закончил мракобесным католическим милитаристом. В 1827 г. Цедлиц выпустил книгу стихов, в которой напечатал и прославивший его «Ночной смотр», — этот один из основных документов так называемой «наполеоновской легенды». Ж., переводя балладу Цедлица, так же как и при переводе «Лесного царя» Гете, не умел передать паузник. Первоначально, видимо, он стремился сохранить ритм оригинала и перевел стихи Цедлица 3-стопным ямбом, ибо паузник Цедлица часто переходит в 3-стопный ямб и вообще близок ритму 3-стопного ямба (ср. 1-й перевод). Однако этот перевод, несмотря на экспрессивность ритма, Ж. не удовлетворил, и он снова перевел «Ночной смотр» на этот раз уже 3-стопным амфибрахием. Ж. не сохранил и характера строфического членения оригинала — катренов Цедлица. Наконец рифмованный стих Цедлица Ж. передал белым стихом. Пушкин был очень доволен,

получив «Ночной смотр» Ж. для «Совр.». Д. Давыдов писал Ж. об этом 14 апр. 1836 г.: «Мне Пушкин пишет, что ты в журнал его дал такие стихи, что мой белый локон дыбом станет от восторга» (РА, 1871, стр. 0187). Положено на музыку М. И. Глинкою (см. М. И. Глинка, «Записки», Academia, 1930, стр. 184).

БАЛЛАДЫ

Людмила — 14 апр. 1808. ВЕ, 1808, май, стр. 41, с подзаголовком: «Русская баллада» и с примеч.: «Подражание Биргеровой Леоноре», за подписью: Ж., БП и С, I—V. В списке стихов 1808 г. Ж. отнес к 14 апр. (Б № 13, л. 5). Рук. в ПД (№ 10089/LX 6 22) и в ГПБ (Б № 14, л. 47) — редакция сходная с ВЕ; рук. (№ 20, л. 1) окончание от стиха: «Бух в нее и с седоком», писанное М. А. Протасовой, с поправками Ж. Слово «бух» Ж. зачеркнул и написал «Прыг» к стиху: «Конь мой, конь! бежит песок» примеч. (как в ВЕ): «В песочных часах». Подражание балладе «Lenore» (Ленора) немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера (1747—1794), одного из предшественников немецкого романтизма.

Бюргер воспользовался для своей баллады немецкой народной песней, придав ей моралистический характер. В это время, т. е. в 1805—1808 гг., Ж. высоко ценил Бюргера и предпочитал его баллады Шиллеровым. В тетради, по которой Ж. давал уроки своим Белевским ученицам-племянницам М. А. и А. А. Протасовым, он писал: «Бюргер в роде баллад единственный... В особенности изображает он очень счастливо ужасное, то ужасное, которое принадлежит к ужасу, производимому в нас предметами мрачными, призраками мрачного воображения. Картины свои заимствует он от таинственной природы того света, который не есть идеальный свет, созданный фантазиею древних поэтов, но мрачное владычество суеверия. — Шиллер менее живописен; язык его не имеет привлекательной простонародности Бюргерова языка; но он благороднее и приятнее... Вообще Шиллеров язык ровнее, но он не так жив, и совершенство целого повредило несколько разительности частей; тогда как в Бюргере его живость есть, может быть, следствие свободы, менее ограниченной» (К. Зейдлиц, II, стр. 39). Очевидно, к тому же времени относится и начало перевода Ж. «Lenardo und Blandine» Бюргера. Ж. перевел первые пять строф (черновая рук. в ГПБ: Б № 12, л. 49) и обратился к работе над «Lenore». «Lenore» Бюргера Ж. перерабатывал несколько раз (см. «Светлану» и «Ленору»). Первая переработка — «Людмила» — сильно отличается от оригинала. В этой переработке сказалось прежде всего влияние — направления раннего Ж. — русского сентиментализма. Так, в частности, даже самое имя «Людмила» Ж. заимствовал из баллады Н. М. Карамзина «Раиса» (см. П. А. Вяземский, Соч., т. 7, стр. 153). В статье «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады: Ленора» А. Грибоедов отмечает сентименталистский характер обработки Ж. баллады Бюргера, говоря, что у Ж. «мертвец опять сбивается на тон Аркадского пастушка и говорит своему коню: *Чую ранний ветерок*» (СО, 1816, ч. 31, № 30, стр. 157).

Влияние сентиментализма определило и исключение «грубых» и реалистических эпизодов Бюргеровой баллады. Так, у Бюргера жених проносится мимо виселицы, вокруг которой призраки

«сволочи-висельников» (Gesindel); у Ж. — «хороводы тихих теней» и т. п. Параллельно сентиментализму в «Людмиле» заметно влияние шотландских поэм Оссиана. Именно поэтому Пушкин в одной статье назвал Людмилу *«шотландкой»* (Соч., Гослитиздат, 1936, стр. 698). Гнедич также писал: «Выпуская в Бюргере картины... странные и несообразные с вероятием нашего народа, и заменяя их своими, певец *Людмилы* впал в маленькую погрешность:

> Слышу шорох тихих теней
> В час полуночных видений
> В дыме облака толпой...

... Эти тени прекрасны, но они совершенно *оссиановские тени* и в русской балладе — залетные гости!» («О вольном переводе Бюргеровой баллады: Ленора», СО, 1816, ч. 31, № 27, стр. 3, подписано: СПб. Губернии Деревня Тентелева). В той же статье Гнедич отмечал, что «Людмила есть оригинальное русское, прелестное стихотворение, для которого идея взята только из Бюргера». И действительно, задачей переработки было создать аналогичную бюргеровой *русскую* балладу. Это заставило изменить имя героини, перенести место войны в Московское царство XVI в., в эпоху Ливонских войн (близ Наревы, т. е. близ Нарвы) и заменить Ленору «русской девицей». Даже размер не сохранен в переводе (у Бюргера — 4-стопный ямб). Отдельные строфы «Людмилы» не имеют параллели у Бюргера.

Таковы стихи:

> Чу! в лесу потрялся лист,
> Чу! в глуши раздался свист.
> Черный ворон встрепенулся;
> Вздрогнул конь и отшатнулся;
> Вспыхнул в поле огонек» —

Переделана сцена на могиле. Бюргер самой смерти Леноры не показывает. Ж. ее изображает. Современники приняли «Людмилу» — этот опыт создания *русской баллады* — с восторгом. Впоследствии Белинский писал: «Это было время, когда «Людмила» Ж. доставляла какое-то сладостно-страшное удовольствие, и чем больше ужасала, с тем большею страстью читали ее» (Соч., т. 2, 1919, стр. 106). «Существовало даже предание, будто Ж. писал эту балладу по ночам, для большего настроения себя к этим ужасам» (Мих. Дмитриев, стр. 184). Баллада была напечатана в эпоху войн с наполеоновской Францией. По словам С. Шевырева, «Первая баллада — Людмила — была ко времени. Невесты вместе с нею грешили тайным ропотом за женихов своих, увлеченных войнами нового бурного века, изменившего надеждам мирным. Не одна русская дева оплакала мертвеца в своем суженом» («Москвитянин», 1853, т. I, стр. 83). В 1816—1820 гг., когда в литературе шла дискуссия о народности, опыт Ж. в «Людмиле» сделался предметом ожесточенной полемики (см. вступ. статью). Пушкин писал обо всей этой борьбе: «Биргерова Ленора... была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Ж., который сделал из нее то же, что Байрон в своем Манфреде сделал из *Фауста*: ослабил дух

и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам Ленору в энергической красоте ее первобытного создания; он написал *Ольгу*. Но сия простота и даже грубость выражения, сия *сволочь*, заменившая *воздушную цепь теней*, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнение в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым» (Соч., Гослитиздат, 1936, стр. 741).

Кассандра — 1809. ВЕ, 1809, окт., стр. 258, за подписью: Ж. и с примеч.: «Читателям известно, что Ахиллес, сын богини Фетиды и Пелея (почему и называется он здесь Пелидом), в ту самую минуту, когда он стоял перед брачным алтарем с Поликсеною, дочерью Троянского царя Приама, убит Парисом, которого стрелою управлял Аполлон. Кассандра, сестра Поликсены, будучи жрицею Аполлона, имела несчастный дар предвидеть будущее. В.Ж.», БП и С, I—V. В С, V датировано 1809 г. Рук., близкая ВЕ, в ГПБ (Б № 14, л. 52). Перевод баллады Шиллера «Kassandra». Ж. сделал ряд отступлений от подлинника. Так, он смягчил сильные душевные движения героини, переведя их в более отвлеченно-лирический план, и заменил реалистические описания условно романтическими (взамен изображения веселия народа у Ж.: «Стогны дышат фимиамом» и т. п.). Ж. опустил также ряд мифологических имен оригинала: Прозерпину, Ларвов, и заменил «Todt lag Thetis' grosser Sohn» стихом «Пал великий Ахиллес» (в рук. — «Сын Фетиды низложен», в ВЕ — «Сын Пелея низложен»), а богиню Эриду, потрясающую змеями, — Фуриями, так как змеи — атрибуты Фурий. Содержание «Кассандры» Шиллер заимствовал из «Илиады» Гомера. Баллада Шиллера приурочена к тому эпизоду из «Илиады», в котором рассказывается, что греки и троянцы, утомленные долгой войной, заключили перемирие. Мир должен был быть скреплен женитьбой Ахилла на дочери Приама Поликсене (см. выше). Однако Кассандра предвидит возобновление войны и неизбежность погибели обреченной богами Трои. Она знает, что после гибели города она достанется царю Агамемнону, который увезет ее в свой город Микены. Там жена Агамемнона Клитемнестра, со своим любовником Эгистом, предательски убьет Агамемнона, а вместе с ним и Кассандру («Я в чужбине смерть найду»).

И моей любви открылся — и т. д. Кассандра говорит о своем женихе, царе Фригии Корэбе. Она сама предсказала ему смерть... *Тень Стигийская* — тень мертвеца. Предсказания Кассандры в последних стихах баллады начинают осуществляться: Ахиллес убит Парисом. Появляются Фурии (Эвмениды, Эриннии), богини мщения и возмездия за преступления, и боги предоставляют обреченную погибели Трою ее судьбе, перестают принимать участие в войне и удаляются на небеса («боги мчатся к небесам»). Своим знанием будущего Кассандра тяготится. Она говорит: «Лишь незнанье — жизнь прямая, Знанье — смерть прямая нам». Эту мысль Н. С. Тихонравов (Соч., т. 3, ч. 1, стр. 80) почитает ключом к идейному замыслу баллады. Мысль эта заимствована Шиллером из трагедии Эсхила «Скованный Прометей». Идею о том, что чем глубже понимание жизни и умение предвидеть будущее, тем трагичнее судьба человека, подчеркивает Ж. и в примеч., говоря: «Кассандра имела *несчастный* дар предвидеть будущее» (см. выше).

Светлана — 1808—1812. ВЕ, 1813, янв., стр. 67, с подзаголовком.: «(Ал. Ан. Пр... вой)», за подписью: В. Ж., БП и С, I—V. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 82) с подзаголовком: «Баллада (Милому другу Саше)» и в ПД (№ 10089/LX 6 22). Самостоятельная переделка «Lenore» Бюргера (см. примеч. к «Людмиле» и «Леноре»). Проблема народности искусства, стоящая в эти годы перед Ж., и его намерение создать русскую эпопею, аналогичную западным, заставляли его обращаться к русской мифологии, созданной в XVIII в., и к народному быту (см. вступ. статью). Поэтому он ввел в балладу русские народные гадания, народные суеверия. Характерно, что первоначально Ж. думал строить сюжет гораздо ближе к «Lenore» — жених должен был оказаться мертвым. См. план «Светланы» в рук. ГПБ (Б № 78, 6, л. 10), озаглавленный: «Святки»: «Описание гаданья — приход жениха, — отъезд — изобр. путешествия — избушка — на равнине — исчезает. Изображение мертвеца — Голубок — пенье за дверьми — стук в двери — просыпается — свет — утренник — Унылость — весть о смерти». «Светлану» Ж. посвятил своей племяннице А. А. Протасовой («Светлане»). Это был его подарок к ее свадьбе. Кроме того, Ж. тогда же продал свое имение, завещанное ему М. Г. Буниной, за 11 000 руб. и подарил деньги эти А. А. Протасовой на приданое. Положено на музыку в 1840 г. Воротниковым. Отрывок от стиха «Раз в крещенский вечерок» положен на музыку А. Е. Варламовым (Романс).

Пустынник — 1812. ВЕ, 1813, июнь, стр. 179, с подзаголовком: «Баллада», за подписью: «С Английск. В. Ж.», БП и С, I—V. Дважды (в 1823 и 1824 гг.) отдельной брошюрой со стихами Ж. «Ангел и певец» (в сокращении). При второй перепечатке имело послесловие: «Музыка, романса и кантаты переделанные для фортепиано самим автором продается в музыкальной лавке Педа, в Большой Морской. Цена 10 рублей». В С, I—II отнесено к 1812, в С, V — к 1813 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 103) — редакция, близкая ВЕ. Здесь Ж. сделал поправку, не вошедшую в печатные издания. В строфе 29 в ст. «И та моей была» «И та» заменено на: «Она». В этой же строфе ст. 1 читается: «С незнатностью и нищетою», впоследствии переделанный на: «Ему с смиренной нищетою». Ж., видимо, как обычно, стремился уничтожить возможность автобиографических истолкований лирического героя (первоначальное чтение ближе к английскому оригиналу). Перевод баллады «The Hermit» (Отшельник) английского писателя и поэта Оливера Гольдсмита (1728—1774), представителя школы английского сентиментального романа, автора знаменитого романа «Вексфильдский викарий». Переводя, Ж. изменил в 4-стопных стихах мужское окончание на женское. У Гольдсмита имя героини — Ангелина. В отдельных местах Ж. заменил конкретные описания любви Эдвина и Ангелины эвфемистически-отвлеченными. Положено в 1820-е гг. на музыку Маурером.

Адельстан — 1813. ВЕ, 1813, февр., стр. 212, с подзаголовком: «Баллада (Перевод с Английского)», за подписью: В.Ж., БП и С, I—V. В С, V и РП датировано 1813 г. В окончательной редакции коренным образом переделаны две последние строфы, которые в ВЕ читаются иначе (см. стр. 345). Рук. в ГПБ (В № 14, л. 119) — сходная с ВЕ. Перевод баллады «Rudiger» (Рудигер) Саути. Саути воспользовался сюжетом, найденным им у Томаса Хейвуда.

Хейвуд утверждал, что приехавший на лебеде незнакомец — это «один из тех духов, которых именуют инкубами». Саути не согласился с этим объяснением и в предисловии к «Рудигеру» предположил, что это не инкуб, а грешник, обещавший дьяволу своего первого ребенка (см. The poetical works of Robert Southey. Paris, 1829, стр. 637). И Хейвуд и Саути не поняли смысла этой легенды. Не зная о том, они переработали один из вариантов ныне получившей, после Вагнеровских опер, всемирную известность легенды о Лоэнгрине, сыне Парсифаля. Подтверждением того, что они обрабатывали именно один из вариантов легенды о Лоэнгрине, служит указание на то, что рыцарь приплывает на лебеде по реке Рейну, т. е. что легенда эта немецкого происхождения. Саути заканчивает балладу стихами, в которых выражается идея божественной справедливости. Идея эта не была передана в первоначальном переводе Ж. В ранней редакции (см. стр. 345) Адельстан действительно бросает ребенка в пропасть. Впоследствии Ж. переработал финал в соответствии с текстом Саути. Ж. не сохранил ритмики оригинала (куплетной строфы с чередованием мужских стихов 4- и 3-стопного ямба). Первые две строфы «Рудигера» он передал тремя, а строфы 42 и 43 сжал в одну. Заменил «стены Вальдхерста» на «замок Аллен», имена «Рудигер» на «Адельстан», «Маргарита» на «Лора». Однако, исправляя перевод, Ж. стремился точнее передать оригинал (см. его работу над финалом, а также над ст. 123—124 ранней редакции:

Злой недуг меня лишает
Сил веселым с вами быть!).

Ивиковы журавли — 1813. ВЕ, 1814, февр., стр. 200, с подзаголовком: «Баллада», за подписью: Ж...., БП и С, I—V. В С, II датировано 1813 г., в С, V и РП — 1810 г. Конец баллады в ВЕ от ст. 180 читается в иной редакции. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 129) — здесь от ст. 129 читается иначе (см. стр. 346). Эта редакция зачеркнута Ж. Перевод баллады Шиллера «Die Kraniche des Ibykus». Ивик — древнегреческий странствующий певец, жил в VI в. до н. э. Родился в Региуме, в южной Италии. Он много путешествовал по Италии и Сицилии и, наконец, отправившись на Самос, поселился там при дворе Поликрата Самосского (см. примеч. к «Поликратову перстню»). По преданию, Ивик был убит недалеко от древнегреческого города-республики Коринфа, когда он шел на общегреческий праздник-состязание («Истмийские игры»), устраиваемый раз в два года на перешейке (Истме) Коринфском в честь бога морей и океанов Посейдона. Легенда рассказывает, что преступление раскрылось при помощи журавлей. Эта легенда, в том виде, как она известна сейчас, возникла через 400 лет после смерти Ивика (ср. Ор. Яцевич, «Опыт объяснения легенды об «Ивиковых журавлях» — Труды Черниговской Архивной Комиссии, 1908, Чернигов, стр. 56 и 66).

Многие исследователи высказывали предположение, что легенда эта — обработка бродячего сказочного сюжета, встречающегося у разных народов. Предание об Ивиковых журавлях впервые изложено в эпиграмме Антипатра Сидонского (приведенной у Плутарха), затем рассказано у лексикографа Свиды, в «Adagia» Эразма (известных Гете) и в «Ce rebus Licilis» Фомы Фацелли, известных Шиллеру. До Ж. в России сюжетом Ивиковых журавлей

воспользовался Сумароков («Разбойник и пиит»). Сюжет этой баллады был найден Гете, предложившим Шиллеру дружеское соревнование: разработать им обоим этот сюжет параллельно. Но Гете не осуществил своего намерения, и балладу написал один Шиллер. Античная легенда об убийстве Ивика была основана на древнегреческих представлениях о божественном законе возмездия, предопределяющем неизбежность кары за преступление. Роль мстителей выполняют Эриннии. Ж. писал об этом в примеч. к балладе (в С, V): «Хор Эвменид (Эринний, Фурий). Сии богини, дщери Нощи и Ахерона, открывали тайные преступления, преследовали виновных и мстили им на земле и в аде». Шиллер переосмыслил содержание легенды. По замыслу Шиллера, убийца, потрясенный *искусством* (он смотрит в театре «Эвмениды» Эсхила — см. в балладе описание хора Эринний из этой трагедии), выдает свое преступление. Идея возмездия, таким образом, отодвинута на второй план изображением очистительной силы трагедии (катарсиса) и власти искусства над человеческой душой. «Катастрофа, — писал Шиллер, — должна быть вызвана простой естественной случайностью. Эта случайность проносит над театром стаю журавлей; убийца — среди зрителей; трагедия не потрясла его, но она *напомнила* о его деянии и обо всем, что при этом было... появление журавлей в это самое мгновение должно поразить его; это — грубое животное, над которым впечатление всесильно. При таких обстоятельствах его громкое восклицание совершенно естественно... я намеренно не остановился на подробностях раскрытия преступления: ибо как только найден путь к изобличению убийцы (а для этого довольно возгласа и следующего за ним ужаса), баллада окончена; остальное ничто для поэта». Ж. сделал ряд отступлений от оригинала (см. подробно у Чешихина, стр. 3[illegible]) В строфе 8 Ж. перевел: «Пританов окружил народ»; у Шиллера — «Притан» (Притан, т. е. президент Коринфской республики, был один. Правда, ко времени Ивика он был уже заменен двумя провулами). В строфе 20 у Шиллера: «Смотри, смотри, Тимофей, журавли Ивика!» К этому месту Шиллер сделал пояснение: «Так как я представляю убийцу сидящим *наверху*, где занимал места простой народ, то, во-первых, он мог видеть ⟨у Ж. — «слышать»⟩ журавлей ранее, чем они появились над серединой театра: этим приобретаю я то, что восклицание могло предшествовать действительному появлению журавлей, а это здесь очень важно — и что действительное появление их сделалось эффектнее; я приобретаю, во-вторых, что восклицание его слышит весь театр, хотя и не все одинаково понимают его слова». У Ж. переменой слова «видишь» на «слышишь» этот психологический мотив уничтожен (ср. Д. Цветаев — в. 4, стр. 110). Заключительная строфа Ж. совершенно переделана. Первоначальная редакция этой строфы (см. ст. 346) ближе к оригиналу. Отталкиваясь от подлинника, Ж. самостоятельно разрабатывал текст. Итак, все отступления от оригинала могут быть сведены к нескольким типам: 1) замене резких и прозаических подробностей общими поэтическими, 2) замене риторических стихов лирико-психологическими и 3) самостоятельной разработке мотива при точном следовании канве повествования.

Гелла, Элла, Эллада — Греция. *Акрокоринф* — Акрополь Коринфа. *Коцит* — река в царстве теней (приток Ахерона).

Баллада, в которой описывается, как одна старушка... — 14, 15, 17 и 19 окт. 1814. БП, БиП и С, IV—V. Рук. в ПД — беловой автограф (без шифра), на секретке и список, писарской, 30-х гг. (№ 27765/CXCVIII б 36): «Баллада, в коей описывается, как одна старушка ехала на черном коне самдруг, и кто был другой». Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 20) — ранняя редакция 1814 г. под заглавием: «Старушка». Текст ГПБ (№ 15) сходен с рук. ПД, но в рук. ГПБ ст. 3 — «Печальну весть ей черный вран сказал», и еще стро́фа, между 37 и 38 (см. стр. 347). Список в ГПБ (Б № 36, л. 1) — та же редакция, что и № 15, но с еще одной строфой между 34 и 35 (см. стр. 347) и с многочисленными исправлениями, сделанными Ж., доведшим рук. до окончательного вида (исправления эти сделаны в нач. 1831 г.). Здесь же, в ГПБ, рук. (Б № 30, л. 52) под датой: «20 марта ⟨1831⟩» — последний черновик. Особенно переработана строфа 39: «И *он* предстал весь в пламени очам...» Решив уничтожить рассказ о том, что сатана вошел в храм, Ж., очевидно, с неохотой отказался от образа «раскаленной пещи», попытавшись сначала вынести пожар за пределы храма. Так, в рук. текст первоначально исправлен так:

Через порог никто ступить не смел,
Но что-то страшное там ждало;
Всем чудилось, что там пожар горел,
Что всё в окрестности пылало...

Затем эти четыре стиха зачеркнуты, и под ними подписан окончательный текст строфы 39 (см. стр. 347), в котором сатана «выведен» из храма. Посылая балладу 20 окт. 1814 г. А. И. Тургеневу, Ж. писал ему: «A propos, вчера родилась у меня еще баллада-приемыш, т. е. перевод с Английского. Уж то-то черти, то-то гробы! Но это последняя в этом роде. Не думай, чтоб я на одних только чертях хотел ехать в потомство. Нет! Я знаю, что они собьют на дороге, а признаюсь, хочу, чтоб они меня конвоировали» (ПкТ, стр. 128). В конце 1814 или начале 1815 г. Ж. представил балладу в цензуру. 12 апр. 1815 г. он писал А. И. Тургеневу: «Балладу *Старушка* в Москве не пропустили; постарайся, чтобы того же не сделалось в Петербурге» (ПкТ, стр. 145). Однако и в Петербурге балладу постигла та же участь. Хотя Ж. не удалось ее напечатать, но она в рук. ходила по рукам. Ж. и сам читал ее много раз в салонах друзей. См., напр., в post scriptum'е его послания к бар. Черкасовой извещение об одном из таких предстоящих чтений:

Во вторник ввечеру
Я буду, если не умру
Иль не поссорюсь с Аполлоном,
Читать вам погребальным тоном,
Как ведьму чорт унес,
И напугаю вас до слез.

Через некоторое время Ж. читал балладу во дворце. Согласно легенде, чтение произвело столь сильное впечатление, что фрейлине-слушательнице стало дурно. На эту легенду намекает и герой «Комедии против комедии» М. Н. Загоскина (1816 г.): «В половине чтения сделалось многим дурно, и под конец одна дама упала в обморок» и т. д. (см. стр. XXIV). Ж. не оставлял

надежды напечатать балладу. Так, в альбоме С. Д. Полторацкого находится текст баллады, предназначенный для «Моск. Телеграфа» и озаглавленный: «Ведьма». Однако цензура не забыла о своем решении. Вся баллада здесь зачеркнута красными чернилами. Внизу цензор написал: «Баллада «Старушка», ныне явившаяся «Ведьмой», подлежит вся запрещению, как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над богом» (РС, 1887, т. 6, стр. 485). Чтобы напечатать балладу, Ж. пришлось переработать ее в духе требований цензуры (этот текст и известен в печати), т. е. вывести сатану из храма и ослабить его могущество (см. строфы 39 и 40 на стр. 347). Остальные исправления — стилистические (см. их на стр. 346). Перевод баллады Р. Саути (1774—1843), английского поэта-романтика, одного из крупнейших представителей «озерной школы» поэтов: «A Ballad, shewing how an old woman rode double and who rode before she». Балладу иногда озаглавливают: «The witch of Berkeley», по 2-му стиху 2-й строфы (ср. С. Шестаков, стр. 40). Источником баллады Саути послужил латинский текст 852 г. Матью из Вестминстера, содержащий рассказ о Берклейской ведьме, которая перед смертью завещала своему сыну вымолить ей прощение у бога: «Insuite me defunctam in coris cervino, ac deinde in sarcophago lapideo supponite, operculumque ferro et plumbo constringite, ac demum lapidem tribus sathensis ferreis et fortissimis circundates, clericos quinquaginta psalmores cantores, et tot per tres dies presbyteros missarum celebratores applicate, qui feroces lenigent adversariorum incursus» и т. д. (Саути легенда была известна и по другим средневековым хроникам. См. его указание на Olaus Magnus'a и на Nuremberg Chronicle 1493 г.). Легенда эта восходит к «Диалогам» папы Григория Святого, в которых в назидание верующим рассказано, что тело короля Карла Мартелла (688—741), после погребения в монастыре Сен-Дени, было украдено злыми духами (как известно, К. Мартелл не был любим католическим духовенством, так как он широко практиковал секуляризацию церковных имений и аналогичные антицерковные мероприятия). Легенда эта получила широкое распространение. Впоследствии она утратила свое историческое приурочение. Ее перестали связывать с именем К. Мартелла и стали рассказывать как легенду о ведьме, которая захотела спастись и приказала похоронить себя в монастыре, и о том, как «волшебницу демоны извлекоша из церкви, в ней же погребена бысть» (ср. «Великое зерцало», 1256 г.). Разные типы этих рассказов пользуются в Англии известностью как рассказы о «The witch of Berkeley» (Берклейской ведьме). Г. Владимиров («Великое зерцало», стр. 23) усматривает в этих рассказах параллель к «Вию» Гоголя. Н. Ф. Сумцов показал, что «Вий» восходит к циклу украинских легенд, представляющих отличную от рассказов о берклейской ведьме ветвь сказаний («Киевская Старина», 1892, т. 36, стр. 477). В соображения Сумцова должно внести один корректив. Если Гоголь и обработал украинские легенды, то все же одна из легенд о берклейской ведьме не могла быть ему неизвестна. Это — «Старушка» Ж., влияние которой на «Вия» устанавливается простыми сопоставлениями. Возможно, что «Старушка» подсказала Гоголю и самый сюжет, а потом Гоголь разработал его, обратившись к украинским легендам. Переводя балладу Саути, Ж. упростил ее ритмическую структуру, передав тонический стих

оригинала ямбом и не сохранив внутристрофических композиционных приемов Саути: появляющуюся в отдельных строфах внутреннюю рифму и прием расширения строфы до пяти-шести стихов. Ж. приспособил переводимый текст к обычаям православной церкви (см. у него «дьячков» и т. п.). Строфа 23 о чернеце прибавлена Ж. Он ввел также черты, заимствованные из русской волшебной народной литературы. Напр., «Власы невест в огне волшебном жгла». В соответствии с этим руссифицированием текста Ж. опустил и географическое обозначение баллады (Berkeley). Передавая конец, Ж. усилил могущество сатаны (за что баллада и была запрещена). Так, он переставил две строфы оригинала (в переводе 39 и 40) и этим простым приближением грома от грядущего сатаны к рассказу о его появлении сделал композицию более выразительной. Взамен стихов Саути: «And strokes as of a battering ram, Did shake the strong church door» он ввел два собственных замечательных стиха:

Как будто степь песчаную оркан
Свистящими крылами рост.

О переводе Ж. «The old woman of Berkeley» (и, возможно, о цензурной истории баллады) было известно и Саути. Рассказал ему об этом А. И. Тургенев в 1828 г. (см. письмо А. И. Тургенева от 10 авг. 1828 г. — «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», Leipzig, 1872, стр. 114).

Варвик — 24—27 окт. 1814. «Амфион», 1815, апр., стр. 59, с пометой: «С Англин.», БП и С, I—V. В С, IV—V ст. 40 читается: «И бледный, странный лик», в «Амфионе» и С, I—III: «И бледный, страшный лик». Видимо, в С, IV—V — опечатка. Ст. 58 в ранних редакциях — «Гроза со всех сторон», в окончательной редакции — «Отвсюду вихрей стон», усиливающий ужас бушевания природы. Написано с 24—27 окт. 1814 г. (см. Б, стр. 151). По свидетельству П. Ефремова первый набросок баллады находится в долбинской тетради и сделан в начале апр. 1814 г. (см. стр. 347). Перевод баллады Саути «Lord William» (Лорд Вильям). В примечании Саути подчеркнул фантастический характер этой своей баллады («The storie of this... ballad.... wholly imaginary» — см. The poetical works of R. Southey, Paris, 1829, стр. 639). В переводе Ж. изменил размер (у Саути чередование 4-стопного ямба женского стиха с рифмованными мужскими 3-стопными), заменил имена: вместо «Эдмунд» — «Эдвин» (первоначально: «Артур» — см. стр. 347), вместо «Вильям» — «Варвик», вместо «Северн» — «Авон». Два последние стиха 3-й строфы Саути («И полночные воды Северна катились по плодородной равнине») служат Ж. поводом для большого пейзажного описания: «И пышные с высот его картины...» и далее строфы 4, 5 и 6. Аналогично, строфу 5 оригинала Ж. распространил в две (8 и 9) и т. д. Изменены также, в переводе, строфы 21—23, опущена толпа на берегу и речь гребца о том, что он может взять только одного пассажира, а также и то, что при звуках этого голоса никто, кроме Вильяма, не пожелал сесть в лодку. Опущено также противопоставление: гребец говорит: «Садись, лорд Вильям, а вы оставайтесь под *божьим* покровительством», и слова Вильяма гребцу: «Половина моего золота — тебе!»

Алина и Альсим — 27—30 окт. 1814. «Амфион», 1815, июль, стр. 100, БП и С, I—V. Рук. в ПД (№ 9625/У 6 9) в альбоме А. П. Зонтаг — автограф строфы «Разлуки жизнь воспоминанье...» (восемь стихов; рук. (№ 10089/LX 6 22); автограф баллады — и в тетради Ж. 1814 г. из собр. И. Н. Розанова (см. «Труды Орехово-Зуевского педагог. института (Кафедра языка и литературы)», 1936, в статье К. А. Марцишевской: «Alix et Alexis Монкрифа в переводе Ж. (По неизданному автографу)»). В этой рук. датировано 27—30 окт. (1814). Здесь стихотворение кончается строфой, впоследствии откинутой Ж. (см. стр. 348). Перевод романса ««Les constantes amours d'Alix et d'Alexis. Romance: sur un air Langedocien» французского поэта Франсуа Огюстен Паради де Монкрифа (1687—1770), придворного поэта при Людовике XV. Романс Монкрифа представляет собой стилизацию под старую французскую поэзию Маро и др. Последнюю строфу, как мы видели, Ж. откинул. Для передачи стилевого своеобразия оригинала (стилизации под архаическую наивность) Ж., вслед за Монкрифом, прибегает к архаизмам. Ср., напр., стих «Vaux mieux mourir» со ст. 16 перевода: «И *льзя* ли жить?» Стремясь сохранить и ритмический характер оригинала, Ж. передал силлабический стих Монкрифа сочетанием 4-стопного ямба с 2-стопным. При передаче текста Ж. в строфе 1 опустил упоминание о «злых родителях» (см. стр. VIII), затушевав прямой адрес обращения, имеющего для него автобиографический смысл, сделал предполагаемого супруга («Un conseilleur») *генералом* («Нет, дочь моя, за генерала Тебя отдам» — в 1814 г. в Дерпте пытались выдать М. А. Протасову за некоего генерала Красовского). «Алина и Альсим» Ж. пользовалась большой популярностью. Возможно, что романс этот оказал влияние на отдельные мотивы «Евгения Онегина» (так, Алина замужем за *генералом* и говорит любимому ею Альсиму: «Я верной быть женою дала обет» и т. п.). В рук. И. Н. Розанова сходство еще отчетливее:

Альсим, Альсим, давно другому
[Рука дана] Я отдана,
У алтаря клялась святому
Я быть верна.

Эльвина и Эдвин — 28—30 окт. 1814. «Амфион», 1815, февр., стр. 77, с подзаголовком: «(Баллада)», с пометой: «С Англин.», БП и С, I—V. Написано 28—30 окт. 1814 г. (см. Б, стр. 151). Пересказ баллады «Edwin and Emma» (Эдвин и Эмма) английского поэта, драматурга и публициста торнев Давида Маллета (или Меллока; род. ок. 1705 — ум. в 1765), автора национальной песни англичан «Руль, Британия» и знаменитой баллады «Вильям и Маргарита». Ж. свободно пересказывает оригинал (см. «The poetical works of D. Mallet», Эдинбург, 1780). Не сохранен размер (у Маллета — чередование 4- и 3-стопного ямба). В последней строфе Ж. привнес мотив любви дочери к матери и характерное слово «благослови». «В балладе «Эльвина и Эдвин», — говорит К. Зейдлиц (I, стр. 453), — читаешь как будто содержание разговоров Ж. с Екатериной Афанасьевной».

Ахилл — 1—3 ноября 1814. С, I—V и БП. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 110) — первые восемь стихов (писано в 1812 г.). Ст. 5 здесь читается: «Мрачно всё... курясь сверкает»; рук. (Б № 25, л. 25) — первые пять строф, очевидно написанные еще в 1812 г., и продол-

жение (л. 33). Против строфы 6 рукою М. А. Протасовой написано: «Романово», а под строфой 10 ею же — «Вильна». Здесь же, в ГПБ (в Погодинском хранилище), автограф — окончание — от стиха «Обойдешь равнину брани». Доработана вся баллада с 1—3 ноября 1814 г. (см. Б стр. 151).

«Ахилл» отразил интерес Ж. к античности и Гомеру. Содержание баллады заимствовано из «Илиады». Ж. попытался разработать проходящую через всю «Илиаду» идею судьбы (Мойры), предрекающей жизненный путь человека. В несомненной связи с «Ахиллом» Ж. находятся и его последующие переводы из «Илиады», в которые он привнес некоторые выражения, употребленные в балладе «Ахилл», но отсутствующие в поэме Гомера (см. С. Шестаков, «В. А. Жуковский, как переводчик Гомера», Казань, 1902, стр. 8). В примеч. к «Ахиллу» (С, V) Ж. писал: «Ахиллу дано было на выбор или жить долго без славы, или умереть в молодости со славою — он избрал последнее и полетел к стенам Илиона. Он знал, что конец его последует за смертию Гектора — и умертвил Гектора, мстя за Патрокла. Сия мысль о близкой смерти следовала за ним повсюду, и в шумный бой и в уединенный шатер; везде он помнил о ней; наконец, он слышал и пророческий голос коней своих, возвестивший ему погибель».

Но если содержание «Ахилла» восходит к «Илиаде», то самый характер разработки стихотворения с античным сюжетом Ж. подсказал Шиллер. Сопоставление «Ахилла» с «Кассандрой» (см.) показывает, что обе баллады построены по одному принципу. Так же, как и в «Кассандре», баллада написана от лица пророчески предчувствующего собственную гибель героя.

Ида — горный хребет в М. Азии. *Тенар* — древнее название мыса Матапана в Лаконии (Спарте). Древние греки верили, что у подножия этого мыса помещалась пещера, которая служила входом в Аид. *Воды Сперхия* — реки в Фессалии, родине Ахилла. *Неоптолем* — сын Ахилла, находившийся во время осады Трои у своего деда царя Ликомеда в Скиросе. *Ксант* и *Симоис* — реки в долине около Трои.

Эолова арфа — 9 и 13 ноября 1814. «Амфион», 1815, март, стр. 61, БП и С, I—V. Рук. в ГПБ (Погодинское хранилище) до стиха «Почто ж замирает так сердце тоской»; датировано: «9 ноября». Вторая часть написана 13 ноября (см. Б, стр. 151 и 155). П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту: «Эолова арфа — есть оригинальная баллада самого Ж. Разумеется, все краски дышат поэзией Оссиана» (Переписка, т. 2, стр. 134). Те же мысли и в статье Плетнева о Ж.: «В «Эоловой арфе» краски, музыка, мечтательность и вымысел создания — все представляет особый мир, царство Оссиана» (Соч., т. 3, стр. 51). В переводе статьи К. Кокрейля «Русская антология» (из «Revue Encyclopedique») сказано: «Видно, что сия пьеса в украшениях поэзии почти вся заимствована из Оссиана». Здесь же отмечено, что прощание Минваны с Бардом напоминает начало 3-го акта «Ромео и Юлии» Шекспира (см. СО, 1821, ч. 37, стр. 53 и 65). Ив. Галюн (стр. 6) показал, что в балладе есть заимствования из ряда произведений. Так, музыкальный инструмент, повешенный на «кипарисном древе» с призывом напоминать о певце, есть в стих. И. И. Дмитриева «Лира» («Моск. Журнал», 1791, ч. IV), есть сходство между заклинанием певца у Ж. и 1-й строфой стих. Матиссона «Lied aus der Ferne». В. Резанов (в. 2, стр. 198) указал, что сюжет

баллады близок к старой английской балладе «Эдвин и Малли» из сб. «The ancienne english ballads» Чайльда.

Мщение — 1816. «Невский Зритель», 1820, февр., стр. 85, за подписью: В. Ж..., БП и С, III—V. Автограф в Лит. музее в Москве (№ 1091/1. 1 За) и в ПД (№ 10089/LX 6 22). Перевод баллады Уланда «Die Rache». Подлинник написан 4-стопным дольником. Опущено в переводе место происшествия — Рейн. Положено на музыку А. Даргомыжским («Паладин»).

Гаральд — 1816. «Соревн. просвещ. и благотв»., СПб., 1820, ч. 9, № 3, стр. 311, за подписью: Ж., БП и С, III—V. В С, У отнесено к 1816 г. В С, V выпущена строфа 3 первоначального текста (см. ее на стр. 348). Трудно сказать, выпала ли она при корректуре или была выброшена Ж. Черновой автограф в ПД (рук. № 2806/XI С. 76). Н. К. Кульман опубликовал другой автограф в «Изв. 2-го отд. Ак. Наук» (1900, т. V, кн. 4) — из альбома гр. С. А. Самойловой. Перевод стих. Уланда «Harald». В переводе сделан ряд отступлений от оригинала: эльфы заменены феями, прибавлен ряд подробностей (напр., «У ног копье и щит»). Для своей баллады Уланд воспользовался одной из многочисленных скандинавских легенд о короле Дании и Швеции Гаральде Хильдетанде (VII и нач. VIII в.). Гаральд такой же любимый образ народных сказаний в Дании и Швеции, как Карл Великий во Франции или Фридрих Барбаросса в Германии. Аналогично этим германским и французским легендам, в северных сагах было создано сказание о мнимой смерти Гаральда: Гаральд не умер, но уснул, чудесно завороженный.

Три песни — 1816. «Соревн. просвещ. и благотв.», СПб., 1820, ч. 10, № 4, стр. 79, за подписью: В. Ж., БП и С, III—V. В РП в отделе «Баллады» и датировано 1816 г. Автограф в Лит. музее в Москве (№ 1091/1 13 а). Перевод стих. Уланда «Die drei Lieder». Подлинник написан 4-стопным дольником. В переводе имя короля «Sifrid» изменено на «Освальд», соответственно и немецкий колорит баллады заменен северным — скандинавским. Не сохранена и народная песенная структура рефренов. В 20-е гг. XIX в. в Петербурге ходила пародия А. Измайлова на «Три песни»: «Любезный мой крестник! Изволь, одолжу...» Пародия эта — эпиграмма на Ф. Булгарина (см. РА, 1864, стр. 812).

Двенадцать спящих дев — 1810—1817. Первая часть («Громобой») вместе с посвящением А. А. Протасовой — в ВЕ, 1811, февр., стр. 254, с подзаголовком: «Русская баллада Ал. Ан. Прот... вой» за подписью: В. Ж.; целиком (обе части с посвящениями) — отдельной книгой: «Двенадцать спящих дев, старинная повесть, сочинение Василия Жуковского», СПб., 1817 (ц. д. 4 июля 1817) с эпиграфом ко всей книге из Гете: «Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind» (Чудо любимое дитя веры), в БП и С, III—V. В С, I—II датировано 1811 г., в С, V — 1810 г. Ранние редакции отличны от окончательной. Так в ВЕ посвящение А. А. Протасовой начинается иначе (см. стр. 348). Последующие исправления носят преимущественно стилистический характер и имеют целью модернизовать лексику. Ст. 41 в ВЕ и в изд. 1817 г. читается: «Старик с щетинистой брадой». В общем посвящении в ранней редакции, как и у Гете, ст. последней строфы: «И снова в томном сердце возникает» (в С, V — «воскресает» — усилено значение воспоминания)

и «Погибшее опять одушевленным» (в С, V — «отжившее» — подчеркнуто, что миновавшее «не погибает»). Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 67) до стиха: «Тебя уж в поднебесной» с подзаголовком: «Русская баллада. Милому другу Саше» (текст, сходный с ВЕ); рук. (№ 78, л. 10 и № 77, л. 24) — прозаическая программа «Вадима» под заглавием: «Искупление баллада» и рук. (№ 26, л. 24) — прозаическая программа «Вадима»; (на л. 26) черновики «Вадима» и (на л. 30) — первые 6 строф «Искупления» (рукою А. А. Воейковой).

«Двенадцать спящих дев» писались около восьми лет.

1-я часть написана в 1810 г., 2-ю — Ж. начал, видимо, в 1814 г. (см. Б, стр. 151, 155) и работал над нею с 17 до 23 ноября и с 1 до 11 дек. и в 1816 г. Так 21 окт. 1816 г. он писал А. И. Тургеневу: «Я пишу усердно *Искупление*; написано более половины» (ПкТ, стр. 164; ср. PC, 1901, т. 106, стр. 132). 31 окт. — ему же о продолжении «Двенадцати спящих дев», «которое весьма уже близко к концу и которое должно быть напечатано вместе с первою балладою, в виде сказки» (ПкТ, стр. 166). В янв. 1817 г. Ж. пишет уже о «Вадиме»: «Надобно сперва кончить *Вадима*» (ПкТ, стр. 170) и 6 авг. 1817 г. А. И. Тургенев уже писал П. А. Вяземскому: «Получил ли ты Вадима Васильевича? Жучка продала его за 3 300 рублей» (ОА, I, стр. 80). В начале 1817 г. Ж. написал и посвящение Блудову (см. примеч. к «Блудову») и перевел посвящение Гете к «Фаусту»: «Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten», которое присоединил к «Двенадцати спящим девам» в качестве общего посвящения. «Двенадцать спящих дев» — переработка романа немецкого писателя-романтика Христиана Генриха Шписса (1755—1799): «Die zwölf schlafenden Jungfrauen, eine Geister — Geschichte», Leipzig, 1795—1796. В основу замысла своего романа Шписс положил идею религиозного искупления, близкую католической концепции чистилища. Ж. значительно отступил от оригинала. Сюжет Шписса Ж. перенес в русские условия. Так, он дал своему герою русское условно-народное имя «Громобой», взятое им из рассказа Г. Каменева «Громобой» (см. ИВ, 1903, т. 93, стр. 543), сатану назвал Асмодеем (Асмодей—библейский князь демонов), руссифицировал колорит: берег Днепра, изображение в храме русского угодника, дал искупителю имя «Вадим», особенно показательное. Это имя было связано с кругом ассоциаций, восходящих к летописному свидетельству (см. «Никонова летопись», I, 1767, стр. 16) о Вадиме Новгородском, защитнике новгородской вольности, и в литературе конца XVIII и начала XIX в. стало символом «патриота-свободолюбца». Его использовала Екатерина II, Херасков, Княжнин, М. Н. Муравьев, Карамзин и, вслед за Карамзиным, Ж. У Ж. «Вадим» восходит к этой традиции «свободолюбца». Так, это же имя Ж. дал герою повести, написанной в 1803 г. («Вадим Новгородский»). Но в «Двенадцати спящих девах» имя «Вадим» уже не сохранило никаких признаков политической оппозиционности.

В самом конце первой баллады Ж. наметил независимую от оригинала разработку дальнейшего сюжета. Так, у Шписса 1-я часть заканчивается изложением выдвинутых сатаною условий появления избавителя дев: «Избавитель должен родиться в стенах монастырских, и мать его заплачет и отшатнется, увидев плод чрева своего. Отец проклянет час своего рождения и побледнеет при известии о рождении сына». И действительно, Ж. не только опустил рассказ о том, как отец героя случайно лег в кровать к чужой жене, но вообще не сохранил основных черт романа Шписса,

этого типичного рыцарского романа с духами (Geister-Geschichte — см. выше), с грубыми приключениями и любовными похождениями (см. подробное сличение баллады Ж. с оригиналом в книге Загарина, стр. 217). Это «целомудренное облагорожение» своего образца сразу же было отмечено современниками. Так, П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту: «Тут вся прелесть в описании невинных чувств любви» (Переписка, т. 2, стр. 134). С. Шевырев также отмечал это очищение Ж. нравственной физиономии романа (см. «Москвитянин», 1853, т. 1, стр. 152). В переводе романа Шписса (Орел, 1819, ц. д. 3 апр. 1818 г.), изданном вскоре после выхода «Двенадцати спящих дев» Ж., переводчик оправдывал свою работу крайним несходством 2-й части переделки Ж. с оригиналом: Ж. «вместо избавления или пробуждения спящих дев... описанного Шписсом, составил свое». При появлении «Двенадцать спящих дев» имели огромный успех. Впоследствии они вызывали многочисленные пародии. Из них прежде всего следует отметить «Руслана и Людмилу» Пушкина. В «Руслане и Людмиле» Пушкин пародирует в гл. 4 не только, как он говорил о них, «прелестные элегии Двенадцати спящих дев», но переосмысляет пародийно (эротически) самый сюжет «Вадима». Пушкин открывает эту пародию стихами о деве на стенах замка, в которых серьезно и лирически разрабатывает тему Ж. Пародия начинается с элегической песни девы, призывающей путника «притти в замок для пирований и лобзаний» и продолжается в изображении быта Ратмира в замке. Пушкин внес в эти стихи мотивы, противоположные религиозному и нравственному настроению баллады Ж. Сам Пушкин писал впоследствии о «Руслане и Людмиле»: «Поэму мою обвиняли в безнравственности... и за пародию *Двенадцати спящих дев.* За последнее можно было меня пожурить порядком, как за недостаток эстетического чувства. Непростительно было, особенно в мои лета, пародировать в угождение черни девственное, поэтическое создание» (Соч., Гослитиздат, 1936, стр. 786). В 1832 г. в Москве была издана шуточная пародия на «Двенадцать спящих дев» В. Протапинского (побочного сына А. И. Протасова — мужа Е. А. Протасовой): «Двенадцать спящих бутошников. Поучительная баллада, сочинение Елистрата Фитюлькина». Здесь осмеяны пьянство, крючкотворство и взяточничество полиции (см. РА, 1891, кн. 2, стр. 461, и ПкТ, стр. 35 и 114). Цензор С. Т. Аксаков, пропустивший балладу, был уволен. В письме к А. И. Тургеневу П. А. Вяземский 24 июля 1819 г. называет *«Бутошниками»* Ж. «Двенадцать спящих дев». Возможно, что заглавие баллады Протапинского восходит к этому шутливому обозначению баллады, бытующему в кругу друзей Ж. (см. ОА, I, стр. 116). Положено на музыку Верстовским (Оперы: «Вадим» — 1832 и «Громобой» — 1858).

Рыбак — янв. 1818. FWДН, 1818, генв., стр. 50. Перевод баллады Гете «Der Fischer». Рук. в ПД (9642/LVII 6 2). Ж. сохранил и внутристиховые ритмико-синтаксические фигуры параллелизмов оригинала: «Бежит волна — шумит волна» (ср. у Гете). Однако текст Гете передан неточно. Так, вместо «намочила ему голую ногу» у Ж. — «на берег вал плеснул», вместо рыбака, «спокойно наблюдающего за удочкой», у Ж. — рыбак «сидит задумчив над рекой» и т. п. После перепечатки «Рыбака» из FWДН в СО, 1820, ч. 64, № 36, стр. 34, — в «Невском Зрителе» (1821, ч. 5, янв., стр. 56) появилась о нем резко отрицательная статья «Письмо к Марлин-

скому» за подписью «Житель Галерной гавани» (О. Сомов). В статье имя Ж. не названо, но «немецко-русская» баллада «Рыбак» и качество перевода подвергнуты издевательскому разбору. В ответ Ф. Б[улгарин] выступил со статьей в СО (1821, ч. 68, № 9, стр. 61). Защищая балладу и перевод, Булгарин ссылался на высокую оценку Гетевского «Рыбака» Шлегелем, Бутервеком и м-м де Сталь. На это в антикритике Сомов писал, что он сожалеет, что Ж. оставил «те средства, которыми он усыновил русским... столько произведений словесности чужестранной... чтобы ввести в наш язык обороты, блестки ума и беспонятную выспренность нынешних немецких Стихотворцев-Мистиков!..» В полемику вмешался Воейков, напечатав издевательское рекламное объявление о предстоящей продаже собр. соч. «Жителя Галерной гавани» (СО, 1821, ч. 68, № 11, стр. 195, подписано: Н. Таранов-Белозеров). Наконец выступил с «Письмом к издателю» и сам Марлинский (СО, ч. 68, № 13, стр. 263 и сл.). Выражая благодарность Ф. Б., Марлинский писал: «Прислав ко мне в Литературную кунсткамеру балладу: Рыбак, он ⟨Сомов⟩ весьма ошибся в расчете. Балладу поместил я в числе образцовых переводов, а критику на нее между уродцами». На защиту Ж. выступил также со стихами «К Зоилам поэта» Я. И. Ростовцев (СО, 1821, ч. 68, № 12, стр. 232). Вся эта полемика интересна как предварение декабристской критики немецкого направления поэзии Ж. и его мистического романтизма.

Рыцарь Тогенбург — янв. — февр. 1818. FWДН, 1818, № 1, генв., стр. 4, БП и С, III—V. См. письмо в. кн. Александры Федоровны к Ж. от 19 февр. 1818 г. о том, что он может «завтра читать» ей балладу (РА, 1897, т. 1, стр. 493). Перевод баллады Шиллера «Ritter Toggenburg». Ж. опустил указание на место и время действия и сделал текст более психологичным. Так, у Шиллера на окно смотрит спокойное, тихое лицо («Stille Antlitz») мертвого Тогенбурга. У Ж. и после смерти Тогенбург «Бледен ликом и *уныло* на окно глядел». Благодаря психологизации тема идеальной любви к женщине у Ж. преобразуется в символ вечного томления — Sehnsucht романтиков, и переживание рыцаря приобретает наджизненное значение (ср. Чешихин, стр. 60). Интересно отметить, что «Ritter Toggenburg» был известен М. А. Протасовой еще до перевода Ж. и что этот образ вызвал у нее ироническое отношение (см. УС, стр. 153). В 1854 г. была напечатана в «Совр.» «Баллада (С немецкого)» Козьмы Пруткова, пародирующая «Рыцаря Тогенбурга» и направленная против сентиментально-элегических эротических баллад «с немецкого».

Лесной царь — март или апр. 1818. FWДН, 1818, № 4, апр., стр. 20, БП и С, III — V. Перевод баллады Гете «Erlkönig». Сюжет баллады Гете заимствовал из народных песен немецкого ученого, поэта и философа И. Г. Гердера (1744—1803). В свою очередь «Erlkönig» Гердера — пересказ датской баллады. Баллада Гете написана дольником, у Ж. — амфибрахием. Положено на музыку Аренским (Баллада для соло, хора и оркестра). Кроме того, музыку Шуберта к балладе Гете переработал А. Рубинштейн (Ф. Шуберт, ред. А. Рубинштейн, 1880).

Граф Гапсбургский — апр. или май 1818. FWДН, 1818, № 5, май, стр. 11, БП и С, III — V. Перевод баллады Шиллера «Der

Graf von Gabsburg». Граф Рудольф Габсбургский (1218—1291) — родоначальник королевской династии Габсбургов — 24 окт. 1273 г. был избран императором Германии. Семь избирателей — семь курфюрстов, из них в балладе упомянуты пфальцграф рейнский, имперский стольник и король Богемии и Чехии — имперский виночерпий. Здесь Шиллер отступил от известной ему исторической истины. Король Чехии Оттокар не участвовал в торжествах, ибо он был против избрания Рудольфа императором. Впоследствии Оттокар выступил против Рудольфа и погиб в сражении. К образу Рудольфа Шиллер обратился не случайно. В конце XVIII и начале XIX в. Германия была раздроблена. Немецкие националисты ощущали слабость феодальной Германии, проистекающую из ее раздробленности на ряд мелких государств и делавшую ее беспомощной в борьбе с армией Наполеона. Это подало повод к идеализации образа Рудольфа, «объединителя Германии». Эти настроения Шиллеровой баллады были, конечно, чужды Ж. Его внимание привлекла не идеализация Габсбургов, но самая тема об идеальном правителе. Образ «кроткого владыки», смиренно творящего добрые дела, — вот что увидел Ж. в балладе Шиллера. Вот почему в переводе Ж. подчеркнул кротость Рудольфа, его смирение и набожность. Так, у Шиллера говорится, что Рудольф передал священнику поводья своего коня, у Ж. — «подал ноге его стремя». У Шиллера Рудольф обнажил перед священником голову, у Ж. — он преклонил колена. Итак, Ж. подчеркнул те стороны рассказа, которые соответствовали его идиллическим представлениям об идеальном правителе.

Узник — 30 ноября 1819. «Невский Зритель», 1820, февр., стр. 78, без подписи, ВЦ и С, III—V. В С, V отнесено к 1816 г. Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 33) — черновик, без заглавия, датирован: «30 ноября ⟨1819⟩». Здесь же наброски (Б № 78, л. 54) «Узника»; (Б № 67, л. 56) перевод стихами Ж. «Узника» на немецкий язык. Вслед за черновиком (Б № 29) — беловик. Другой автограф в Лит. музее в Москве (№ 1091/1 18 а). «Узник» может быть назван одним из первых произведений об узниках и пленниках, наводнивших русскую литературу в 20-е гг. XIX в. Этот романтический образ томящегося по свободе получил распространение отчасти в связи с подготовкой декабристской революции. Основой для «Узника» послужила элегия Андре Шенье (1762—1794) «La jeune captive» (Молодая пленница), где в 1-й части рассказано от имени узницы о близкой ее смерти, а во 2-й — повествуется о поэте, слышащем песни умирающей узницы. (В 1826 г. элегию Шенье перевел в России И. И. Козлов.) Но, отталкиваясь от элегии Шенье, Ж. привнес в нее настроения, почерпнутые им из «Шильонского узника» Байрона, поэта, которого он в это время усердно изучает и под влиянием которого он усиливает пессимистическое мирочувствование героя баллады. Самостоятельная разработка байронических мотивов оказалась для Ж. неорганичной. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу предостерегал Ж. от возможности «самостоятельных переосмыслений» Байрона: «Дай бог,— писал он,— чтоб Ж. впился в Байрона. Но Байрону подражать не можно... Я боюсь за Ж.: он станет девствовать, а никто не в силах, как он, выразить Байрона. Пускай начнет с 4-й песни «Пилигрима»; но только слово в слово, или я читать не буду» (ОА, I, стр. 343). Получив «Узника», это, так сказать, первое байроническое

произведение Ж., Вяземский писал 10 янв. 1820 г. А. И. Тургеневу: «Затворник прелестен, но как его чорт не дернул заговорить с невидимою соседкою? Они влюбились бы друг в друга, и я уморил бы обоих в страданиях Танталовых. Таким образом кусок был бы жирнее

Кто след ее забытых дней
Укажет?
Кто знает, где она цвела?

Уголовная палата, тюремщики, летописи тюремные. Я не шучу: меня это своею неистиною поразило» (ОА, II, стр 6). «Узник» был подвергнут разбору в СО, 1820, ч. 60, № 20, стр. 22, в статье NN «Письмо к издателю», в которой отмечались недостатки баллады. Заканчивалась статья комплиментами. Положено на музыку А. А. Плещеевым (ч. 1).

Иванов вечер — июль 1822. «Соревн. просвещ. и благотв.», 1824, № 2, под заглавием: «Замок Смальгольм». Перепечатано в «Новостях литературы», 1824, кн. 7, № 7, стр. 106, под заглавием «Дунканов вечер», затем под заглавием: «Замок Смальгольм» в БП и С, III—V. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 8) — всего 144 стиха (кончая стихом: «И за нею суровый барон» — следующий лист в тетради вырван). Список ранней редакции — в ПД (рук. № 27777/CXCVIII 6 48), под заглавием «Иванов вечер. Шотландская баллада». Слово «баллада» Ж. зачеркнуто и взамен написано: «Замок Смальгольм или ⟨Иванов вечер⟩». В рук. Ж. сделал ряд исправлений. Ст. 1-й строфы 44 и строфа 47 читались ранее иначе (см. стр. 348). Затем Ж. исправил, как в окончательном тексте. Написана баллада в 1822 г., не позднее июля, вероятно — в конце июля 1822 г. Перевод баллады В. Скотта «The Eve of St John» (Канун св. Джона).

«Ивановой ночью» в народе называют ночь под Ивана Купалу — с 23 на 24 июня. «Ночь на Ивана Купалу» — народный праздник у ряда европейских народов, восходящий ко временам язычества и связанный с высшей точкой летнего солнцестояния, с ожиданием урожая. Христианская церковь установила параллельно этому празднику празднование рождения Иоанна Крестителя и таким образом адоптировала праздник, переосмыслив его. Но, приняв празднество, церковь повела борьбу с его ритуалом (скаканием через костры, гаданьями, собиранием чудотворных трав, расцветающих в ночь на Купала, и другой языческой обрядовой символикой). Переведя балладу, Ж. отдал свой перевод в Петербурге в цензуру. 3 авг. А. Воейков представил «Иванов вечер» цензору Бирукову. Вскоре Ж. стало известно, что Бируков отказывается пропустить балладу к печати. Видимо, тогда же или немного ранее Ж. послал ее в Москву П. А. Вяземскому с тем, чтобы провести ее через московскую цензуру. В ответ он получил от Вяземского (до 5 авг. 1822) письмо: «Посылаю тебе, мой милый, твою балладу разрешенную: теперь ты реши, что из нее делать... Вот и записка цензора Снегирева к Шаликову, по крайней мере наши цензоры градусами двумя ниже в глупости ваших» и записку: «*От Снегирева к Шаликову*. Балладу Ж. прочитал с удовольствием, а подписал с сомнением в душе...» и т. п. (рук. ПД № 27985 CCI 6 44). Ни письмо Вяземского, ни записка Снегирева не датированы (П. Бартенев — РА, 1900 т. 1, стр. 184 — датировал их без мотивировки: 30 июня 1822). Написаны они незадолго до 3 авг., ибо 5 авг., прочтя записку напуганного

Снегирева, Ж. писал из Петербурга Вяземскому: «Баллады не печатай; решительно отказываюсь от этого. Не хочу беды московскому цензору... Надеюсь, что Иванов вечер будет напечатан в новом издании» (рук. ПД, шкаф 39, I, прав. стор. № 702, I). 18 авг. 1822 г. Ж. получил записку от Воейкова: «10/VIII—1822. СПб., Баллада твоя торжественно признана безбожною и безнравственною, распространяющею вредные предрассудки. Цензура не иначе позволит ее напечатать, как тогда, когда ты переменишь все обряды греческой религии на обряды шотландской!!?... Он прямо объявил мне: что как в этой балладе нет ничего приятного, полезного и нравственного: то не велика потеря для читателей...» (рук. ПД, № 27966/CCI 6 36, собр. А. Ф. Онегина — опубликовано мною в издании стихотворений В. А. Жуковского в малой серии «Библиотеки поэта», Л., 1936). Возмущенный Ж. написал 12 авг. 1822 г. письмо лично к кн. Голицыну, министру духовных дел и народного просвещения, с просьбой о защите от произвола цензуры (см. «Беседы в обществе любителей российской словесности при Моск. университете», в. 3, СПб., 1871, стр. 35). Вслед затем, уже, очевидно, выяснив, в чем дело, он написал Голицыну второе письмо, в котором писал: «Ныне узнаю с удивлением, что мой перевод... не может быть напечатан; следовательно цензура находит сие стихотворение или ненравственным, или противным религии, или оскорбительным для правительства... Я не в состоянии даже вообразить, на чем гг. цензоры основывают свое мнение: но я слышал, что их между прочим в следующем стихе: «И ужасное знаменье в стол вожжено!» пугает слово *знаменье*: должно ли замечать, что слово *знаменье* и *знак* одно и то же... Если же цензоры думают, что слово *знаменье* исключительно принадлежит предметам священным и не должно выражать ничего обыкновенного, то они ошибаются ⟨ср. исправление Ж. этого стиха со стр. 348⟩... Еще сказывают о требовании, чтоб я обряды греческой церкви, будто описанные в балладе Вальтер Скотта, заменил *обрядами шотландскими*. Такое требование для меня совсем непонятно. Во-первых, описаны и английским поэтом и мною не греческие священные обряды, а римско-католические... Наконец, главный порок сей баллады, по мнению гг. цензоров, есть заключение. Убийца от ревности и неверная жена скрываются друг от друга и от света в уединении монастырском; один *дичится людей и молчит; другая не смеет взглянуть на свет и грустна*: явное действие раскаяния, втайне терзающего их души. Вот и всё! и в этом господа цензоры видят оскорбление монашеского сана... В переводе моем нет точного слова *раскаяние* единственно потому, что его нет и в оригинале, что я не хотел сделать из стихов прозу и что самое слово здесь нимало не нужно для полной ясности... Если бы не было защиты против подобных страшных и непонятных обвинений цензуры, то благомыслящему писателю, при всей чистоте его намерений, надлежало бы отказаться от пера и решиться молчать; ибо в противном случае он не избежал бы незаслуженного оскорбления перед лицом своего отечества» (черновики письма в ПД, рук. №№ 27741 и 27740/CXCVIII 6 13 — письмо опубликовано М. И. Сухомлиновым в его «Исследованиях и статьях по русской литературе и просвещению», т. 1, СПб., 1889, стр. 437).

По распоряжению Голицына Д. Рунич запросил 1 сент. Петербургский цензурный комитет о причинах запрещения баллады Ж. (см. РС, 1900, т. 102, стр. 71). Возникла длинная переписка.

Н. М. Карамзин писал И. И. Дмитриеву 7 сент.: «Ж. теперь в состязании с цензурою за свою последнюю балладу» (Письма Карамзина к Дмитриеву, стр. 336). 11 сент. Рунич получил ответ цензурного комитета: «11 сент. 1822 г. Г-н цензор Бируков в... содержании баллады нашел главный недостаток, недостаток ясного изложения нравственной цели и развязки всей пьесы. По сим причинам усомнясь одобрить сие стихотворение к напечатанию... ⟨и т. п. *И. В.*⟩... Комитет... согласился с мнением о ней цензора Бирукова... Ибо: *во-первых,* удержанное в русском переводе самое название сего стихотворения *Иванов вечер* может показаться странным, по содержанию шотландской баллады, совершенно противуположному тому почтению, какое сыны господствующей здесь греко-российской церкви обыкли хранить ко дню сего праздника... читателям предлагается чтение о соблазнительных делах, которые они должны воображать себе происходившими перед самым сим праздником и в самую его ночь. Противоположность между названием баллады и содержанием ее тем чувствительнее для русского читателя, что в Иванов день (в июне и авг. месяцах) обыкновенно бывает пост, по уставу греко-российской церкви... *В-пятых.* Развязка всей пьесы не имеет той силы, какую хотел бы найти в ней читатель и какой действительно требует великость пороков и преступлений, описываемых здесь с такою подробностью. После впечатлений, сделанных над читателем представленною ему картиною соблазнительной жизни трех лиц (выбранных из людей высшего состояния)... читатель еще не уверится о сокрушении их сердец и примирении их с богом и между собою посредством истинного покаяния. При том о состоянии их в монастырских стенах упомянуто холодно, с равнодушием, между тем, как здесь-то особливо надлежало бы показать живое участие христианского человеколюбия...» К этому донесению приложен был перечень отступлений Ж. от английского подлинника (см. дела Арх. мин. по главн. упр. цензуры 1822 г., № 76, и дела Арх. петерб. ценз. комитета 1822 г., № 32, — опубликовано в РС, 1900, т. 102, стр. 72. См. также «Дело», 1869, стр. 64). В ответ Рунич в предписании Петербургскому цензурному комитету от 2 окт. писал: «Усматривая... правильное и основательное рассмотрение переведенной коллежским асессором баллады под названием «Иванов вечер», я с особенным удовольствием изъявляю мою признательность комитету» (РС, 1900, т. 102, стр. 87). В тот же день Рунич писал Голицыну: «Как баллада *Иванов вечер* не только полезного для ума и сердца не заключает, но и совершенно чужда всякой нравственной цели, то я считаю, что ни перевод оной, ни подражание, без перемен, требуемых ценз. комитетом, к напечатанию одобрены быть не могут».

Конфликт Ж. с цензурой приобрел широкую и скандальную известность. Против Ж. был применен наиболее спорный параграф цензурного устава (§ 2), по которому должно запрещать сочинения, не ведущие «к истинному просвещению ума и образованию нравов». Перевод Ж. был осужден не за *присутствие* в нем безнравственности, но вследствие *отсутствия* в нем, по мнению цензуры, *определенной* нравственной цели. Стремление цензуры расширительно толковать свои права в эпизоде с балладой Ж. выступило с особенной отчетливостью, ибо обвинялся в отсутствии нравственности такой «благомыслящий» писатель, как Ж. Впоследствии Пушкин в 1833 г. писал: «В славной балладе Ж. назначается свиданье

накануне Иванова дня: цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никоим образом не хотел пропустить баллады В. Скотта» (Соч., Гослитиздат, 1936, стр. 761). Сохранился характерный рассказ Н. И. Иваницкого о наивном недоумении Ж. перед произволом царской цензуры: «В 1836 г... у Ж... сидели Крылов, Краевский и еще кто-то. Вдруг входит Пушкин, взбешенный ужасно. Что за причина? — спрашивают все. А вот причина: цензор... Пошли толки о цензорах. Ж. сказал: «Странно, как это затрудняются цензоры! Устав им дан: ну, что подходит под какое-нибудь правило — не пропускай; тут в том только и труд: прикладывать правила и смотреть». — «Какой ты чудак! — сказал ему Крылов: — ну, слушай. Положим, поставили меня сторожем в этой зале и не велели пропускать в двери плешивых. Идешь ты (Ж. плешив и зачесывает волосы с висков), я пропустил тебя. Меня отколотили палками — зачем пропустил плешивого. Я отвечаю: да ведь Ж. не плешив; у него здесь (показывая на виски) есть волосы». Мне отвечают: «Здесь есть, да здесь-то (показывая на маковку) нет». Ну хорошо, думаю себе, теперь-то уж я буду знать. Опять идешь ты, я не пропустил. Меня опять поколотили палками. «За что?» — «А как ты смел не пропустить Ж.» — «Да ведь он плешив: у него здесь (показывая на темя) нет волос». — «Здесь-то нет, да здесь-то (показывая на виски) есть». — Чорт возьми, думаю себе: не велели пропускать плешивых, а не сказали, на котором волоске остановиться». Ж. так был поражен этой простой истиной, что не знал, что отвечать, и замолчал» (см. Щукинский сборник, в. 8, стр. 322; также «Северная Почта», 1862, № 108). Ср. с записью Ж. («Русский», 1867, л. 11): «Крылов говорит о цензуре: запрещено впускать в горницу плешивых. У дверей стоит сторож. Кто чисто плешив, тому нет хода. Но тот у кого или... или только показывается на голове как будто голое место, — что с ним делать? Тут и наблюдателю и гостю худо. А если наблюдатель трус, то и примет лысину за плешь».

Для ликвидации неприятной истории кн. Голицын сообщил Руничу, что он уведомил Ж. (ответ Голицына Ж. 4 ноября), что комитет вовсе не требовал запрещения баллады, но исправления отдельных мест и присоединения к балладе комментария. Ж., как это легко установить по рук. ПД (см. выше), сделал небольшие поправки для проформы. Однако напечатать балладу все же оказалось нелегко. Так, Рылеев писал 3 окт. 1823 г. Туманскому, что быть может «Иванов вечер» будет напечатан в «Полярной Звезде» (см. «Былое», 1925, № 5, стр. 36). Но в «Полярной Звезде» баллада не появилась. И только в 1824 г. Ж. напечатал ее с приложением обширного комментария, который был сохранен и в С, III—IV и опущен в С,V. Комментарий этот взят из примеч. В. Скотта к «The Eve of St. John» (ниже в кавычках примеч. Ж.): «Вальтер Скотт, автор сей баллады, в младенчестве своем жил в соседстве Смальгольм ⟨в Шотландии. *Ц. В.*⟩ иногда в самом замке, который принадлежал одному из его родственников ⟨в примеч. у В. Скотта имя его названо: Хью Скотт. *Ц. В.*⟩, и по чувству благодарности поэтической захотел прославить его стихотворною сказкою: формы оной (между прочим частые рифмы на полустишия) заимствованы им из былевых *песен* южной Шотландии (Border tale); содержание имеет сходство с одним старинным преданием, доныне сохранившимся у суеверных ирландцев». *Торопясь в Бротерстон* — «Бротерстон,

уединенная лощина в горах, за несколько миль от Смальгольма». *Анкраммворская битвы барон не видал* — битва при деревне Ancrammoor'е произошла в 1545 г. Здесь были разбиты на-голову вторгшиеся в Шотландию войска английских феодалов лорда Эверса и баронета Бриана Латона. Шотландцами командовал Арчибальд Дуглас гр. Ангусский. Прибывший с небольшим числом отборных ратных людей баронет Вальтер Скотт Боклю принял командование. Его умению шотландцы обязаны были блистательною победой. Последняя часть комментария Ж. — разъяснения, сделанные по пунктам цензурных обвинений. «В монастырь *на горе панихиду он позван служить* — нужно ли ⟨! — *Ц. В.*⟩ объяснять читателям, что здесь греческое слово *панихида (всенощная)* употреблено в смысле не особенного рода службы, а вообще моления об усопших, и что церковные обряды, о коих упоминается в следующих стихах, принадлежат к богослужению римско-католической веры». *Где подъемлется мрачный Эльдон* — «Эльдон высокий холм с тремя коническими вершинами, над самым городом Мельрозом, в который любопытные приезжают смотреть развалины великолепного монастыря». *Сей монах молчаливый и мрачный... кто он* ⟨и до конца⟩ — «здесь опять должно заметить необыкновенное искусство автора. Вместо того ⟨! — *Ц. В.*⟩, чтобы с школьным риторством описывать первые действия раскаяния, почти всегда одинаковые, он...» *Есть монахиня в древних Драйбургских стенах* — Драйбургское аббатство (Dryburgh Abbey) расположено на берегу реки Твид. Вальтер Скотт воспользовался рассказами старожилов о монахине, которая в начале 70-х гг. XVIII в. поселилась в развалинах Драйбургского замка, жила в полном одиночестве и «выходила только ночью за пищей, которую ей оставляли добрые люди». В 1825 г. сделалась известна в литературе пародия Дельвига на «Иванов вечер» («До рассвета поднявшись, извозчика взял...»). Дельвиг читал эту пародию Ж., выслушавшему ее с удовольствием (см. «Совр.», 1854, т. 43, стр. 39; А. А. Дельвиг, под ред. Б. В. Томашевского, Л., 1934, стр. 484, и РА, 1871, стр. 1007).

Торжество победителей — 1828. «Северные Цветы на 1829 г.», СПб., 1828, стр. 3, с пометой: «(Из Шиллера)», без ст. 129—140, БП, БиП и С, IV — V. Рук. в ПД (9678/LVIII 6 18). Перевод баллады Шиллера «Das Siegesfest». Баллада Шиллера построена как античная хоровая песнь с так называемою антифонной композицией (два перекликающиеся голоса). Шиллер писал о «Siegesfest'е»: «Удивительно роковая пучина для поэзии эти хоровые песни: проза действительной жизни свинцом тянет вдохновение к земле, и все время чувствуешь себя в опасности впасть в пошлый тон масонских песен... Так как все хоровые песни, лишенные поэтического сюжета, впадают в пошлый тон масонских песен, я напал на роскошную жатву *Илиады* и унес из нее, что мог». Перевод Ж. обнаруживает глубокое проникновение в античное миросозерцание. Ж. часто самостоятельно разрабатывает мифы, использованные Шиллером. Вместо «Эгиды» Зевса (у Шиллера) — у Ж.: «И носящему Горгону богу смертных и богов» — бог смертных и богов — Зевс. Вместо Эгиды — Горгона — в соответствии с Гомером, у которого Горгона — мифическое чудовище со змеями вместо волос — помещена в эгиде Зевса. Ж. сделал также ряд отступлений, продиктованных отличием его поэтики

от Шиллеровой. Так, выпущены стихи о Менелае, обнявшем жену (очевидно, Ж. нашел их фривольными), опущен в характеристике царя Пилоса Нестора эпитет «старый кутила», не передана болтливость Нестора, у Шиллера подчеркиваемая и тем, что Нестор повторяется, и т. п. Заключительную строфу Ж. передал в духе христианского фатализма. У Шиллера речь идет о «заботах», которые витают и над конем всадника и над кораблем морехода. Здесь Ж. не избежал опасности несколько приблизиться к тону масонских песен, от которого предостерегал Шиллер. Несмотря на подлинное знание античной культуры, античное миросозерцание и у Шиллера и у Ж. прошло через модернизацию, выразившуюся в романтической психологизации и индивидуализации: герои *Илиады* превратились в руках обоих поэтов в лирических философов, размышляющих о преходящести земного счастия.

Парид — Парис. *Сигей* — мыс на северо-востоке М. Азии, при входе в Геллеспонт. *И не всякий насладится* — вдохновленный Афиной Одиссей предсказывает судьбу Агамемнону. *Кронид* — сын Кроноса, Зевс. *Оилеев сын* — Аякс, сын царя Локров Оилея. *Терсит* — безобразный и трусливый грек, представитель недовольного демоса (стихи о Терсите впоследствии сделались поговоркой). *Презрительный* — в смысле презренный. *Ты мой брат...* — 2-й Аякс, сын Теламона, храбрейший из греков после Ахилла. После присуждения доспехов Ахилла Одиссею в гневе и отчаянии бросился на меч. Строфу эту произносит неназванный в балладе брат Аякса — Тевкр. *Эрев* — Эреб. *Гекуба* — жена Приама. У нее было 500 детей, — отсюда ассоциация к Ниобее (миф.), дочери Тантала, на глазах которой боги за ее высокомерие и гордость умертвили всех ее детей. *Скамандр* — река в долине Трои.

Кубок — оконч. 10 марта 1831. БП, БиП и С, IV—V. В С, V отнесено к 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 10) первые двенадцать строф. Здесь (л. 10) ряд стихов с более архаической лексикой: «Десницей гребет он, а в шуйце добыча», «Морской глубины неописанны чуды». По положению в рук. датируется 1822—1823 г. (ср. в письме Пушкина Ж. в мае — июне 1825 г.: «Кончи, ради бога, Водолаза») и продолжение от строфы 13 (на л. 42), без строфы 20 («Я видел, как в черной пучине кипят»), переведенной впоследствии. Над стихами рукой Ж. дата: «10 марта ⟨1831⟩». Другая рук. (№ 36, л. 3) — список, исправленный Ж. Здесь же и черновик строфы 20. На рук. чернилами рукой Ж.: «10 марта». И черновик в ПД (№ 27779/CXCVIII 6 50). В рукописном перечне произведений 1831 г. Ж. датировал 10 марта. Перевод баллады Шиллера «Der Taucher» (Водолаз). Шиллер воспользовался средневековой легендой (XII в.), которую он, вероятно, слышал от Гете, о замечательном пловце Николае из Бари (Николае Песце или Николае Рыбе — см. эту легенду в известной Гете книге А. Кирхера «Mundus subterraneus»), который «подолгу оставался среди рыб». Кирхер рассказывает, что Рыба погиб благодаря своей жадности. У Кирхера, как и в других вариантах легенды, нет ни слова о королевской дочери. По словам Гердера, Шиллер «облагородил легенду». Шиллер рассказывал, что сам он никогда не видел водоворота и воспроизвел его силу по своим впечатлениям от каскада воды, падающей с мельничного колеса. Однако Шиллер тщательно добивался *правдоподобия* и для этого специально изучал книги о водолазах.

Изображая водоворот, Шиллер стремился воссоздать картину и живописью звуков. Ж. сохраняет звукопись Шиллера (см. «И воеТ, и свищеТ, и бьеТ. и шипиТ»). Наибольшую трудность Ж. испытывал, очевидно, при переводе строфы 20. Над нею он работал отдельно и вписал ее, когда остальные строфы были уже готовы (см. выше). Передавая эту строфу, Ж. заменил легендарных морских чудовищ Шиллера (драконов и саламандр, последние даже и по легенде живут не в воде) страшными реальными рыбами (скат, млат, мокой — виды акул). Ж. сделал ряд отступлений от оригинала. Изменил метрику (у Шиллера второй стих 3-стопный, а каждый четвертый — 4-стопный). У Шиллера нежное чувство царевны к юноше подчеркнуто яснее — она смотрит вниз «mit liebendem Blick». Наиболее существенное отступление сделал Ж. в строфе 16. «По мысли Шиллера, — говорит Чешихин (стр. 154), — милосердные боги скрывают от человека только те тайны, познание которых наполнило бы его ужасом». Ж. же говорит, что тайны вообще неразрешимы, и требует: «Смертный пред богом смирись!» Таким образом, философский замысел стихотворения Ж. в переводе изменил. Положено на музыку Аренским (ор. 61).

Поликратов перстень — 15—17 марта 1831. БП, БиП и С, IV—V. В С, V отнесено к 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 36, л. 5) — список: «Поликратово кольцо», исправленный Ж. и датированный им над текстом: «17 марта» (то же заглавие и в письме Пушкина Ж. от 11 июня 1831 г.). В рукописном перечне произведений 1831 г. датировано Ж.: «15—17 марта». Перевод баллады Шиллера «Der Ring des Polykrates». Источником баллады Шиллера послужил рассказ Геродота о первом тиране острова Самос Поликрате Самосском (ум. в 522 г. до н. э.), при котором Самос возвысился и занял место крупной морской державы, торгового и культурного центра древней Греции (см. «Историю» Геродота, кн. 3, гл. 39—43). Геродот рассказывает, что непрерывные удачи Поликрата возбудили зависть богов. Друг Поликрата — египетский фараон Амазис (570—526 до н. э.) — советовал Поликрату, для того, чтоб утратой умилостивить зависть богов, лишить себя наиболее ценной вещи. Поликрат бросил в море свой смарагдовый перстень, но через некоторое время перстень нашелся в рыбе, преподнесенной одним из рыбаков Поликрату. Узнав об этом, Амазис отказался от дружбы с Поликратом, ибо, сказал он, он не хочет разделить судьбу человека, столь явно обреченного богами жестокой гибели. В подтверждение верования, что за чрезмерным счастием следует неизбежно несчастие, Геродот рассказывает историю гибели Поликрата. Соседнее с Самосом государство — Персия, напуганное усилением умного и опасного соседа, решило отделаться от Поликрата хитростью. Персидский сатрап Оройт, правитель города Сарды, заманил к себе Поликрата и распял его на кресте вниз головой. Ж. несколько изменил замысел баллады при переводе. У Шиллера, в соответствии с античным мировоззрением, баллада основана на представлении о зависти богов («Götter Neide»). Ж. все стихи о зависти богов опустил, ибо для его христианских взглядов были совершенно неприемлемы теологические представления древних греков о «зависти богов».

Но жив один опасный мститель — бывший соправитель Поликрата — Силозон. *Твой полководец Полидор* — имя вымышленное.

Жалоба Цереры — 17—19 марта. БП, БиП и С, IV—V. В С, V датировано 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 47), дата сверху: «17 марта», перед строфою 7: «18 марта», автограф (№ 36, л. 5) датирован: «19 марта». В перечне произведений 1831 г. Ж. датировал: «19 марта». Перевод баллады Шиллера «Klage der Ceres», в которой Шиллер аллегорически говорит о смерти своей любимой сестры Нанеты. В переводе Ж. заменил в отдельных местах конкретные образы Шиллера условно-поэтическими. У Ж. нет ни «лопающейся ледяной коры», ни «почек лозняка», ни «песен в рощах». Вместо наивно-вопросительного ст. 1: «Ist der holde Lenz erschienen?» (Возвратилась ли милая весна) у Ж. — условно философский «Гений жизни». В передаче замысла баллады Шиллера — показать мистическое единство жизни и смерти, замысла, воссоздающего античные религиозные представления, связанные с кругом хтонических, так называемых элевзинских культов, — Ж. целиком следует за оригиналом. Но воссоздавая элевзинские религиозные представления, Шиллер подвергает античные образы и идеи романтической индивидуализации и психологизации. Ноты личной грусти Цереры (или Деметры), богини плодородия, оплакивающей свою похищенную богом преисподней Аидом (иначе Плутоном) дочь Прозерпину, привнесены Шиллером в античный миф. Их усилил Ж. — романтик субъективистского склада. Так, строфу 1-ю Ж. вкладывает в уста Цереры (у Шиллера эта строфа — введение к сетованиям Цереры), что делает строфу более субъективной. Работая над «Жалобой Цереры», Ж. несомненно помнил переводы, сделанные до него С. Шевыревым и Н. Колачевским. В строфе 1 у Колачевского прямое совпадение с переводом Ж.:

Не весна ль приветно веет
Над воскресшею землей?
Холм на солнце зеленеет...

Доколь Аида не осветит Аполлон — у Шиллера сказано о лучах зари. Здесь Шиллер намечает, а Ж. вводит христианскую интерпретацию бога света. Античная мифология не знала учения о сошествии светлого бога в ад и о конце ада. *Ахерон* (миф.) — река в преисподней. *Ирида* (миф.) — богиня радуги. *Борей* (миф.) — бог — северный ветер. *Вертумн* — древний италийский бог времен года и их различных даров (бог, родственный Церере).

Доника — 19—20 марта 1831. БП, БиП и С, IV—V. В С, V отнесено к 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 50). Над текстом дата: «19 марта»; и (№ 36, л. 7) список, исправленный Ж. и датированный им: «20 марта». В перечне произведений 1831 г. Ж. отнес к 20 марта. Перевод баллады Саути «Donica». Саути использовал финскую легенду, которую он почерпнул из поэмы Томаса Хейвуда (1635 г.), о замке, расположенном на берегу реки с черными водами. Ж. сократил балладу на строфу, изменил структуру строфы (у Саути чередование 4- и 3-стопного ямба, с мужскими окончаниями), не сохранил наименования замка (The Tower of Arlinkow), опустил, что действие происходит в Финляндии, придал владельцу замка имя «Ромуальд» и заменил имя «Эбергард» на «Эврар».

Суд божий над епископом — 24—26 марта 1831. БП, БиП и С, IV—V. В С, V отнесено к 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 53, 55). Над текстом дата: «24 марта», под текстом: «26 марта».

Строфа 6 в рук. читается иначе (см. стр. 348). Здесь же в ГПБ автограф (№ 36, л. 8) датирован 24—26 марта. В рукописном перечне произведений 1831 г. Ж. отнес к марту. Перевод баллады Саути «God's judgment on a bishop». Саути воспользовался старым рассказом об архиепископе города Метца Гаттоне (Hatto), жившем во времена Оттона Великого. Во время великого голода 914 г. архиепископ созвал голодных и сжег их в амбаре. При этом он сказал, что этот бедный народ «совершенно как мыши». Легенда рассказывает, что в наказание он был съеден мышами в замке, стоящем на острове посреди Рейна. Ж. не сохранил размера оригинала (балладного тонического стиха). Иногда Саути увеличивает строфу до пяти и шести стихов, подчеркивая средствами строфической композиции движение повествования (см. стр. XXXIX). Ж. этой особенности не передал. Кроме того, Ж. ослабил темп баллады (у Саути 18 строф, у Ж. — 22). Изменен и тон баллады. У Саути лаконический объективный рассказ, в котором только последний стих раскрывает морализирующий замысел: «For they ⟨мыши⟩ were sent to do judgment on him!»; у Ж. дидактическая задача все время подчеркнута. У Саути епископу о несчастьи докладывает *слуга* (у Ж. — *«чудесная ведомость»*, вроде вавилонских письмен: «Мене, текел, фарес», с указанием причины несчастья: «в ушах *загремело*... бог на тебя за вчерашнее дело!» и т. д.). Кроме того, Ж. ввел прямую речь бедняков (строфа 5) и заменил рассказ о мышах, переплывающих Рейн, рассказом о подземном ходе.

Алонзо — 28 марта 1831. БП, БнП и С, IV—V. В С, V отнесено к 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 54) — черновик. Дата: «28 марта». Отличие от окончательной редакции см. на стр. 349. Ст. 48: «Сам заснул он и навеки» — зачеркнут и исправлен на «Он заснул и не проснется!»; ст. 56: «Их блаженством пролетая» — зачеркнут и исправлен на «Он блаженством пролетает»; ст. 57 — на «Восклицает: Изолина!»; ст. 60 — на «По блаженствам безответным»; и беловой список (№ 36, л. 9), авторизованный. Дата: «28 марта». Хотя список этот более поздний, чем рук., но поправки Ж. сюда не вошли. В рукописном перечне произведений 1831 г. отнесено Ж. к 28 марта. Перевод баллады Уланда «Durand» (Дуранд). Уланд воспользовался рассказом о знаменитом юристе Вильгельме Дурантисе (1237—1296), который был влюблен в дочь владельца замка Бальби (у Уланда имя ее Бланка) и сочинил в честь ее ряд песен. Когда она заболела и умерла, Дурантис от горя также умер. Но Бальби снова ожила и ушла в монахини. «Дуранд» Уланда — произведение из цикла его стилизаций поэзии миннезингеров. Ж. в переводе изменил имя героини и перенес путешествие Дуранда в Палестину (тем самым связав текст естественной ассоциацией с крестовыми движениями и приблизив его к мистико-романтическому культу Прекрасной Девы средневековой поэзии). Ж. также ввел ряд подробностей, лиризующих и психологизующих текст, и развил последнюю строфу Уланда в две. Эхо, откликающееся на зов Алонзо, также введено Ж. и несет функцию лиризации темы и углубления романтико-эротического характера произведения.

Ленора — 29 марта 1831. БП, БнП и С, IV—V. В С, I датировано 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 61) — черновик. Над текстом дата: «29 марта». Внизу: «1 апреля»; и список (№ 36, л. 11), испра-

вленный Ж. Те же даты. Перевод баллады Бюргера «Lenore». Это третье обращение Ж. к «Lenore» (см. «Людмилу» и «Светлану»). На этот раз Ж. стремился точно передать оригинал. Он сохранил и немецкий колорит и историческое приурочение событий к эпохе войны прусского короля Фридриха II (1740—1786) с имп. Австрии Марией Терезией (1713—1780) за раздел так называемого «австрийского наследства». Закончилась война в 1748 г. Несмотря на стремление быть точным, Ж. опустил все собственные имена: «Prager Schlacht» (Пражская битва), Wilhelm, Böhmen, не сохранил простонародного тона рассказа, смягчил ропот Леноры против бога и заменил ряд конкретных слов эвфемизмами (вместо брачной постели: Brautbett, Hochzeitbett; у Ж. — ночлег, уголок, приют и т. п.). Естественно, что Катенин, прочтя этот перевод, обругал его не менее резко, чем в свое время «Людмилу» (в письме от 29 авг. 1831 г. — см. РС, 1911, т. 147, стр. 355). Узнав, что это перевод Ж., Катенин писал Н. И. Бахтину 23 сент. 1833 г.: «*Слово* Грибоедова, в споре с Гнедичем и *дело* Ж., вторым переводом признавшегося, что перевод недостаточен, равно оправдали меня в предприятии Ольги, несмотря уже на существование Людмилы» (РС, 1911, т. 147, стр. 365).

Покаяние — 29 марта — 5 апр. 1831. БП, БиП и С, IV — V. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 56), в начале дата: «29 марта», в конце: «5 апр.», и (Б № 36, л. 13) первые 7 строф в двух редакциях. В С, V датировано 1829 г. Написано в 1831 г. Перевод незаконченной баллады Вальтер Скотта «The gray Brother» (серый брат, монах), к которой Ж. приделал в переводе и конец (строфу). Гербель в своих «Немецких поэтах» напечатал «Покаяние» как перевод из Лангбейна. 11 июня 1831 г. Пушкин писал о «Покаянии»: «Ж. также перевел неконченную балладу Вальтер Скотта Пильгрим, и приделал свой конец: прелесть».

Роланд-оруженосец — 31 окт. — 7 ноября 1832. «Новоселье», СПб., ч. 2, 1834, стр. 257, с пометой: «31 октября 1832. Верне на берегу Женевского озера», и С, IV — V. В С, V датировано 1833 г. Рук. в ГПБ (Б № 37, л. 2), кончая стихом: «Искусной выломал рукою» — написано 31 окт. (1832 г.). Затем продолжение (л. 6), написанное 5—7 ноября. Перевод баллады Уланда «Roland Schildträger», сюжет которой Уланд заимствовал из старофранцузских сказаний о паладине Карла Великого — Роланде. Ж. изменил характер строфы (у Уланда семистрочной с рифмовкой ababccd). Стремясь передать тон оригинала — шутливый, грубоватый, энергический и жизнерадостный, Ж. свободно пересказывает подлинник, пополняя его или перефразируя. Так, к стихам Уланда о Тюрпине, показывающем руку, Ж. прибавил «обвитую тряпицей» и т. д. И тем не менее Ж. не передал резко простонародного тона баллады Уланда. Так, напр., в речи Наина нет ни «глотка пива», ни «изрядно я вспотел», ни характерного «Эх!».

Плавание Карла Великого — 4—5 ноября 1832. С, IV — V. Рук. в ГПБ (Б № 37, л. 5), датирована: «4 и 5 ноября ⟨1832⟩». Перевод стих. Уланда «König Karls Meerfahrt» (Морское путешествие короля Карла). Уланд воспользовался старофранцузскими легендами о поездке Карла Великого в «святую землю» (Палестину).

Однако у французов об этом рассказано «Ohne das Abenteuer des Sturms» (см. «Ulands Werke», в изд. Френкеля, т. 1, стр. 508). В каждой строфе поэт решает трудную и тонкую задачу характеристики героя его собственной речью в пределах одной строфы, в зависимости от того, как этот герой воспринимает возможность своей гибели. Так, граф Ганелон, изображаемый в рассказах о Роланде как предатель и злобный трус, выдает свой характер словами: «Но только б я не утонул, Они ж... туда им и дорога». В переводе Ж. изменил размер (у Уланда чередование 4- и 3-стопного ямба) и сделал ряд отступлений от оригинала, стремясь сгладить демократический язык Уланда. Напр., в строфе о Риоле у Ж. нет ни «старый рубака», ни «сложить свои кости в сухом месте».

Старый рыцарь — 26 ноября — 8 дек. 1832. «Библ. для Чт.», 1834, т. 2, стр. 17, с пометой: «8 декабря. Vernex», и С, IV — V. В С,V датировано 1833 г. Эта дата неверна (см. ДЖ, стр. 249, запись 26 ноября 1832 г.: «Перевел Старого рыцаря»). Рук. в ГПБ (Б № 37, л. 16) — первоначальное заглавие: «Состаревшийся рыцарь». Подписано: «Верне, 8 декабря». Ст: «В невыразимый сон» зачеркнут Ж. и вместо него написано: «В печально сладкий сон». Перевод стих. Уланда «Graf Eberhards Weissdorn»» (Боярышник гр. Эбергарда). Уланд использовал старый рассказ о гр. Эбергарде I (1445—1496), первом герцоге Вюртембергском, который был в Палестине в 1468 г. Ж. опустил в переводе все имена, ветку боярышника заменил оливой Палестины и пересказал свободно текст: строфы 4—5 Уланда соединил в одну, а последние две распространил в четыре. В литературе указывалось, что «Ветка Палестины» Лермонтова написана под влиянием «Старого рыцаря» Ж. См. также пародию Лермонтова на «Старого рыцаря» — «Он был в краю святом», опубликованную в «Библ. Записках», 1861, т. 3, № 1, стр. 19. Положено на музыку Аренским (ор. 27, № 4).

Рыцарь Роллон — 5 и 6 дек. 1832. «Библ. для Чт.», 1834, т. 2, стр. 93, с пометой: «Верне, на берегу Женевского озера. 5 декабря 1832», и С, IV — V. В С, V ошибочно датировано 1833 г. Рук. в ГПБ (Б № 37, л. 14) датирована: «5 и 6 дек.». Перевод баллады Уланда «Junker Rechberger» (помещичий сынок Рехбергер). К балладе Уланда примечание: «Рехбергер (Рехенбергер) известная верхнешвабская фамилия рыцарей-разбойников». Написана баллада Уланда размером народной саги и воспроизводит характер и стиль народного творчества. Ж. не сохранил размера и сделал ряд отступлений при передаче текста, то сжимая Уландову строфу в 2 стиха, то вводя дополнительные подробности (Баллада Уланда с 22 строф у Ж. сократилась до 19). Ж., кроме того, отбросил последнюю строфу оригинала:

Dies Lied ist Iunkern zur Lehr' gemacht,
Dass sie geben auf ihre Handschuh' acht,
Und dass sie sein bleiben lassen,
In der Nacht am Wege zu passen.

Эта демократическая ирония — панибратское издевательство и над вопросами продажи черту души, и над героем «барчуком» — конечно, была чужда серьезной религиозности Ж. Поэтому он изменил весь тон баллады, уничтожив в ней самое существенное — народность

иронического рассказа. Так, в переводе нет ни простонародного залихватского тона («попробую-ка испытать честность чорта, они ⟨перчатки⟩ во всяком случае не лопнут на его иссохших лапах», ни «грубости языка» (напр., слова слуги: «Чорт вам добывай перчатку» (Die Handschuh' hole der Teufel Euch!), не только восходящие к ругательствам-поговоркам, но и несущие прямую каламбурную функцию по отношению к сюжету). В соответствии с отказом от издевательского тона по отношению к чертовщине Ж. вводит дидактико-психологические мотивировки. Так, взамен Уландовского: «Рехбергер встал из гроба, взял перчатки с луки седла, вспрыгнул в середину седла, могильный камень послужил ему подножкой» — у Ж. «жалобно охнув», «повернулся в земле», «со вздохом перчатки надел». Этот последний перевод Ж. из Уланда отчетливо показывает чуждость для Ж. Уландовой простонародности стиля.

Уллин и его дочь — 8—10 янв. 1833. «Библ. для Чт.», 1834, г. 4, стр. 31, с пометой: «Верне 1833, 10/22 Генваря 1833», и С, IV — V. Рук. в ГПБ (Б № 37, л. 18) датирована 8/20—9/21 янв. 1833 г. Здесь в ст. 19 и 20 над каждым из слов «слышен» карандашом написано «внятен». В дневнике записано 8 янв. 1833: «Перевел Уллина» и 9 янв. «Кончил Уллина» (ДЖ, стр. 256). Перевод баллады «Lord Ullins Daughter» (Дочь лорда Уллина) английского поэта, одного из предшественников романтизма «озерных поэтов», Томаса Кемпбела (1777—1844). Ж. изменил размер (у Кэмпбела чередование мужского 4-стопного ямба с женским 3-стопным) и сократил балладу на три строфы. Ж. также изменил или опустил имена (в оригинале: Highland, Lochgyle, chief of Ulva's isle) и отбросил ряд существенных деталей. Так, вождь Ульвского острова, бежавший с дочерью Уллина, предлагает рыбаку серебро. Тот отвечает, что он согласен ехать и что «It is not for your silver, But for your handsome lady...» и т. п. Кроме того строфы 12 и 13 оригинала Ж. переставил (у Ж. — 9 и 10).

Элевзинский праздник — 9—17 янв. 1833. «Новоселье», ч. 2, СПб., 1834, стр. 107, с пометой: «Из Шиллера. 1833. Верне, на берегу Женевского озера», и С, IV — V. Рук. в ГПБ (Б № 37, л. 19 и 22) датирована 10/22—17/29 января 1833. Ср. в дневнике 9 янв. «Начал Eleusische(s) Fest», 10-го — «Продолжал Eleusisches Fest», та же запись 11, 12, 13, 14, 15 и 16 янв. 17 янв. Ж. записал: «Конец Eleus. Fest. «(ДЖ, стр. 253). Перевод баллады Шиллера «Das Eleusische Fest». Строфы, написанные у Шиллера дактилем, отличающиеся от остальных лирическим характером и, благодаря амебейной композиции, напоминающие строфы хора в античной трагедии, Ж. передал амфибрахием. Ж. также самостоятельно разработал материал античных мифов, использованных Шиллером. В своей балладе Шиллер хотел показать зарождение человеческой культуры при переходе человечества от кочевого быта к земледелию. Античное миросозерцание почитало в качестве богини земледелия и плодородия богиню Цереру (или Деметру). В ее честь в древней Греции в городке Элевзине в двух километрах от Афин происходили ежегодные празднества, связанные с рядом хтонических культов (элевзинские мистерии). Деметру древние греки считали также создательницей гражданского общества, покровительницей всего живущего на земле. Вот почему баллада, в которой

Шиллер поставил задачей воспеть формирование гражданского сознания в человеке, оказалась построена как гимн в честь Деметры. Первоначально Шиллер хотел в самом названии подчеркнуть, что баллада написана в честь гражданского самосознания, и назвал ее «Bürgerlied» (песнь граждан). Затем, назвав балладу «Eleusisches Fest» и связав ее с наиболее мистическими культами античности, Шиллер тем самым придал теме развития человеческой истории мистический отпечаток, осмысляя самое развитие человеческой культуры в связи с хтоническими элевзинскими представлениями. Таким образом, в форме, связанной с античным классицизмом, Шиллер создал, пользуясь материалом элевзинских мистерий, произведение мистико-романтического характера, в котором в основу положена романтическая идея *развития*. Написанная в годы великих политических потрясений, баллада являлась ответом с позиции немецкого идеализма (теория развития романтического идеализма) *метафизическому* мировоззрению французской буржуазной философии эпохи буржуазно-демократической революции.

Ореады — нимфы гор. *Цибела* или Кибела — богиня, великая матерь богов. *Юнона* — римская богиня, жена Юпитера, покровительница семейного очага. *Термин* — римский бог межи и пограничного камня. — *Оры* (греч. миф.) — богини времен года и погоды, поддерживающие порядок и справедливость среди людей и в природе.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

БАЛЛАДЫ

КОММЕНТАРИИ

Ответственный редактор Л. Тимофеев. Технический редактор А. Кирнарская. Корректор О. Волькенштейн. Художник М. Кирнарский. Ленобллит № 951. С. II. — 76/Л. Сдано в набор 5/V 1937 г. Подписано к печати 19/VI 1937 г. Тираж 5000. Уч.-авт. л. 30. Бумажн. л. $7^5/_{16}$. Печ. л. $29^1/_4$ + 12 вклеек. Тип. зн. в 1 б. л. 128 000. Формат бумаги 82 × $110^1/_{32}$. Набрано и отпечатано в типографии им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57. Заказ № 930.

Цена 11 р., переплет 1 р. 50 к.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
XVIII	17 сверху	идеально-аристократический	«идеально-аристократический»
32	13 »	Царь	О царь
166	2 »	вторят	творят
335	6 »	будет	будут
339	10 снизу	судьбой	судьбою
353	7 сверху	1814—1815	1815—1816
391	2 снизу	Ce rebus	De rebus
394	15 сверху	she	her
398	2 »	ancienne	ancient
402	1 »	Gabsburg	Habsburg
403	22 »	написано	написано: «Сказка». Затем над заглавием написано:
413	2 »	Ulands	Uhlands


12 р.50 к.